А.Н. Толстой

АЭЛИТА
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

А. Н. Толстой

АЭЛИТА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Р2
Т52

Текст печатается по изданию:
А. Н. Толстой. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 3.
М., «Художественная литература», 1982.

Оформление художника
О. БОГОЛЮБОВОЙ

На обложке иллюстрации художника
Л. ХАЙЛОВА

Т $\frac{4702010200\text{-}327}{028(01)\text{-}84}$ КБ-8-21-84

АЭЛИТА

СТРАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

На улице Красных Зорь появилось странное объявление: небольшой, серой бумаги листок, прибитый к облупленной стене пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчибальд Скайльс, проходя мимо, увидел стоявшую перед объявлением босую молодую женщину в ситцевом опрятном платье; она читала, шевеля губами. Усталое и милое лицо ее не выражало удивления, — глаза были равнодушные, синие, с сумасшедшинкой. Она завела прядь волнистых волос за ухо, подняла с тротуара корзинку с зеленью и пошла через улицу.

Объявление заслуживало большего внимания. Скайльс, любопытствуя, прочел его, придвинулся ближе, провел рукой по глазам, перечел еще раз.

— Twenty three, — наконец проговорил он, что должно было означать: «Черт возьми меня с моими потрохами».

В объявлении стояло:

«Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе».

Это было написано обыкновенно и просто, обыкновенным чернильным карандашом.

Невольно Скайльс взялся за пульс: обычный. Взглянул на хронометр: было десять минут пятого, 17 августа 192... года.

Со спокойным мужеством Скайльс ожидал всего в этом безумном городе. Но объявление, приколоченное гвоздиками к облупленной стене, подействовало на него в высшей степени болезненно.

Дул ветер по пустынной улице Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми — ни одна голова не выглядывала на улицу. Молодая женщина, поставив корзинку на тротуар, стояла на той стороне улицы и глядела на Скайльса. Милое лицо ее было спокойное и усталое.

У Скайльса задвигались на скулах желваки. Он достал старый конверт и записал адрес Лося. В это время перед объявлением остановился рослый, широкоплечий человек, без шапки, по одежде — солдат, в суконной рубахе без пояса, в обмотках. Руки у него от нечего делать были засунуты в карманы. Крепкий затылок напрягся, когда он стал читать объявление.

— Вот этот вот так замахнулся, — на Марс! — проговорил он с удовольствием и обернул к Скайльсу загорелое беззаботное лицо. На виске у него, наискосок, белел шрам. Глаза — сизо-карие и так же, как у той женщины, — с искоркой. (Скайльс давно уже подметил эту искорку в русских глазах и даже помянал о ней в статье: «...Отсутствие в их глазах определенности, то насмешливость, то безумная решительность, и, наконец, непонятное выражение превосходства — крайне болезненно действуют на европейского человека».)

— А вот взять и полететь с ним, очень просто, — опять сказал солдат, и усмехнулся простодушно, и в то же время быстро, с головы до ног, оглядел Скайльса.

Вдруг он прищурился, улыбка сошла с лица. Он внимательно глядел через улицу на босую женщину, все так же неподвижно стоявшую около корзинки. Кивнув подбородком, он сказал ей:

— Маша, ты что стоишь? (Она быстро мигнула.) Ну, и шла бы домой. (Она переступила небольшими пыльными ногами, вздохнула, нагнула голову.) Иди, иди, я скоро приду.

Женщина подняла корзину и пошла. Солдат сказал:

— В запас я уволился вследствие контузии и ранения. Хожу — объявления читаю, — скука страшная.

— Вы думаете пойти по этому объявлению? — спросил Скайльс.

— Обязательно пойду.

— Но ведь это вздор — лететь в безвоздушном пространстве пятьдесят миллионов километров.

— Что говорить — далеко.

— Это шарлатанство или — бред.

— Все может быть.

Скайльс, тоже теперь прищурясь, оглянул солдата, смотревшего на него именно так: с насмешкой, с непонятным выражением превосходства, вспыхнул гневно и пошел по направлению к Неве. Шагал уверенно и широко. В сквере он сел на скамью, засунул руку в карман, где, прямо в кармане, как у старого курильщика и делового человека, лежал табак, одним движением большого пальца набил трубку, закурил и вытянул ноги.

Шумели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видимо уже давно, сидел маленький мальчик в грязной рубашке горошком и без штанов. Ветер поднимал время от времени его светлые и мягкие волосы. В руке он держал конец веревочки, к другому концу веревочки была привязана за ногу старая взлохмачен-

ная ворона. Она сидела недовольная и сердитая и так же, как и мальчик, глядела на Скайльса.

Вдруг — это было на мгновение — будто облачко скользнуло по его сознанию, закружилась голова: не во сне ли он все это видит?.. Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы, странные взгляды прохожих и приколоченное гвоздиками объявленьице — приглашение лететь в мировые пространства...

Скайльс глубоко затянулся крепким табаком. Развернул план Петрограда и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную.

В МАСТЕРСКОЙ ЛОСЯ

Скайльс вошел во двор, заваленный ржавым железом и бочонками от цемента. Чахлая трава росла на грудах мусора, между спутанными клубками проволок, поломанными частями станков. В глубине двора отсвечивали закатом пыльные окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена, на пороге сидел на корточках рабочий и размешивал в ведерке сурик. На вопрос Скайльса, можно ли видеть инженера Лося, рабочий кивнул вовнутрь сарая. Скайльс вошел.

Сарай едва был освещен — над столом, заваленным чертежами и книгами, горела в жестяном конусе электрическая лампочка. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Здесь же пылал горн, раздуваемый рабочим. Сквозь нагромождения лесов поблескивала металлическая, с частой клепкой, поверхность сферического тела. В раскрытые половинки ворот были видны багровые полосы заката и клубы туч, поднявшихся с моря.

Рабочий, раздувавший горн, проговорил вполголоса:

— К вам, Мстислав Сергеевич.

Из-за лесов появился среднего роста крепко сложенный человек. Густые, шапкой, волосы его были белые. Лицо — молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными, светлыми, казалось летящими впереди лица, немигающими глазами. Он был в холщовой грязной, раскрытой на груди рубахе, в заплатанных штанах, перепоясанных веревкой. В руке он держал запачканный чертеж. Подходя, он попытался застегнуть на груди рубашку на несуществующую пуговицу.

— Вы по объявлению? Хотите лететь? — спросил он глуховатым голосом и, указав Скайльсу на стул под конусом лампочки, сел напротив у стола, положил чертеж и начал набивать трубку. Это и был инженер Мстислав Сергеевич Лось.

Опустив глаза, он зажег спичку; огонек осветил снизу его крепкое лицо, две морщины у рта — горькие складки, широкий вырез ноздрей, длинные темные ресницы. Скайльс остался доволен осмотром. Он объяснил, что лететь не собирается, но что прочел объявление на улице Красных Зорь и считает долгом познакомить своих читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом междупланетного сообщения. Лось слушал, не отрывая от него немигающих светлых глаз.

— Жалко, что вы не хотите со мной лететь, жалко, — он качнул головой, — люди шарахаются от меня, как от бешеного. Через четыре дня я покидаю землю и до сих пор не могу найти спутника. — Он опять зажег спичку, пустил клуб дыма. — Какие вам нужны данные?

— Наиболее выпуклые черты вашей биографии.

— Это никому не нужно, — сказал Лось, — ничего замечательного. Учился на медные гроши, с двенадцати лет на своих ногах. Молодость, годы учения, работа, служба, — ни одной черты, любопытной для ваших читателей, ничего замечательного, кроме... — Лось вдруг насупился, резко обозначились морщины у рта. — Ну, так вот... Над этой машиной,— он ткнул трубкой в сторону лесов, — работаю давно. Постройку начал два года тому назад. Все!

— Во сколько приблизительно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом? — спросил Скайльс, глядя на кончик карандаша.

— В девять или десять часов, я думаю, не больше.

— Ага! — сказал Скайльс на это, затем покраснел, зашевелил скулами. — Я бы очень был вам признателен, — проговорил он с вкрадчивой вежливостью, — если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью.

Лось положил локти на стол, закутался дымом, сквозь табачный дым блеснули его глаза.

— Восемнадцатого августа Марс приблизится к Земле на сорок миллионов километров, — это расстояние я должен пролететь. Из чего оно складывается? Первое — высота земной атмосферы — семьдесят пять километров. Второе — расстояние между планетами в безвоздушном пространстве — сорок миллионов километров. Третье — высота атмосферы Марса — шестьдесят пять километров. Для моего полета важны только эти сто сорок километров атмосферы.

Он поднялся, засунул руки в карманы штанов, голова его тонула в тени, в дыму, — освещены были только раскрытая грудь и волосатые руки с закатанными по локоть рукавами.

— Обычно называют полетом — полет птицы, падающего листа, аэроплана. Но это не полет, а плавание в воздухе. Чистый полет— это падение, когда тело двигается под действием толкающей его силы. Пример — ракета. В безвоздушном пространстве, где нет сопротивления, где ничто не мешает полету, ракета будет двигаться со все увеличивающейся скоростью: очевидно, там я могу приблизиться к скорости света, если не помешают магнитные влияния. Мой аппарат построен именно по принципу ракеты. Я должен буду пролететь в атмосфере Земли и Марса сто сорок километров. С подъемом и спуском это займет полтора часа. Час я кладу на то, чтобы выйти из притяжения Земли. Далее, в безвоз-

душном пространстве я могу лететь с любою скоростью. Но есть две опасности: от чрезмерного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды, и второе — если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то удар в воздух будет подобен тому, как будто я вонзился в песок. Мгновенно аппарат и все, что в нем, превратятся в газ. В междузвездном пространстве носятся осколки планет, нерожденных или погибших миров. Вонзаясь в воздух, они сгорают мгновенно. Воздух — почти непроницаемая броня. Хотя на Земле она, повидимому, однажды была пробита.

Лось вынул руку из кармана, положил ее на стол, под лампочкой, и сжал пальцы в кулак.

— В Сибири, среди вечных льдов, я откапывал мамонтов, погибших в трещинах земли. Между зубами у них была трава, они паслись там, где теперь льды. Я ел их мясо. Они не успели разложиться, — они замерзли в несколько дней, их замело снегами. Видимо, отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с небесным телом, либо у нас был второй спутник, меньший, чем Луна. Мы втянули его, и он упал, разбил земную кору, отклонил земную ось. Быть может, от этого именно удара погиб материк, лежавший на запад от Африки в Атлантическом океане. Итак, чтобы не расплавиться, вонзаясь в атмосферу Марса, мне придется сильно затормозить скорость. Поэтому я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве шесть-семь часов. Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк.

Лось отошел от стола и включил рубильник. Под потолком зашипели, зажглись дуговые фонари. Скайльс увидел на дощатых стенах чертежи, диаграммы, карты; полки с оптическими и измерительными инструментами; скафандры, горки консервов, меховую одежду; телескоп на лесенке в углу сарая.

Лось и Скайльс подошли к лесам, которые окружали металлическое яйцо. На глаз Скайльс определил, что яйцеобразный аппарат был не менее восьми с половиной метров высоты и шести метров в поперечнике. Посредине, по окружности его, шел стальной пояс, пригибающийся книзу, к поверхности аппарата, как зонт, — это был парашютный тормоз, увеличивающий сопротивление аппарата при падении в атмосфере. Под парашютом расположены три круглые дверцы — входные люки. Нижняя часть яйца оканчивалась узким горлом. Его окружала двойная, массивной стали, круглая спираль, свернутая в противоположные стороны, — это был буфер, смягчающий удар при падении на землю...

Постукивая карандашом по клепаной обшивке яйца, Лось стал объяснять подробности междупланетного корабля. Аппарат построен из упругой и тугоплавкой стали, внутри хорошо укреплен ребрами и легкими фермами. Это внешний чехол. В нем помещался второй чехол из шести слоев резины, войлока и кожи. Внутри этого второго, кожаного, стеганого яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Для наблюдения поставлены выходящие за внешнюю оболочку аппарата особые «глазки» в виде короткой металлической трубки, снабженной призматическими стеклами.

Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла, твердостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведена искровая свеча от общего магнето и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались ультралиддитом — тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, найденным в лаборатории ...ского завода в Петрограде. Сила ультралиддита превосходила все до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных каналов горла, поступающий во взрывные камеры ультралиддит пропускался сквозь магнитное поле.

Таков в общих чертах был принцип движущего механизма: это была ракета. Запас ультралиддита — на сто часов. Уменьшая или увеличивая число взрывов в секунду, можно регулировать скорость подъема и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивается к ней горлом.

— На какие средства построен аппарат?— спросил Скайльс.

Лось с некоторым изумлением взглянул на него:

— На средства республики...

Лось и Скайльс вернулись к столу. После некоторого молчания Скайльс спросил неуверенно:

— Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?

— Это я увижу утром, в пятницу, девятнадцатого августа.

— Я предлагаю вам десять долларов за строчку путевых впечатлений. Аванс — шесть фельетонов по двести строк, чек можете учесть в Стокгольме. Согласны?

Лось засмеялся, кивнул головой: согласен. Скайльс присел на углу стола писать чек.

— Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной: ведь это в сущности так близко, ближе, чем пешком, например, до Стокгольма, — сказал Лось, дымя трубкой.

СПУТНИК

Лось стоял, прислонившись плечом к верее раскрытых ворот. Трубка его погасла.

За воротами до набережной Ждановки лежал пустырь. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог догореть печальный закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова, лежали в зеленых водах неба.

Над ними зеленело небо. Несколько звезд зажглось на нем. Было тихо на старой Земле.

Рабочий Кузьмин, давеча мешавший в ведерке сурик, тоже подошел и остаиовился в воротах, бросил огонек папироски в темноту.

— Трудно с Землей расставаться, — сказал он негромко. — С домом и то трудно расставаться. Из деревни идешь на железную дорогу — раз десять оглянешься. Изба соломой крыта, а — свое, прижилое место. Землю покидать — ай, ай, ай...

— Вскипел чайник, — сказал Хохлов, другой рабочий, — иди, Кузьмин, чай пить.

Кузьмин вздохнул: «Да, так-то», и пошел к горну. Хохлов — суровый человек — и Кузьмин сели у горна на ящики и пили чай, осторожно ломали хлеб, отдирали от костей вяленую рыбу, жевали ие спеша. Кузьмин, мотиув бородкой, сказал вполголоса:

— Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и иет.

— А ты погоди его отпевать.

— Мне одии летчик рассказывал: поднялся он на восемь верст, — летом, заметь, — и масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь? Там — холод. Тьма.

— А я говорю — погоди отпевать, — повторил Хохлов мрачно.

— Лететь с иим иикто ие хочет, ие верят. Объявление вторую неделю висит иапрасно.

— А я верю.

— Долетит?

— Вот то-то, что долетит. Вот и в Европе оии тогда взвоьются.

— Кто взвоьется?

— Кто, кто взвоьется? На теперь, выкуси, — Марс-то чей? — советский.

— Да, это бы здорово.

Кузьмин пододвинулся на ящике. Подошел Лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем.

— Хохлов, не согласитесь лететь со мной?

— Нет, Мстислав Сергеевич, — ответил Хохлов, — не соглашусь, боюсь.

Лось усмехиулся, хлебнул из кружки, покосился на Кузьмина.

— А вы, милый друг?

— Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел, — жена у меня больная, опять — детишки, как их оставишь?

— Да, видимо, придется лететь одному, — сказал Лось, поставив пустую кружку, вытер губы ладоиью, — охотников покинуть Землю маловато. — Ои опять усмехнулся, качнул головой. — Вчера барышия приходила по объявлению. «Хорошо, говорит, я с вами лечу, мие девятнадцать лет, пою, танцую, играю на гитаре, на Земле жить больше не хочу — революции мне надоели. Визы иа выезд ие иужио?» Кончился наш разговор, — села барышня и заплакала. «Вы меня обманули, я рассчитывала, что лететь нужно гораздо ближе». Потом молодой человек явился, говорит басом, руки потные. «Вы, говорит, считаете меня за идиота — лететь на Марс невозможно; на каком основании вывешиваете подобные объявления?» Насилу его успокоил.

Лось оперся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомлеиным, лоб сморщился. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Кузьмин ушел за табачком. Хохлов, кашляиув, сказал:

— Мстислав Сергеевич, самому-то вам разве ие страшно?

Лось перевел на него глаза, согретые жаром углей.

— Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, — удар будет мгиовенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так: мои расчеты окажутся неверны, я не попаду в притяжение Марса — проскочу мимо. Запаса топлива, кислорода, еды мне хватит надолго. И вот — лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через тысячу лет мой окоченелый труп влетит в ее огнеиные океаиы. Но эти тысячу лет — мой летящий во тьме труп! Но эти долгие дни, покуда я еще жив, — а я буду жить долго в этой коробке, — долгие дни безиадежного отчаяния — одни во всей вселениой! Не смерть страшиа, но одиночество, безиадежиое одиночество в вечиой тьме. Это действительио страшно. Очень не хочется лететь одиому.

Лось прищурился на угли. Рот его упрямо сжался.

В воротах показался Кузьмин, позвал его вполголоса:

— Мстислав Сергеевич, к вам.

— Кто? — Лось быстро поднялся.

— Красноармеец какой-то спрашивает.

В сарай, вслед за Кузьминым, вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление иа улице Красных Зорь. Коротко кивиул Лосю, оглянулся иа леса, подошел к столу.

— Попутчик вам требуется?

Лось пододвинул ему стул, сел напротив.

— Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс.

— Знаю, в объявлении сказано. Мне эту звезду показали давеча. Далеко, конечно. Условия какие, хотел я знать: жалованье, харчи?

— Вы семейный?

— Жеиатый, детей иет.

Он ногтями деловито постукивал по столу, поглядывал кругом с любопытством. Лось вкратце рассказал ему об условиях перелета, предупредил о возможном риске. Предложил обеспечить семью и выдать жалованье вперед деньгами и продуктами. Красиоармеец кивал, поддакивал, но слушал рассеянно.

— Как, вам известио, — спросил ои, — люди там или чудовища обитают?

Лось крепко почесал в затылке, засмеялся.

— По-моему, там должиы быть люди, чтоибудь вроде иас. Приедем, увидим. Дело вот в чем: уже иесколько лет на больших радиостанциях в Европе и в Америке начали принимать иепоиятные сигналы. Сначала думали, что это следы бурь в магиитиых полях Земли. Но таинствеииые звуки были слишком похожи иа азбучные сигиалы. Кто-то иастойчиво хочет с иами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не устаиовлено пока жизни. Сигналы могут идти только с Марса. Взгляиите на его карту, — ои, как сеткой, покрыт каналами. (Ои указал на чертеж Марса, прибитый к дощатой стеие.) Видимо, там есть возможность установить огромной мощиости

радиостанции. Марс хочет говорнть с Землей. Пока мы не можем отвечать на этн снгналы. Но мы летнм на зов. Трудно предположнть, что радностанцин на Марсе построены чудовнщамн, существами, не похожнмн на нас. Марс н Земля — два крошечиых шарнка, кружащнеся рядом. Одни законы для нас н для ннх. Во вселенной носнтся пыль жнзнн. Однн н те же споры оседают на Марс и на Землю, на все мнрнады остывающнх звезд. Повсюду возннкает жнзнь, и над жнзнью всюду царствует человекоподобный: нельзя создать жнвотное, более совершенное, чем человек.

— Еду с вамн, — сказал красноармеец решительно. — Когда с вещами прнходнть?

— Завтра. Я должен вас ознакомнть с аппаратом. Ваше нмя, отчество, фамнлня?

— Гусев, Алексей Ивановнч.

— Занятне?

Гусев рассеянио взглянул на Лося, опустнл глаза на свон постукнвающне по столу пальцы.

— Я грамотный, — сказал он, — автомобнль ннчего себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем. С восемнадцатн лет войной заннмаюсь — вот все мое н заиятие. Имею раненин. Теперь нахожусь в запасе. — Он вдруг ладонью шнбко потер темя, коротко засмеялся. — Ну, н дела былн за этн семь лет! По совестн говоря, я бы сейчас полком должен командовать, — характер неужнвчнвый! Прекратятся военные действия, — не могу снддеть на месте: сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку нлн так убегу. (Он потер макушку, усмехнулся.) Четыре республнкн учреднл, — н городов-то сейчас этих не запомню. Однн раз собрал сотнн трн ребят, — отправнлнсь Индню освобождать. Хотелось нам туда добраться. Но сбнлнсь в горах, попалн в метель, под обвалы, побнлн лошадей. Вернулось нас оттуда немного. У Махно был два месяца, погулять захотелось... ну, с бандитамн не ужнлся... Ушел в Красную Армию. Поляков гнал от Кнева, — тут уж я был в коннице Буденного: «Даешь Варшаву!» В последннй раз ранен, когда бралн Перекоп. Провалялся после этого без малого год по лазаретам. Выпнсался — куда деваться? Тут эта девушка моя подвернулась, — женнлся. Жена у меня хорошая, жалко ее, но дома жить не могу. В деревню ехать, — отец с матерью померлн, братья убнты, земля заброшена. В городе делать нечего. Войны сейчас ннкакой нет, — не предвндится. Вы уж, пожалуйста, Мстнслав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь.

— Ну, очень рад, — сказал Лось, подавая ему руку, — до завтра.

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Все было готово к отлету с Земли. Но два последующих дня пришлось, почти без сна, провозиться над укладкой внутрн аппарата — в полых подушках — множества мелочей. Проверялн прнборы н ннструменты. Снялн леса, окружавшие аппарат, разобралн часть крышн.

Лось показал Гусеву механизм двнжения н важнейшне прнборы, — Гусев оказался ловким н сметливым человеком.

Назавтра, в шесть вечера, назначнли отлет.

Поздно вечером Лось отпустнл рабочнх н Гусева, погаснв электрнчество, кроме лампочкн над столом, прнлег, не раздеваясь, на железную койку — в углу сарая, за треногой телескопа.

Ночь была тнхая н звездная. Лось ие спал. Закннув за голову рукн, глядел в сумрак. Много дней он не давал себе волн. Сейчас, в последнюю иочь на Земле, он отпустнл сердце: мучайся, плачь.

Он вспомннл... Комната в полутьме... Свеча заставлена кннгой. Запах лекарств, душно. На полу, на ковре — таз. Когда встаешь н проходншь мимо таза, по стене, по тосклнвым обоям колышутся тени. Как томнтельно! В постелн то, что дороже света, — Катя, жена — часто-часто, тнхо дышит. На подушке — густые, спутанные волосы. Подняты коленн под одеялом. Катя уходнт от него. Изменилось недавно такое хорошее кроткое лнцо. Оно — розовое, непокойное. Выпростала руку н щнплет пальцамн край одеяла. Лось снова, снова берет ее руку, кладет под одеяло.

«Ну, раскрой глаза, ну, взглянн, проснись со мной». Она говорнт жалобным, чуть-чуть слышным голосом: «Ской окро, ской окро». Детский, едва слышный, жалобный ее голос хочет сказать: «Открой окно». Страшнее страха — жалость к ней, к этому голосу. «Катя, Катя, взглянн». Он целует ее в щекн, в лоб, в закрытые векн. Горло у нее дрожнт, грудь подымается толчкамн, пальцы вцепнлнсь в край одеяла. «Катя, Катя, что с тобой?» Не отвечает, уходнт... Поднялась на локтях, подняла грудь, будто снизу ее толкалн, мучнлн. Мнлая головка закннулась... Она опустнлась, ушла в постель. Упал подбородок. Лось, сотрясаясь от отчаяння, обхватил ее, прнжался.

...Нет, нет, иет, — со смертью нет прнмнренья...

Лось поднялся с койкн, взял со стола коробку с папиросамн, закурнл н ходнл некоторое время по темному сараю. Потом взошел иа лесенку телескопа, нашел нскателем Марс, поднявшнйся уже над Петроградом, н долго глядел на небольшой, ясный, теплый шарнк. Он слегка дрожал в перекрещнвающнхся волосках окуляра.

...Он опять прнлег... Память открыла вндение. Катюша снднт в траве на прнгорке. Вдалн, за волннстымн полямн, — золотые точкн Звенигорода. Коршуны плавают в летнем зное иад хлебами, иад гречнхамн. Катюше леннво и жарко. Лось, снддя рядом, кусая травинку, поглядывает на русую голову Катюшн, иа загорелое плечо со светлой полоской кожн между загаром н платьем. Катюшины серые глаза — равиодушиые н прекрасиые, — в иих тоже плавают коршуны. Кате восемнадцать лет. Снднт н молчнт. Лось думает: «Нет, милая моя, есть у меия дело поважнее, чем вот, на этом прнгорке, влюбнться в вас. На этот крю-

чок не попадусь, на дачу к вам больше ездить не стану».

Ах, боже мой! Как неразумно были упущены эти летние, горячие дни. Остановить бы время тогда! Не вернуть! Не вернуть!..

Лось опять встал с койки, чиркал спичками, курил, ходил. Но и хождение вдоль дощатой стены было тягостно: как зверь в яме.

Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс.

«И там не уйти от себя, — за гранью Земли, за гранью смерти. Зачем нужно было хлебнуть этого яду, — любить! Жить бы неразбуженным. Летят же в эфире окоченевшие семена жизни, ледяные кристаллы, летят дремлющие. Нет, нужно упасть и расцвесть — пробудиться к жажде — любить, слиться, забыться, перестать быть одиноким семенем. И весь этот короткий сон затем, чтобы снова — смерть, разлука, и снова — полет ледяных кристаллов».

Лось долго стоял в воротах. Кровяным, то синим, то алмазным светом переливался Марс — высоко над спящим Петроградом. «Новый, дивный мир, — думал Лось, — быть может, давно уже погасший или фантастический, цветущий и совершенный... Так же оттуда, когда-нибудь ночью, буду глядеть на мою родную звезду среди звезд... Вспомню — пригорок, и коршунов, и могилу, где лежит Катя... И печаль моя будет легка...».

Под утро Лось положил на голову подушку и забылся. Его разбудил грохот обоза, ехавшего по набережной. Лось провел ладонью по лицу. Еще бессмысленные от ночных видений глаза его разглядывали карты на стенах, очертания аппарата. Лось вздохнул, совсем пробуждаясь, подошел к крану и облил голову студеной водой. Накинул пальто и зашагал через пустырь к себе на квартиру, где полгода тому назад умерла Катя.

Здесь он вымылся, побрился, надел чистое белье и платье, осмотрел, заперты ли все окна. Квартира была нежилая — повсюду пыль. Он открыл дверь в спальню, где после смерти Кати он никогда не ночевал. В спальне было почти темно от спущенных штор, лишь отсвечивало зеркало шкафа с Катиными платьями, — зеркальная дверца была приоткрыта. Лось нахмурился, подошел на цыпочках и плотно прикрыл ее. Замкнул дверь спальни. Вышел из квартиры, запер парадное и плоский ключик положил себе в жилетный карман.

Теперь все было закончено перед отъездом.

ТОЮ ЖЕ НОЧЬЮ

Этой ночью Маша долго дожидалась мужа — несколько раз подогревала чайник на примусе. За высокой дубовой дверью было тихо и жутковато.

Гусев и Маша жили в одной комнате, в когда-то роскошном, огромном, теперь заброшенном доме. Во время революции обитатели покинули его. За четыре года дожди и зимние вьюги сильно попортили его внутренность.

Комната была просторная. На потолке, среди золотой резьбы и облаков, летела пышная женщина с улыбкой во все лицо, кругом — крылатые младенцы.

«Видишь, Маша, — постоянно говаривал Гусев, показывая на потолок, — женщина какая веселая, в теле, и детей шесть душ, вот это — баба».

Над золоченой, с львиными лапами, кроватью висел портрет старика, в пудреном парике, с поджатым ртом, со звездой на кафтане. Гусев прозвал его «Генерал Топтыгин». «Этот спуска не давал, чуть что не по нем — сейчас топтать». Маша боялась глядеть на портрет. Через комнату была протянута железная труба железной печечки, закоптившей стену. На полках, на столе, где Маша готовила скудную еду, — порядок и чистота.

Резная дубовая дверь отворялась в двусветную залу. Разбитые окна в ней были заколочены досками, потолок местами обваливался. В ветреные ночи здесь гулял, завывая, ветер, бегали крысы.

Маша сидела у стола. Шипел огонек примуса. Издалека ветер донес печальный перезвон часов, — пробило два. Гусев не шел. Маша думала:

«Что ищет, чего ему мало? Все чего-то хочет найти, душа непокойная, Алеша, Алеша... Хоть бы раз закрыл глаза, лег бы ко мне на плечо, сынок: не ищи, не найдешь дороже моей жалости».

На ресницах у Маши выступали слезы, она их не спеша вытирала и подпирала щеку. Над головой летела, не могла улететь веселая женщина с веселыми младенцами. О ней Маша думала: «Вот была бы такая — никуда бы от меня не ушел».

Гусев сказал ей, что уезжает далеко, но куда — она не знала, спросить боялась. Она и сама видела, что жить ему с ней в этой чудной комнате, в тишине, без прежней воли, — трудно, не вынести. Ночью приснится ему что-нибудь — заскрежещет, вскрикнет глухо, сядет на постели и дышит, — зубы стиснуты, в поту лицо и грудь. Повалится, заснет, а наутро — весь темный, места себе не находит.

Маша до того была тихой с ним, так прилащивалась, — умнее матери. За это он ее любил и жалел, но как утро, — глядел, куда бы уйти.

Маша служила, приносила домой пайки. Денег у них часто совсем не было. Гусев хватался за разные дела, но скоро бросал. «Старики сказывали — в Китае есть золотой клин, — говаривал он, — клина, чай, такого там нет, но земля действительно нам еще неизвестная, — уйду я, Маша, в Китай, поглядеть, как и что».

С тоской, как смерти, ждала Маша того часа, когда Гусев уйдет. Никого на свете, кроме него, у нее не было. С пятнадцати лет служила продавщицей по магазинам, кассиршей на невских пароходиках. Жила одиноко, невесело.

Год назад, в праздник, познакомилась с Гусевым в парке на скамейке. Он спросил: «Вижу, одиноко сидите, дозвольте с вами провести время, — одному скучно». Она взгляну-

ла, — лицо славное, глаза веселые, добрые и — трезвый. «Ничего не имею против», — ответила коротко. Так они и гуляли в парке до вечера. Гусев рассказывал о войнах, набегах, переворотах, — такое, что ни в одной книге не прочтешь. Проводил Машу до квартиры и с того дня стал к ней ходить. Маша просто и спокойно отдалась ему. И тогда полюбила, — вдруг, кровью всей почувствовала, что он — ей родной... С этого началась ее мука...

Чайник закипел, Маша сняла его и опять затихла. Уже давно ей чудился какой-то шорох за дверью, в пустой зале. Было так грустно, — не вслушивалась. Но сейчас — явственно слышно — шаркали чьи-то шаги.

Маша быстро открыла дверь и высунулась. В одно из окон в залу пробирался свет уличного фонаря и слабо освещал пузырчатыми пятнами несколько низких колонн. Между ними Маша увидела седого, нагнувшего лоб старичка, без шапки, в длинном пальто, — он стоял, вытянув шею, и глядел на Машу. У нее ослабели колени.

— Вам что здесь нужно? — спросила она шепотом.

Старичок вытянул шею и так смотрел на нее. Поднял, грозя, указательный палец. Маша с силой захлопнула дверь, — сердце отчаянно билось. Она вслушивалась, — шаги теперь отдалялись: старичок, видимо, уходил по парадной лестнице вниз.

Вскоре с другой стороны залы раздались быстрые, сильные шаги мужа. Гусев вошел веселый, перепачканный копотью.

— Слей-ка помыться, — сказал он, расстегивая ворот, — завтра едем, прощайте. Чайник у тебя горячий? Это славно. — Он вымыл лицо, крепкую шею, руки по локоть, вытираясь — покосился на жену. — Будет тебе, не пропаду, вернусь. Семь лет меня ни пуля, ни штык не могли истребить. Мой час еще далек, — отметка не сделана. А умирать — все равно не отвертишься: муха на лету заденет лапой, — брык и помер.

Он сел к столу, начал лупить варенную картошку, разломил, окунул в соль.

— Назавтра приготовь чистое, две смены, — рубашки, подштанники, подвертки. Мыльца не забудь, шильца да мыльца. Ты что — опять плакала?

— Испугалась, — ответила Маша, отворачиваясь, — старик какой-то все ходит, пальцем погрозил. Алеша, не уезжай.

— Это не ехать — что старик-то пальцем погрозил?

— На несчастье он погрозил.

— Жалко, я уезжаю, я бы с этим старикашкой сурьезно поговорил. Это непременно кто-нибудь из бывших, здешних, бродит по ночам, нашептывает, выживает.

— Алеша, ты вернешься ко мне?

— Сказал — вернусь, значит, вернусь. Фу-ты, беспокойная.

— Далеко едешь?

Гусев засвистал, кивнул на потолок и, посмеиваясь глазами, налил горячего чаю на блюдце.

— За облака, Маша, лечу, вроде этой бабы.

Маша только опустила голову. Гусев зевнул, начал раздеваться. Маша неслышно прибрала посуду, села штопать носки, — не поднимала глаз. А когда скинула платье и подошла к постели, — Гусев уже спал, положив руку на грудь, покойно закрыв ресницы. Маша прилегла рядом и глядела на мужа. По щекам ее текли слезы, так он был ей дорог, так тосковала она по его мятежному сердцу: «Куда летит, чего ищет?»

На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся. Напился чаю, — шутил, гладил Машу по щеке. Оставил денег — большую пачку. Вскинул на спину мешок, задержался в дверях и поцеловал Машу.

Так она и не узнала, куда он уезжает.

ОТЛЕТ

На пустыре перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова, сбивались в кучки, поглядывали на невысокое солнце, пустившее сквозь облака широкие лучи. Начинались разговоры:

— Что это народ собрался — убили кого?

— На Марс сейчас полетят.

— Вот тебе дожили, этого еще не хватало!

— Что вы рассказываете? Кто полетит?

— Двоих бандитов из тюрьмы взяли, запечатают их в стальной шар и — на Марс, для опыта.

— Бросьте вы врать, в самом деле.

— Ах, сволочи, людей им не жалко!..

— То есть — кому это — «им»?

— А вы, гражданин, не цепляйтесь.

— Конечно, издевательство.

— Ну и народ дурак, боже мой!

— Почему народ дурак? Откуда вы решили?

— Вас бы самого отправить за эти слова.

— Бросьте, товарищи. Тут в самом деле историческое событие, а вы, леший знает, что несете.

— А для каких целей на Марс отправляют?

— Извините, сейчас один тут говорил: двадцать пять пудов погрузили они одной агитационной литературы.

— Это экспедиция.

— За чем?

— За золотом.

— Совершенно верно, — для пополнения золотого фонда.

— Много думают привезти?

— Неограниченное количество.

— Граждане, долго нам еще ждать?

— Как солнце сядет, так они и взовьются...

До сумерек переливался говор, шли разные разговоры в толпе, ожидающей необыкновенного события. Спорили, ссорились, но не уходили.

Тусклый закат багровым светом разлился на полнеба. И вот, медленно раздвигая толпу, появился большой автомобиль Губисполкома. В сарае изнутри осветились окна. Толпа затихла, придвинулась.

Открытый со всех сторон, поблескивающий рядами заклепок, яйцевидный аппарат стоял на цементной, слегка наклоненной площадке, посреди сарая. Его ярко освещенная внутренность из стеганной ромбами желтой кожи была видна сквозь круглое отверстие люка.

Лось и Гусев были уже одеты в валеные сапоги, в бараньи полушубки, в кожаные пилотские шлемы. Члены исполкома, академики, инженеры, журналисты окружали аппарат. Напутственные речи были уже сказаны, фотографические снимки сделаны. Лось благодарил провожающих за внимание. Его лицо было бледно, глаза как стеклянные. Он обнял Хохлова и Кузьмина. Взглянул на часы.

— Пора!

Провожающие затихли. Гусев нахмурился и полез в люк. Внутри аппарата он сел на кожаную подушку, поправил шлем, одернул полушубок.

— К жене зайди, не забудь, — крикнул он Хохлову и сильно нахмурился.

Лось все еще медлил, глядел себе под ноги. Вдруг он поднял голову и сказал глуховатым, взволнованным голосом:

— Я думаю, что удачно опущусь на Марсе. Я уверен — пройдет немного лет, и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно нас толкает дух искания. Но не мне первому нужно было лететь. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? — Забвение самого себя... Вот это меня смущает больше всего при расставании с вами... Нет, товарищи, я — не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель, я — трус, я — беглец...

Лось вдруг оборвал, странным взором оглянул провожающих, — все слушали его с недоумением. Он надвинул на глаза шлем.

— А впрочем, это не нужно никому — ни вам и ни мне, — личные переживки... Оставляю их на этой одинокой койке, в сарае... До свиданья, товарищи, прошу как можно дальше отойти от аппарата...

Сейчас же Гусев крикнул из люка:

— Товарищи, я передам этим на Марсе пламенный привет от Советской республики. Уполномачиваете?

Толпа загудела. Раздались аплодисменты.

Лось повернулся, полез в люк и сейчас же с силой захлопнул его за собой. Провожающие, теснясь, взволнованно перекидываясь словами, побежали из сарая к толпе на пустырь. Чей-то голос протяжно начал кричать:

— Осторожнее, отходите, ложитесь!

В молчании теперь тысячи людей глядели на квадратные освещенные окна сарая. Там было тихо. Тишина и на пустыре. Так прошло несколько минут. Много людей легло на землю. Вдруг звонко вдалеке заржала лошадь. Кто-то крикнул страшным голосом:

— Тише!

В сарае оглушающе грохнуло, затрещало. Сейчас же раздались более сильные, частые удары. Задрожала земля. Над крышей сарая поднялся тупой металлический нос и заволокся облаком дыма и пыли. Треск усилился. Черный аппарат появился весь над крышей и повис в воздухе, будто примериваясь. Взрывы слились в сплошной вой, и четырехсаженное яйцо, наискось, как ракета, взвилось над толпой, устремилось к западу, ширкнуло огненной полосой и исчезло в багровом, тусклом зареве туч.

Только тогда в толпе начался крик, полетели шапки, побежали люди, обступили сарай.

В ЧЕРНОМ НЕБЕ

Завинтив входной люк, Лось сел напротив Гусева и стал глядеть ему в глаза, — в колючие, как у пойманной птицы, точки зрачков.

— Летим, Алексей Иванович?

— Пускайте.

Тогда Лось взялся за рычажок реостата и слегка повернул его. Раздался глухой удар, — тот первый треск, от которого вздрогнула на пустыре тысячная толпа. Повернул второй реостат. Глухой треск под ногами и сотрясения аппарата стали так сильны, что Гусев схватился за сиденье, выкатил глаза. Лось включил оба реостата. Аппарат рванулся. Удары стали мягче, сотрясение уменьшилось. Лось прокричал:

— Поднялись.

Гусев отер пот с лица. Становилось жарко. Счетчик скорости показывал пятьдесят метров в секунду, стрелка продолжала подвигаться вперед.

Аппарат мчался по касательной, против вращения Земли. Центробежная сила относила его к востоку. По расчетам, на высоте ста километров он должен был выпрямиться и лететь по диагонали, вертикальной к поверхности Земли.

Двигатель работал ровно, без сбоев. Лось и Гусев расстегнули полушубки, сдвинули на затылок шлемы. Электричество было потушено, и бледный свет проникал сквозь стекла глазков.

Преодолевая слабость и начавшееся головокружение, Лось опустился на колени и сквозь глазок глядел на уходящую Землю. Она расстилалась огромной, без краев, вогнутой чашей, — голубовато-серая. Кое-где, точно острова, лежали на ней гряды облаков, — это был Атлантический океан.

Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну.

Гусев, прильнувший к другому глазку, сказал:

— Прощай, матушка, пожито на тебе, пролито кровушки.

Он поднялся с колен, но вдруг зашатался, повалился на подушку. Рванул ворот:

— Помираю, Мстислав Сергеевич, мо́чи нет.

Лось чувствовал: сердце бьется чаще, чаще, уже не бьется, — трепещет мучительно. Бьет кровь в виски. Темнеет свет.

Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончался слой воздуха. Уменьшалось притяжение. Компас показывал, что Земля была вертикально внизу. Аппарат, с каждой секундой набирая скорость, с сумасшедшей быстротой уносился в мировое ледяное пространство.

Лось, ломая ногти, едва расстегнул ворот полушубка — сердце стало.

. . . .

Предвидя, что скорость аппарата и находящихся в нем тел достигнет такого предела, когда наступит заметное изменение скорости биения сердца, обмена крови и соков, всего жизненного ритма тела, — предвидя это, Лось соединил счетчик скорости одного из жироскопов (их было два в аппарате) электрическими проводами с кранами баков, которые в нужную минуту должны выпустить большое количество кислорода и аммиачных солей.

Лось очнулся первым. Грудь резало, голова кружилась, сердце шумело, как волчок. Мысли появились и исчезли — необычайные, быстрые, ясные. Движения были легки и точны.

Лось закрыл лишние краны в баках, взглянул на счетчик. Аппарат покрывал около пятисот верст в секунду. Было светло. В один из глазков входил прямой, ослепительный луч солнца. Под лучом, навзничь, лежал Гусев,— зубы оскалены, стеклянные глаза вышли из орбит.

Лось поднес ему к носу едкую соль. Гусев глубоко вздохнул, затрепетали веки. Лось обхватил его под мышками и сделал усилие приподнять, но тело Гусева повисло, как пузырь с воздухом. Он разжал руки, — Гусев медленно опустился на пол, вытянул ноги по воздуху, поднял локти, — сидел, как в воде, озирался.

— Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?

Лось приказал ему лезть наблюдать в верхние глазки. Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха, — хватался за стеганую обивку. Прильнул к глазку.

— Темень, Мстислав Сергеевич, как есть ничего не видно.

Лось надел дымчатое стекло на окуляр, обращенный к солнцу. Четким очертанием, огромным, косматым клубком солнце висело в пустой темноте. С боков его, как крылья, были раскинуты две световые туманности. От плотного ядра отделился фонтан и расплылся грибом, — это было время, когда проходили большие солнечные пятна. В отдалении от светлого ядра располагались еще более бледные, чем зодиакальные крылья, световые океаны огня, отброшенные от солнца и вращающиеся вокруг него.

Лось с трудом оторвался от этого зрелища, — живоносного огня вселенной. Прикрыл окуляр колпачком. Стало темно. Он придвинулся к глазку, противоположному световой стороне. Здесь была тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся в зеленоватый луч звезды. Но вот в глазок вошел голубой, ясный, сильный луч, — это был Сириус, небесный алмаз, первая звезда северного неба.

Лось подполз к третьему глазку. Повернул окуляр, взглянул, протер его носовым платком. Всмотрелся. Сжалось сердце, стали чувствительны волосы на голове.

Невдалеке, во тьме, плыли, совсем близко, неясные, туманные пятна. Гусев проговорил с тревогой:

— Какая-то штука летит рядом с нами.

Туманные пятна медленно уходили вниз, становились отчетливее, светлее. Побежали изломанные, серебристые линии, нити. И вот стало проступать яркое очертание рваного края скалистого гребня. Аппарат, видимо, сближался с каким-то небесным телом, вошел в его притяжение и, как спутник, начал поворачиваться вокруг него.

Дрожащей рукой Лось пошарил рычажки реостатов и повернул их до отказа, рискуя взорвать аппарат. Внутри, под ногами, все заревело, затрепетало. Пятна и сияющие рваные края быстрее стали уходить вниз. Освещенная поверхность увеличивалась, приближалась. Теперь уже ясно можно было видеть резкие, длинные тени от скал, — они тянулись через оголенную, мертвую равнину.

Аппарат летел к скалам, — они были совсем близко, залитые сбоку солнцем. Лось подумал (сознание было спокойное и ясное): через секунду, — аппарат не успеет повернуть к притягивающей его массе горлом, — через секунду — смерть.

В эту долю секунды Лось заметил на мертвой равнине, меж скал, развалины уступчатых башен... Затем аппарат скользнул над голыми остриями гор... Но там, по ту их сторону, был обрыв, бездна, тьма. Сверкнули на рваном отвесном обрыве жилы металлов. И осколок разбитой, неведомой планеты остался далеко позади, — продолжал свой мертвый путь к вечности. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба.

Вдруг Гусев крикнул:

— Вроде как Луна перед нами!

Он обернулся, отделился от стены и повис в воздухе, раскорячился лягушкой и, ругаясь шепотом, силился приплыть к стене. Лось отделился от пола и тоже повиснул, держась за трубку глазка, — глядел на серебристый, ослепительный диск Марса.

СПУСК

Серебристый, кое-где словно подернутый облачками диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность. На востоке она доходила до экватора, близ среднего меридиана поднималась, огибая полого более светлую поверхность, и раздваивалась, образуя у западного края диска второй мыс.

По экватору были расположеиы — ясио вндиы — пять темных точек, круглых пятен. Оии соединялись прямыми лнннями, которые начертывалн два равносторонних треугольиика н третий — удлиенный. Подножне восточиого треугольнника было охвачеио правильиой дугой. От середнны ее до крайней, западной точки шло второе полукружне. Несколько линий, точек н полукружий разбросаио к западу и востоку от этой экваториальной группы. Северный полюс тонул во мгле.

Лось жадио вглядывался в эту сеть лииий: вот оии, сводящне с ума астроиомов, постоянно меняющиеся, геометрнчески правнльные, непостигаемые каналы Марса. Лось различал теперь под этим четкнм рисунком вторую, едва проступающую, словио стертую, сеть линий.

Он иачал иабрасывать прнмериый рнсунок ее в записной киижке. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кииулся к реостатам.

— Попалн, Алексей Иванович, притягиваемся, падаем!

Аппарат поворачивал горлом к планете. Лось умеиьшнл и совсем выключнл двигатель. Перемеиа скорости была теперь менее болезненна. Но наступила тишина иастолько мучнтельиая, что Гусев уткиулся лицом в рукн, зажал уши.

Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, стаиовится все более выпуклым серебряный диск. Казалось, из черной бездиы он сам теперь летел иа них.

Лось снова включнл реостаты. Аппарат затрепетал, преодолевая притяжеине Марса. Скорость падения замедлилась. Марс закрывал теперь все иебо, тускиел, края его выгибались чашей.

Последние секуиды были страшиыми: головокружительное падение. Марс закрыл все небо. Внезапно стекла глазков запотели. Аппарат прорезывал облака над тусклой равниной и, ревя н сотрясаясь, медлеино теперь опускался.

— Садимся! — успел только крнкиуть Лось и выключил двигатель. Снльиым толчком его кинуло на стену, перевериуло. Аппарат грузио сел н повалился набок.

. . . .

Колени тряслись, руки дрожалн, сердце замирало. Молча, торопливо Лось и Гусев приводили в порядок внутренность аппарата. Сквозь отверстие одного из глазков высуиули наружу полуживую мышь, привезенную с Земли. Мышь понемногу ожила, подняла иос, стала шевелить усамн, умылась. Воздух был годен для жизни.

Тогда отвинтили входиой люк. Лось облизнул губы, сказал еще глуховатым голосом:

— Ну, Алексей Иванович, с благополучиым прибытием. Вылезаем.

Скниули валеики и полушубки. Гусев прицепил маузер к поясу (иа всякий случай), усмехнулся и распахнул люк.

МАРС

Темио-сииее, как море в грозу, ослепительное, бездоиное иебо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата.

Пылающее, косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потокн хрустальиого синего света былн прохладны, прозрачны — от резкой черты горизоита до зенита...

— Веселое у иих солнце, — сказал Гусев и чихиул, до того ослепителеи был свет в густо-синей высоте. Покалывало грудь, стучала кровь в вискн, но дышалось легко, — воздух был тонок и сух.

Аппарат лежал иа оранжево-апельсниовой плоской равнине. Горизонт совсем близок, подать рукой. Почва вся в больших трещннах. Повсюду иа равииие стоялн высокне кактусы, точно семнсвечники, — бросали резкне лиловые теии. Подувал сухой ветерок.

Лось и Гусев долго озирались, потом пошли по равнине. Идти было иеобычайио легко, хотя иоги и вязли по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жнрный высокий кактус, Лось протяиул к нему руку. Растеиие, едва его косиулись, затрепетало, как под ветром, н бурые его, мясистые отростки потянулись к руке. Гусев пхнул сапогом ему под кореиь, — ах, погаиь! — кактус повалился, вонзая в песок колючки.

Шли около получаса. Перед глазами расстилалась все та же ораижевая равииа, — кактусы, лиловые теии, трещнны в груите. Когда повериули к югу и солице осталось сбоку, Лось стал присматриваться, словио что-то соображая, вдруг остаиовился, присел, хлопнул себя по колену.

— Алексей Иванович, почва-то ведь вспахаииая.

— Что вы?

Действительио, теперь ясио были видиы широкие, полуобсыпавшиеся борозды пашии и правильиые ряды кактусов. Через несколько шагов Гусев споткнулся о камеиную плиту, в нее было ввериуто большое бронзовое кольцо с обрывком каиата. Лось поскреб подбородок, глаза его блестели.

— Алексей Иваиовнч, вы ничего ие понимаете?

— Да вннжу, что мы — в поле.

— А кольцо зачем?

— Черт их душу зиает, зачем оии кольцо ввинтили.

— А затем, чтобы привязывать бакеи. Видите ракушки? Мы — иа дие высохшего каиала.

Гусев сказал:

— Да, действительио... Насчет воды тут плоховато.

Оии повериули к западу и шли поперек борозд. Вдалеке иад полем подиялась и летела, судорожно взмахнвая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Гусев приостаиовился, положив руку иа револьвер. Но птица взмыла, сверкиув в густой сниеве, и скрылась за близким горизоитом.

Кактусы стаиовились выше, гуще, добротнее. Приходилось осторожно пробираться в их живой, колючей чаще. Из-под иог выбегали

животиые, похожие иа камеииых ящериц, миогоиогие, ярко-ораижевые с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в стороиу какие-то щетиииcтые клубки. Здесь шли осторожио.

Кактусы кончились у белого, как мел, покатого берега. Он был обложеи, видимо, древиими тесаиыми плитами. В трещииах и между щелями кладки висели высохшие волокиа мха. В одиу из таких плит ввериуто такое же, как иа поле, кольцо. Хребтатые ящеры мирио дремали на припеке.

Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видиа холмистая равиииа того же апельсииового, ио более тусклого цвета. Кое-где разбросаиы иа ией кущи иизкорослых, подобиых гориым сосиам, деревьев. Кое-где белели груды камней, очертаиия развалин. Вдали, на северо-западе, поднималась гряда гор, острых и иеровных, как застывшие языки пламеии. На вершинах сверкал сиег.

— Вериуться иам иадо, поесть, передохиуть, — сказал Гусев, — умаемся, тут ии одиой живой души иет.

Оии стояли еще иекоторое время. Равиииа была пустыина и печальиа, — сжималось сердце.

— Да, заехали, — сказал Гусев.

Оии спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов.

Вдруг Гусев — шепотом:

— Вот ои!

Привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры.

— Эй, — закричал ои, — кто там у аппарата, так вашу эдак. Стрелять буду!

— Кому кричите?

— Видите, аппарат поблескивает?

— Вижу теперь, да.

— А вои, правее его, — сидит.

Лось иакоиец увидел, и оии, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо, сидевшее около аппарата, двинулось в стороиу, запрыгало между кактусами, подскочило, раскииуло длиииые перепоичатые крылья, с треском поднялось и, описав полукруг, взмыло иад людьми. Это было то самое, что давеча оии приияли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать иа лету крылатого зверя. Но Лось вышиб у иего оружие, крикнул:

— С ума сошел! Это марсиаиии!..

Закииув голову, раскрыв рот, Гусев глядел на удивительиое существо, описывающее круги в кубово-сииem иебе. Лось выиул иосовой платок и иачал махать страииой птице.

— Мстислав Сергеевич, поосторожиее, как бы ои в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда.

— Спрячьте, говорю, револьвер.

Большая птица сиижалась. Теперь ясио было видио человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. По пояс тело сидящего висело в воздухе. На уровне его плеч взмахивали два изогиутых подвижиых крыла. Под ними, впереди, крутился теиевой диск, видимо — воздушный виит. Позади седла — хвост с раскинутыми вилкой рулями. Весь аппарат — подвижеи и гибок, как живое существо.

Вот он ыыриул и пошел у самой пашии, — одио крыло вииз, другое вверх. Показалась голова марсиаииа в шапке — яйцом, с длииым козырьком. На глазах — очки. Лицо кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и пищал что-то. Часто-часто замахал крыльями, сиизился, пробежал по пашие и соскочил с седла шагах в тридцати от людей.

Марсиаиии был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колеи, туго обмотаиы. Ои сердито указывал иа поваленные кактусы. Но когда Лось и Гусев двииулись к нему, живо вскочил в седло, погрозил оттуда длиииым пальцем, взлетел, почти без разбега, и сейчас же опять сел и продолжал кричать пискливым, тоиким голосом, указывая иа поломаииые растеиия.

— Чудак, обижается, — сказал Гусев и крикнул марсиаииу: — Да будет тебе орать, сукии кот. Катись к иам, ие обидим...

— Алексей Иваиович, перестаньте ругаться, он ие поиимает по-русски. Сядьте, иначе он ие подойдет.

Лось и Гусев сели иа горячий груит. Лось стал показывать, что хочет пить и есть. Гусев закурил папироску, сплюиул. Марсиаиии иекоторое время глядел иа иих и кричать перестал, ио все еще сердито грозил длиииым, как караидаш, пальцем. Затем отвязал от седла мешок, кииул его в стороиу людей, поднялся кругами иа большую высоту и быстро ушел иа север, скрылся за горизоитом.

В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки — в одиой было сильио пахучее желе, в другой — студеиистые кусочки, похожие иа рахат-лукум. Гусев поиюхал.

— Тьфу, скажите, что едят!

Ои вытащил из аппарата корзиику с провизией, иабрал сухих обломков кактуса, запалил их. Подиялся легкий дымок, кактусы тлели, ио жара было миого. Разогрели жестяику с солоииной, разложили еду иа чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали иестерпимый голод.

Солице стояло иад головой, ветер утих, было жарко. По ораижевым кочкам подполз миогоиогий зверек... Гусев кииул ему кусочек сухаря. Ои подиял треугольиую рогатую голову и будто окамеиел.

Лось попросил папироску и прилег, подперев щеку, — курил, усмехался.

— Алексей Иваиович, зиаете, сколько времеии мы ие ели?

— Со вчерашиего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся.

— Не ели мы с вами, друг милый, двадцать три или двадцать четыре дия.

— Сколько?

— Вчера в Петрограде было восемиадцатое августа, а сегодия в Петрограде одиниадцатое сеитября, — вот чудеса какие.

— Этого, вы мие голову оторвите, ие пойму, Мстислав Сергеевич.

— Да этого и я хорошенько-то не понимаю, как это так. Вылетели мы в семь. Сейчас, видите, два часа дня. Девятнадцать часов тому назад мы покинули Землю, по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Вы замечали, — едете вы в поезде, спите, поезд останавливается, вы либо проснетесь от неприятного ощущения, либо во сне вас начинает томить. Это потому, что, когда вагон останавливается, во всем вашем теле происходит замедление скорости. Вы лежите в бегущем вагоне, и ваше сердце бьется, и ваши часы идут скорее, чем если бы вы лежали в недвигающемся вагоне. Разница неуловимая, потому что скорости очень малы. Иное дело — наш перелет. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Тут уже разница ощутима. Биение сердца, скорость хода часов, колебание частиц в клеточках тела не изменились по отношению друг друга, покуда мы летели в безвоздушном пространстве; мы составляли одно целое с аппаратом, всё двигалось в одном с ним ритме. Но если скорость аппарата превышала в пятьсот тысяч раз нормальную скорость движения тела на Земле, то скорость биения моего сердца, — один удар в секунду, если считать по часам, бывшим в аппарате, — увеличилась в пятьсот тысяч раз, то есть мое сердце отбивало во время полета пятьсот тысяч ударов в секунду, считая по часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердца, по движению стрелки хронометра в моем кармане, по ощущению всего моего тела мы прожили в пути девятнадцать часов. И это на самом деле были девятнадцать часов. Но по биению сердца питерского жителя, по движению стрелки на часах Петропавловского собора прошло со дня нашего отлета три с лишком недели. Впоследствии можно будет построить большой аппарат, снабдить его на полгода запасом пищи, кислорода и ультралиддита и предлагать каким-нибудь чудакам: вам не нравится жить в наше время, — хотите жить через сто лет? Для этого нужно только запастись терпением на полгода, посидеть в этой коробке, но зато — какая жизнь! Вы перескочите через столетие. И отправлять их со скоростью света на полгода в междузвездное пространство. Поскучают, обрастут бородой, вернутся, а на Земле — золотой век. А ведь все это так и будет когда-нибудь.

Гусев охал, щелкая языком, много удивлялся:

— Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья, — мы не отравимся?

Он зубами вытащил из марсианской фляжки затычку, попробовал жидкость на язык, сплюнул: пить можно! Хлебнул, крякнул.

— Вроде нашей мадеры.

Лось попробовал; жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом цветов. Пробуя, они выпили половину фляжки. По жилам пошли тепло и особенная легкая сила, голова же оставалась ясной.

Лось поднялся, потянулся, расправился, — хорошо, легко, странно было ему под этим синим небом, несбыточно, дивно. Будто он выкинут прибоем звездного океана, заново рожден в неизведанную, новую жизнь.

Гусев отнес корзинку с едой в аппарат, плотно завинтил люк, сдвинул картуз на самый затылок.

— Хорошо, Мстислав Сергеевич, не жалко, что поехали.

Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине.

Весело переговариваясь, они пошли между кактусами, иногда перепрыгивали через них длинными, легкими прыжками. Камни набережного откоса скоро забелели сквозь заросль.

Вдруг Лось стал. Холодок омерзения прошел по спине. В трех шагах, у самой земли, из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой.

— Вы что? — спросил Гусев и тоже увидел глаза. И, не размышляя, сейчас же выстрелил в них, — взлетела пыль. Глаза исчезли. — Вон еще — гадина! — Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее на больших паучьих ногах бурое, редкополосое, жирное тело. Это был огромный паук, какие на Земле водятся лишь на дне глубоких морей. Он ушел в заросль.

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

От берега до ближайшей кущи деревьев Лось и Гусев шли по горелому, бурому праху, перепрыгивали через обсыпавшиеся неширокие каналы, огибали высохшие прудки. Кое-где, в полузасыпанных руслах, из песка торчали ржавые остовы барок. Кое-где на мертвой, унылой равнине поблескивали выпуклые диски — около метра в диаметре. Отсвечивающие пятна этих дисков тянулись от зубчатых гор — по холмам — к древесным кущам, к развалинам.

Среди двух холмов стояла куща низкорослых, с раскидистыми, плоскими вершинами, бурых деревьев. Их ветви были корявы и крепки, листва напоминала мелкий мох, стволы — жилистые и шишковатые. На опушке, между деревьями висели обрывки колючей сети.

Вошли в лесок. Гусев нагнулся и пихнул ногой, — из-под праха покатился проломанный человеческий череп, в зубах его блеснул металл. Здесь было душно. Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. Через несколько шагов опять наткнулись на выпуклый диск, — он был привинчен к основанию круглого металлического колодца. В конце леска виднелись развалины, — толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом горы щебня, торчащие концы согнутых металлических балок.

— Дома взорваны, Мстислав Сергеевич, — сказал Гусев. — Тут у них, видимо, были дела. Эти штуки мы знаем.

На куче мусора появился большой паук и побежал вниз по рваному краю стены. Гусев

выстрелил. Паук высоко подскочил и упал, перевернувшись. Сейчас же второй паук побежал из-за дома к деревьям, поднимая коричневую пыльцу, и ткнулся в колючую сеть, стал биться в ней, вытягивая ноги.

Из рощицы Гусев и Лось вышли на холм и стали спускаться ко второму леску, туда, где издалека виднелись кирпичные постройки и одно, выше других, каменное здание — с плоскими крышами. Между холмом и поселком лежало несколько дисков. Указывая на них, Лось сказал:

— По всей вероятности, это колодцы водопровода, пневматических труб, электрических проводов. Все это, видимо, брошено.

Они перелезли через колючую сеть, пересекли лесок и подошли к широкому, мощенному плитами двору. В глубине его стоял дом необыкновенной и мрачной архитектуры. Гладкие стены его суживались кверху и заканчивались массивным карнизом из черно-кровяного камня. В стенах — длинные и узкие, как щели, глубокие отверстия окон. Две чешуйчатые, суживающиеся кверху колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф — покоящуюся фигуру с закрытыми глазами. Плоские, во всю ширину здания, ступени вели к низким массивным дверям. Высохшие волокна ползучих растений висели между темными плитами стен. Дом напоминал огромную гробницу.

Гусев стал пробовать плечом металлическую дверь. Налег, — она со скрипом подалась. Они миновали темный вестибюль и вошли в высокую залу. Свет проникал в нее сквозь стекла купола. Зала была почти пуста. Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью, на каменном полу — разбитые сосуды, какая-то странной формы машина, не то орудие — из дисков, шаров и металлической сети, стоящая близ дверей, — все было покрыто слоем пыли.

Пыльный свет падал на желтоватые, с золотистыми искрами стены. Вверху они были опоясаны широкой полосой мозаики. Видимо, она изображала события истории — борьбу желтокожих существ с краснокожими: морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой, та же фигура, летящая между звезд, — картины битв, нападение хищных зверей, стада странных животных, гонимые пастухами, сцены быта, охоты, пляски, рождения и погребения. Мрачный пояс этой мозаики смыкался над дверьми изображением постройки гигантского цирка.

— Странно, странно, — повторял Лось, влезая на диваны, чтобы лучше разобрать мозаику, — повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы, понимаете, очень странно...

Гусев тем временем отыскал в стене едва приметную дверь, — она открывалась на внутреннюю лестницу, ведущую в широкий сводчатый коридор, залитый пыльным светом.

Вдоль стен и в нишах коридора стояли каменные и бронзовые фигуры, торсы, головы, маски, черепки ваз. Украшенные мрамором и бронзой порталы дверей вели отсюда во внутренние покои.

Гусев пошел заглядывать в боковые — низкие, затхлые, слабо освещенные комнаты. В одной был высохший бассейн, в нем валялся дохлый паук. В другой — вдребезги разбитое зеркало, составляющее одну из стен, на полу — куча истлевшего тряпья, опрокинутая мебель, в шкафах — лохмотья одежд.

В третьей комнате, на возвышении, под высоким колодцем, откуда падал свет, стояло широкое ложе. С него до половины свешивался скелет марсианина. Повсюду — следы жестокой борьбы. В углу, тычком, лежал второй скелет.

Здесь среди мусора Гусев отыскал несколько вещиц чеканного, тяжелого металла,— видимо, украшения, предметы женского обихода, — маленькие сосуды из цветного камня. Он снял с истлевшей одежды скелета два, соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри.

— Пригодится, — сказал Гусев, — Машке подарю...

Лось осматривал скульптуру в коридоре. Среди востроносых марсианских голов, изображений морских чудовищ, раскрашенных масок, склеенных ваз, странно напоминающих очертанием и рисунком этрусские амфоры, — внимание его остановила большая поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с всклокоченными волосами и свирепым асимметричным лицом. Острые груди ее торчали в стороны. Голову обхватывал золотой обруч из звезд, над лбом он переходил в тонкую параболу, внутри ее заключались два шарика: рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе-знакомое, выплывающее из непостижимой памяти.

Сбоку статуи, в стене, темнела небольшая ниша, забранная решеткой. Лось запустил пальцы сквозь прутья, но решетка не подалась. Он зажег спичку и увидел в нише на истлевшей подушечке золотую маску. Это было изображение широкоскулого человеческого лица со спокойно закрытыми глазами. Лунообразный рот улыбался. Нос — острый, клювом. На лбу между бровей — припухлость в виде увеличенного стрекозиного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первой зале.

Лось сжег половину коробки спичек, с волнением рассматривая удивительную маску. Незадолго до отлета с Земли он видел снимки подобных масок, отрытых недавно среди развалин гигантских городов по берегам Нигера, в той части Африки, где теперь предполагают следы культуры исчезнувшей таинственной расы.

Одна из боковых дверей в коридоре была приоткрыта. Лось вошел в длинную, очень высокую комнату с хорами и решетчатой балюстрадой. Внизу и наверху — на хорах стояли плоские шкафы и тянулись полки, уставленные маленькими толстыми книжечками. Украшенные тиснением и золотой чеканкой,

корешки их тянулись однообразными линиями вдоль серых стен. В шкафах стояли металлические цилиндрики, в иных — огромные, переплетенные в кожу или в дерево книги. Со шкафов, с полок, из темных углов библиотеки глядели каменными глазами морщинистые, лысые головы ученых марсиан. По комнате расставлено несколько глубоких сидений, несколько ящичков на тонких ножках с приставленным сбоку круглым экраном.

Затаив дыхание, Лось оглядывал эту, с запахом тления и плесени, сокровищницу, где молчала, закованная в книги, мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом.

Осторожно он подошел к полке и стал раскрывать книги. Бумага их была зеленоватая, шрифт геометрического очертания, мягкой коричневой окраски. Одну из книг, с чертежами машин, Лось сунул в карман, чтобы просмотреть на досуге. В металлических цилиндрах оказались вложенными желтоватые, звучащие под ногтем, как кость, валики, подобные валикам фонографа, но поверхность их была гладкая, как стекло. Один из таких валиков лежал на ящике с экраном, видимо приготовленный для заряжения и брошенный во время гибели дома.

Затем Лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую пухлую книгу и рукавом осторожно отер с нее пыль. Желтоватые ветхие листы ее шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами, полосою. Эти, переходящие одна в другую, страницы были покрыты цветными треугольниками величиною с ноготь. Они бежали слева направо и в обратном порядке неправильными линиями, то падая, то сплетаясь. Они менялись в очертании и цвете. Спустя несколько страниц между треугольниками появились цветные круги, меняющие форму и окраску. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и переливы цветов и форм этих треугольников, кругов, квадратов, сложных фигур бежали со страницы на страницу. Понемногу в ушах Лося начала наигрывать едва уловимая, тончайшая, изумительная музыка.

Он закрыл книгу и долго стоял, прислонившись к книжным полкам, взволнованный и одурманенный никогда еще не испытанным очарованием: это была поющая книга.

— Мстислав Сергеевич, — раскатисто по дому пронесся голос Гусева, — идите-ка сюда, скорее.

Лось вышел в коридор. В конце его, в дверях, стоял Гусев, испуганно улыбаясь.

— Посмотрите-ка, что у них творится.

Он ввел Лося в узкую полутемную комнату; в дальней стене было вделано большое квадратное матовое зеркало, перед ним стояло несколько табуретов и кресел.

— Видите, шарик висит на шнурке; — думаю, — золотой, дай сорву, — глядите, что получилось.

Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось, появились уступчатые очертания огромных домов, окна, сверкающие закатным солнцем, развевающиеся полотнища. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу, сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, резкий треск раздался под полом комнаты, туманное зеркало погасло.

— Короткое замыкание, провода перегорели, — сказал Гусев. — Нам надо идти, Мстислав Сергеевич, ночь скоро.

ЗАКАТ

Раскинув узкие туманные крылья, пылающее солнце клонилось к закату.

Лось и Гусев торопливо шли по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине к берегу канала. Солнце быстро уходило за близкий край поля — и кануло. Ослепительное алое сияние разлилось на месте заката. Резкие лучи его озарили полнеба и быстро-быстро покрывались серым пеплом, — гасли. Небо казалось непроглядным.

В пепельном закате, низко над Марсом, встала большая красная звезда. Она всходила, как гневный глаз. Несколько мгновений темнота была насыщена лишь ее мрачными лучами.

Но уже по всему непомерно высокому небесному куполу начали высыпать звезды, сияющие, зеленоватые созвездия, — ледяные лучи их кололи глаза. Мрачная звезда, восходя, разгоралась.

Дойдя до берега, Лось остановился и, указывая рукой на звезду, сказал:

— Земля.

Гусев снял картуз, вытер пот со лба. Закинув голову, глядел на плывущую между созвездиями далекую родину. Его лицо казалось осунувшимся, печальным.

— Земля, — повторил он.

Так они долго стояли на берегу древнего канала, над равниной с неясными в свете звезд очертаниями кактусов.

Но вот из-за резкой черты горизонта появился светлый серп, меньше лунного, и стал подниматься над кактусовым полем. Длинные тени легли от лапчатых растений.

Гусев локтем толкнул Лося.

— Позади-то нас, поглядите.

Позади них над холмистой равниной, над рощами и развалинами, сиял второй спутник Марса. Круглый желтоватый диск его, также меньше луны, клонился за зубчатые горы. Отблескивали на холмах металлические диски.

— Ну и ночь, — прошептал Гусев, — как во сне.

Они осторожно спустились с берега в заросли кактусов. Из-под ног шарахнулась чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по отсветам двух лун. Заскрежетало. Пискнуло — пронзительно, нестерпимо, тонко. Шевелились поблескивающие листья кактусов. Липла к лицу паутина, упругая, как сеть.

Вдруг вкрадчивым, раздирающим воем огласилась ночь. Оборвало. Все стихло. Гусев и Лось большими прыжками, содрогаясь от от-

вращення н ужаса, бежалн по полю, высоко перескакнвая через ожнвшие растеиия.

Наконец в свету восходящего серпа блеснула стальная обшивка аппарата. Добежали. Приселн, отпыхнваясь.

— Ну нет, по ночам в этн паучьи места я ие ходок, — сказал Гусев. Отвинтил люк и полез в аппарат.

Лось еще медлил. Прислушнвался, поглядывал. И вот он увндел — между звезд фаитастическнм силуэтом плыла крылатая тень корабля.

ЛОСЬ ГЛЯДИТ НА ЗЕМЛЮ

Тень воздушиого корабля нсчезла. Лось влез иа мокрую обшнвку аппарата, закурил трубочку и поглядывал иа звезды. Тоикий холодок зиобил тело. Внутри аппарата вознлся, бормотал Гусев, рассматривал, прятал иайдеиные вещицы. Потом голова его высунулась из люка лодки.

— Что вы ин говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото, а камушкам — цеиы им иет. Вот дуреха-то моя обрадуется.

Голова его скрылась, вскоре он совсем затнх. Счастливый был человек Гусев.

Но Лось спать не мог, — сндел, помаргивал иа звезды, посасывал трубочку. Черт знает что такое! Откуда иа Марс моглн попасть золотые маски с этнм отлнчнтельным третьим стрекознным глазом? А мозаика? Погибающие в море, летящие между звезд великаны? А зиак параболы: рубииовый шарик — Земля и кирпичиый — Марс? Знак власти над двумя мнрамн? Непостижнмо. А поющая кииra? А страиный город, появнвшийся в туманном зеркале? И почему, почему весь этот край покннут, заброшеи?

Лось выколотил трубку о каблук. Скорее бы иастал деиь! Очевидно, что марсиаиилетчик даст зиать куда-ибудь в населенный цеитр. Быть может, их уже и сейчас разыскивают, и проплывший перед звездами корабль именно послаи за иими.

Лось оглянул иебо. Свет красноватой звезды — Земли — бледнел, она прнблнжалась к зениту, лучик от иее шел в самое сердце.

Бессоииой ночью, стоя в воротах сарая, Лось точно так же, с холодиой печалью, глядел иа восходивший Марс. Это было позапрошлой ночью. Лнщь однн суткн отделялн его от того часа, от Земли.

Земля, Земля, зелеиая, то в облаках, то в прорывах света, пышиая, многоводная, так расточительно-жестокая к свонм детям, все же любнмая, — роднна...

Ледяным холодом сжало мозг. Этот красноватый шарик Земли — точно горячее сердце... Человек, эфемерида, пробуждающийся на мгновенне к жнзни, ои — Лось, один, своей безумиой волей оторвался от родины, и вот, как унылый бес, один сиднт на пустыре. Вот оно, вот оио, одиночество. Этого ты хотел? Ушел ты от самого себя?..

Лось передериул плечами от холодка. Сунул трубку в кармаи. Влез в аппарат н лег рядом с похрапывающим Гусевым. Этот простой человек не предал родины, прнлетел за тридевять земель, на девятое иебо, н здесь, как н там, — у себя дома... Спнт спокойио, совесть чнста.

От тепла, от усталостн Лось задремал. Во сне сошло иа него утешение. Ои увндел берег земиой реки, березы, шумящие от ветра, облака, нскры солнца на воде, н иа той стороне кто-то в светлом, сняющем — машет ему, зовет, манит. Лося и Гусева разбудил сильиый шум воздушных винтов.

МАРСИАНЕ

Ослепительио-розовые гряды облаков, как жгуты пряжи, покрывали утреииее иебо. То появляясь в густо-сииих просветах, то исчезая за розовымн грядамн, опускался, залитый солнцем, летучий корабль. Очертаиие его трехмачтового остова напомииало гигаитского жука. Три пары острых крыльев простиралнсь с боков его.

Корабль прорезал облака и, весь влажиый, серебристый, сверкающий, повнс над кактусами. На крайиих его коротких мачтах мощно ревели вертикальные вииты, не давая ему опуститься. С бортов откннулнсь лесеики, н корабль сел иа иих. Вииты остаиовились.

По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиаи. Оин были в одинаковых яйцевндных шлемах, в серебрнстых широких куртках с толстыми воротииками, закрывающими шею и низ лица. В руках у каждого было оружие в виде короткого, с диском посредиие, автоматнческого ружья.

Гусев, насупившись, стоял около аппарата. Держа руку иа маузере, поглядывал, как марснане выстронлись в два ряда. Их ружья лежалн дулом на согиутой руке.

— Оружие, сволочн, как бабы держат, — проворчал он.

Лось стоял, сложив на груди руки, улыбаясь. Последиим с корабля спустился марсиаиии, одетый в чериый, падающий большимн складками халат. Открытая голова его была лысая, в шишках. Безбородое узкое лицо голубоватого цвета.

Увязая в рыхлой почве, он прошел мимо двойного ряда солдат. Выпуклые светлые, ледяные глаза его остановнлнсь на Гусеве. Затем ои глядел только иа Лося. Приблизился к людям, поднял малеиькую руку в широком рукаве н сказал тонким, стекляииым, медлеиным голосом птичье слово:

— Талцетл.

Еще более расшнрнлнсь его глаза, осветилнсь холодным возбужденнем. Ои повторил птнчье слово и повелительио указал иа иебо. Лось сказал:

— Земля.

— Земля, — с трудом повторил марсиаиии, поднял кожу на лбу. Шишки его потемиели. Гусев выставил иогу, кашляиул и сказал серднто:

— Из Советской России, мы — русские. Мы, значит, к вам, здрасте, — ои дотроиулся

до козырька,— мы вас не обнжаем, вы нас не обижайте... Он, Мстнслав Сергеевнч, нн черта по-иашему не понимает.

Голубоватое, умиое лнцо марснанина было иеподвнжно, лншь на покатом лбу его, между бровей, стало вздуваться от напряжения красноватое пятно. Легкнм движением рукн ои указал на солице и проговорнл зиакомый звук, прозвучавший страино:

— Соацр.

Ои указал на почву, развел рукамн, как бы обхватывая шар:

— Тума.

Указав иа одиого нз солдат, стоявших полукругом позадн иего, указал на Гусева, на себя, иа Лося:

— Шохо.

Так он назвал словамн несколько предметов и выслушал нх зиачеине на языке Землн. Приблизился к Лосю и важно коснулся безымянным пальцем его лба, впадины между бровей. Лось нагнул голову в знак приветствия. Гусев, после того как его косиулнсь, дернул на лоб козырек:

— Как с дикарямн обращаются.

Марсианнн подошел к аппарату н долго, со сдержанным удивленнем, затем, — поняв, видимо, его прннцнп, — с восхнщеннем рассматрнвал огромное стальное яйцо, покрытое коркой нагара. Вдруг всплесиул рукамн, обериулся к солдатам и быстро-быстро стал говорить нм, подняв к небу стиснутые рукн.

— Аиу, — ответнли солдаты завывающнми голосамн.

Он же положнл ладонь на лоб, вздохнул глубоко, — овладел волнеинем н, повериувшнсь к Лосю, уже без холода, потемневшнмн, увлажиеиными глазами взглянул ему в глаза.

— Ану, — сказал ои, — ану утара шо́хо, да́циа Тума ра гео Талцетл.

Вслед за этнм ои рукою закрыл глаза и поклоиился ннзко. Выпрямнлся, подозвал солдата, взял у иего узкий нож и стал царапать по обшнвке аппарата: начертнл яйцо, над ннм крышку, сбоку — фигуру солдата. Гусев, смотревший ему через плечо, сказал:

— Предлагает кругом аппарата палатку поставнть н охрану, только, Мстислав Сергеевнч, как бы у иас вещи не растаскали, люкнто без замков.

— Бросьте, в само́м деле, дурака валять, Алексей Иваиовнч.

— Так ведь там ннструменты, одёжа... А я с одннм, вот с энтнм солдатешком, переглянулся, — рожа у него самая иеиадежиая.

Марсиаинн слушал этот разговор со виимаинем и почтеинем. Лось знакамн показал ему, что согласеи оставнть аппарат под охраной. Марсиаиии подиес к бо́льшому тоикому рту свисток. С корабля ответили таким же произительиым свистом. Тогда марсиании стал высвистывать какие-то сигиалы. На верхушке средией, более высокой мачты подиялись, как волосы, отрезки тоиких проволок, раздалось потрескиваиие искр.

Марснаиин указал Лосю и Гусеву иа корабль. Солдаты придвииулись, стали кругом. Гусев оглянулся иа иих, усмехиулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельншком н мелочамн, крепко задвннул люк н, указывая на него солдатам, хлопнул по маузеру, погрознл пальцем, скособочился угрожающе. Марсиаие с изумлеинем иаблюдали за этнми двнженнямн.

— Ну, Алексей Иваиовнч, плеиннки мы нли гостн — податься нам некуда, — сказал Лось, засмеялся, вскниул мешок иа плечо, и оии пошлн к кораблю.

На мачтах его с сильным шумом закрутнлнсь вертнкальиые вннты. Крылья опустнлись. Завылн пропеллеры. Гостн, быть может плеиинки, вошли по хрупкой лесенке иа борт.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗУБЧАТЫХ ГОР

Корабль летел невысоко иад Марсом в северо-западном направленни. Лось и лысый марсиаиин остались иа палубе. Гусев сошел виутрь корабля к солдатам.

В светлой, соломенного цвета рубке он сел в плетеное кресло и иекоторое время глядел иа востроносых, щуплых солдатнков, помаргнвающнх, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул жестяной заветный портсигар, — с ннм он семь лет ие расставался на фронтах,— хлопнул по крышке, — «покурнм, товарищи», — и предложил папнрос.

Марсиаие с испугом затрясли головамн. Однн все-такн взял папнроску, рассмотрел, понюхал н спрятал в карман белых штанов. Когда же Гусев закурнл, солдаты в величайшем страхе попятнлнсь от него, зашептали птичьимн голосамн:

— Шо́хо та́о та́вра шо́хо-ом.

Красноватые, востреиькие лица их с ужасом следили, как «шохо» глотает дым. Но понемиогу онн прннюхались и успокоилнсь н снова подселн к человеку.

Гусев, ие особенно затрудияясь иезианием марснанского языка, стал рассказывать иовым прнятелям про Россию, про войиу, революцию, про свои подвнги:

— Гусев — это моя фамнлия. Гусев — от гусей: здоровенные такие птицы иа Земле, вы таких сроду и ие видали. Зовут меия — Алексей Иванович. Я не только полком, коиной днвизней комаидовал. Страшный герой, ужасный. У меня тактика: пулеметы ие пулеметы, — шашки иаголо — «даешь, сукнн сын, позицию!» — и рубать. И я весь сам изрублеиный, мие наплевать. У иас в военной академнн даже особый курс чнтают: «Рубка Алексея Гусева», — ие верите? Корпус мие предлагали. — Гусев ногтем сдвииул картуз, почесал за ухом. — Надоело, иет, извиннте. Семь лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меия зовет, умоляет: «Алексей Иваиович, без вас хоть иа Марс ие лети». Вот, значит, здрасте.

Марсиаие слушали, дивились. Один прииес фляжку с коричневой, мускатиого запаха жидкостью. Гусев выиул из мешка полбутылки спирту, захвачеиной с Земли. Марсиаие выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разиую дребедень, — предлагал ме-

няться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона зажигалку.

Тем временем Лось, облокотившись о решетчатый борт корабля, глядел на уплывающую внизу унылую, холмистую равнину. Он узнал дом, где побывали вчера. Повсюду лежали такие же развалины, островки деревьев, тянулись высохшие каналы.

Указывая на эту пустыню, Лось изобразил недоумение: почему целый край покинут и мертв. Выпуклые глаза лысого марсианина вдруг стали злыми. Он подал знак, и корабль поднялся, описал дугу и летел теперь к вершинам зубчатых гор.

Солнце взошло высоко, облака исчезли. Ревели пропеллеры, при поворотах и подъемах поскрипывали, двигались гибкие крылья, гудели вертикальные винты. Лось заметил, что, кроме гула винтов и посвистыванья ветра в крыльях и прорезных мачтах, не было слышно иных звуков: машины работали бесшумно. Не было видно и самих машин. Лишь на оси каждого винта крутилась круглая коробка, подобная кожуху динамо, да на верхушках передней и задней мачт потрескивали две эллиптические корзины из серебристой проволоки.

Лось спрашивал у марсианина названия предметов и записывал их. Затем вынул из кармана давешнюю книжку с чертежами, прося произнести звуки геометрических букв. Марсианин с изумлением смотрел на эту книгу. Снова глаза его похолодели, тонкие губы скривились брезгливо. Он осторожно взял книгу из рук Лося и швырнул за борт.

От высоты, разреженного воздуха у Лося начало ломить грудь, слезами застилало глаза. Заметив это, марсианин дал знак снизиться. Корабль летел теперь над кроваво-красными пустынными скалами. Извилистый и широкий горный хребет тянулся с юго-востока на северо-запад. Тень от корабля летела внизу по рваным обрывам, искрящимся жилами руд и металлов, по крутым склонам, поросшим лишаями, срывалась в туманные пропасти, покрывала тучкой сверкающие ледяные пики, зеркальные глетчеры. Край был дик и безлюден.

— Лизиазира, — кивнув на горы, сказал марсианин и оскалил мелкие, блеснувшие металлом зубы.

Глядя вниз на эти скалы, так печально напомнившие ему мертвый пейзаж разбитой планеты, Лось увидел в пропасти на камнях опрокинутый корабельный остов, — обломки серебристого металла были раскиданы кругом него. Далее, из-за гребня скалы, поднималось сломанное крыло второго корабля. Направо, пронзенный гранитным пиком, висел третий, весь изуродованный корабль. Повсюду в этих местах виднелись остатки огромных крыльев, разбитых остовов, торчащих ребер. Это было место битвы; казалось, демоны были повержены на эти бесплодные скалы.

Лось покосился на соседа. Марсианин сидел, придерживая халат у шеи, и спокойно глядел на небо. Навстречу кораблю летели длиннокрылые птицы, вытянувшись в линию. Вот они взмыли, сверкнули желтыми крыльями в темной синеве и повернули. Следя за их снижающимся полетом, Лось увидел черную воду круглого озера, глубоко лежащего между скал. Кудрявые кусты лепились по его берегам. Желтые птицы сели у воды.

Озеро начало ходить зыбью, закипело, из середины его поднялась сильная струя воды, раскинулась и опала.

— Соáм, — проговорил марсианин торжественно.

Горный хребет кончался. На северо-западе сквозь прозрачные, зыбкие волны зноя виднелась канареечно-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной, чудесной дали и с длинной улыбкой сказал:

— Азóра.

Корабль слегка поднялся. Влажный, сладкий воздух шел в лицо, шумел в ушах. Азора расстилалась широкой, сияющей равниной. Прорезанная полноводными каналами, покрытая оранжевыми кущами растительности, веселыми канареечными лугами, Азора, что означало — радость, походила на те цыплячьи, весенние луга, которые вспоминаются во сне, в далеком детстве.

По каналам плыли широкие металлические барки. По берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов. Повсюду ползали фигурки марсиан. Иные снимались с плоской крыши и летучей мышью летели через воду или за рощу. Повсюду в лугах блестели лужи, сверкали ручьи. Чудесный был край Азора.

В конце равнины играла солнечная зыбь огромного водного пространства, куда уходили извилистые линии всех каналов. Корабль летел в ту сторону, и Лось увидел наконец большой прямой канал. Дальний берег его тонул во влажной мгле. Желтоватые мутные воды его медленно текли вдоль каменного откоса.

Летели долго. И вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт. Стена вырастала. Теперь были видны огромные глыбы кладки, поросшей кустами и деревьями между щелями. Они подлетали к гигантскому цирку. Он был полон воды. Над поверхностью во многих местах поднимались пенными шапками фонтаны...

— Ро, — сказал марсианин, важно подняв палец.

Лось вытащил из кармана записную книжку, отыскал в ней наспех вчера набросанный чертеж линий и точек на диске Марса. Рисунок он протянул соседу и указал вниз, на цирк. Марсианин всмотрелся, сморщившись, — понял, радостно закивал и ногтем мизинца отчеркнул одну из точек на чертеже.

Перегнувшись через борт, Лось увидел расходящиеся от цирка две прямые и одну изогнутую линию наполненных водою каналов. Так вот она — тайна: круглые пятна на

диске Марса были циркамн — водными хранилнщами, лииин треугольннков и полукружий — каиалами. Но какне существа могли построить этн циклопнческие стены? Лось оглянулся на своего спутнкка. Марсианин выпятил нижнюю губу, поднял разведенные руки к небу:

— Тао хацха ро хамагацитл.

Корабль пересекал теперь выжженную равнину. На ней лежало розово-красной, весьма широкой, цветущей полосой безводное русло четвертого канала, покрытое, словно посевом, правильными рядами растительности. Видимо, это была одна из линий второй сети каналов — бледного рисунка на диске Марса.

Равнина переходила в невысокие мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. На средней мачте корабля поднялись и защелкали искрами отрезки проволок. За холмами вставали все новые и новые очертания решетчатых башен, уступчатых зданий. Огромный город выступал серебристыми теиями из солнечной мглы.

Марсианин сказал:

— Соацéра.

СОАЦЕРА

Голубоватые очертания Соацеры, уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, овальные зеркала прудов, прозрачные башни, поднимаясь из-за холмов, занимали все большее пространство, тонули за мглистым горизонтом. Множество черных точек летело над городом навстречу кораблю.

Цветущий канал отошел к северу. На восток от города расстилалось пустынное, покрытое кучами щебня, изрытое поле. У края этой пустыни, бросая резкую, длинную тень, возвышалась гигантская статуя, потрескавшаяся, покрытая лишаями.

Каменный, обнаженный человек стоял во весь рост, ноги его были сдвинуты, руки прижаты к узким бедрам, рубчатый пояс подпирал выпуклую грудь, на солнце тускло мерцал его ушастый шлем, увенчанный острым гребнем, точно рыбий хребет. Скуластое лицо с закрытыми глазами улыбалось лунообразным ртом.

— Магацитл, — сказал марсианин и указал на небо.

Вдали за статуей виднелись огромные развалины цирка, очертания рухнувших арок акведука. Всматриваясь, Лось понял, что кучи щебня на равнине — ямы, холмы — были остатками древнейшего города. Новый город, Соацера, начинался за сверкающим озером, на запад от этих развалин.

Черные точки в небе приближались, увеличивались. Это были сотни марсиан, летевших навстречу в крылатых лодках и седлах, на парусиновых птицах, в корзинах с парашютами.

Первой домчалась, описала крутой заворот и повисла над кораблем сияющая, золотая, четырехкрылая, как стрекоза, узкая сигара. С нее посыпались цветы, разноцветные бумажки на палубу корабля, свешивались взволнованные лица.

Лось встал, держась за трос, снял шлем, — ветер поднял его белые волосы. Из рубки вылез Гусев и стал рядом. Охапки цветов полетели на них из лодок. На голубоватых, то смуглых, то кирпичных лицах подлетающих марсиан было возбуждение, восторг, ужас.

Теперь над головой, спереди, с боков, вдогонку за медленно плывущим кораблем, летели сотни воздушных экипажей. Вот скользнул сверху вниз в корзине под парашютом размахивающий руками толстяк в полосатом колпаке. Вот мелькнуло шишковатое лицо, глядящее в трубку. Вот озабоченный, с развевающимися волосами, востроносый марсианин, вертясь перед кораблем на крылатом седле, наводил какой-то крутящийся ящичек на Лося. Вот пронеслась, вся в цветах, плетеная лодка, — три женских, большеглазых, бледных лица, голубые чепцы, голубые летящие рукава, златотканые шарфы.

Пение винтов, шум ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве, внизу — пурпуровая, то серебристая, то канареечная листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов, — все было как сон. Кружилась голова. Гусев озирался, повторял шепотом:

— Гляди, гляди, эх ты, мать честная!..

Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую круглую площадь. Тотчас посыпались горохом с неба сотни лодок, корзин, крылатых седел, — садились, шлепались на белые плиты площади. В улицах, расходившихся от нее звездою, шумели толпы народа, — бежали, кидали цветы, бумажки, махали платочками.

Корабль сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. На широкой лестнице его, между квадратных, суженных кверху колонн, доходивших только до трети высоты дома, стояла кучка марсиан. Они были все в черных халатах, в круглых шапочках. Это был, как Лось узнал впоследствии, Высший совет инженеров — высший орган управления всеми странами Марса.

Марсианин-спутник указал Лосю — ждать. Солдаты сбежали по лесенкам на площадь и окружили корабль, сдерживая напиравшие толпы. Гусев с восхищением глядел на пеструю от одежд, волнующуюся площадь, на вздымающееся над головами множество крыльев, на громады сероватых или черно-красных зданий, на прозрачные, за крышами, очертания башен.

— Ну, город, вот это — город! — повторял он, притопывая.

На лестнице марсиане в черных халатах раздвинулись. Появился высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. На круглой шапочке его дрожал золотой гребень, как рыбий хребет.

Сойдя до середииы лестиицы, опираясь иа трость, ои долго смотрел запавшими, темиыми глазами на пришельцев с Земли. Глядел иа иего и Лось — виимательио, иасторожеиио.

— Дьявол, уставился! — шепиул Гусев. Обериулся к толпе и уже беспечио крикиул:— Здравствуйте, товарищи марсиаие, мы к вам с приветом от Советских республик... Для устаиовлеиия добрососедских отиошеиий...

Толпа изумлеиио вздохиула, зароптала, зашумела, иадвииулась. Мрачиый марсиаиии захватил горстью бороду и перевел глаза иа толпу, окииул тусклым взором площадь. И под его взглядом стало утихать взволиоваииое море голов. Ои обериулся к стоявшим иа лестиице, сказал иесколько слов и, подияв трость, указал ею иа корабль.

Тотчас к кораблю сбежал одии из марсиаи и тихо и быстро проговорил что-то иагиувшемуся к иему через борт лысому марсиаииу. Раздались сигиальиые свистки, двое солдат взбежали иа борт, завыли винты, и корабль, грузио отделившись от площади, поплыл иад городом в севериом иаправлении.

В ЛАЗОРЕВОЙ РОЩЕ

Соацера утоиула далеко за холмами. Корабль летел иад равииной. Кое-где видиелись одиообразиые лииии построек, столбы и проволоки подвесиых дорог, отверстия шахт, гружеиые шалаиды, двигающиеся по узким каиалам.

Но вот из лесиых кущ все чаще стали подииматься скалистые пики. Корабль сиизился, пролетел иад ущельем и сел иа луг, покато спускавшийся к темиым и пышиым зарослям.

Лось и Гусев взяли мешки и вместе с лысым их спутиником пошли по лугу, вииз к роще.

Водяная пыль, бьющая из-под дерева, играла радугами иад сверкающей влагою кудрявой травой. Стадо иизкорослых длиииошерстых животиых, чериых и белых, паслось по склоиу. Было мирио. Тихо шумела вода. Подувал ветерок.

Длиииошерстые животиые лениво подиимались, давая дорогу людям, и отходили, переваливаясь медвежьими лапами, оборачивали плоские, кроткие морды. Опустились иа луг желтые птицы и распушились, отряхиваясь под радужиым фоитаном воды.

Подошли к роще. Пышиые, плакучие деревья были лазурио-голубые. Смолистая листва шелестела сухо повисшими ветвями. Сквозь пятиистые стволы играла вдали сияющая вода озера. Пряиый, сладкий зиой в этой голубой чаще кружил голову.

Рощу пересекало миого тропинок, посыпаииых ораижевым песком. На скрещении их, иа круглых поляиах, стояли старые, ииые поломаииые, в лишаях, большие статуи из песчаиика. Над зарослями подиимались обломки колоии, остатки циклопической стеиы.

Дорожка загибала к озеру. Открылось его темио-сииее зеркало с опрокииутой вершииой далекой скалистой горы. Чуть шевелились в воде отражения плакучих деревьев. Сияло пышиое солице. В излучиие берега, с боков мшистой лестиицы, спускавшейся в озеро, возвышались две огромиые сидящие статуи, потрескавшиеся, поросшие ползуней растительиостью.

На ступеиях лестиицы появилась молодая жеищииа. Голову ее покрывал желтый острый колпачок. Оиа казалась юиошески-тоикой, бело-голубоватая, рядом с грузиым очертаиием покрытого мхом, вечио улыбающегося сквозь сои, сидящего Магацитла. Оиа поскользиулась, схватилась за камеииый выступ, подияла голову.

— Аэлита, — прошептал марсиаиии, прикрыл глаза рукавом и потащил Лося и Гусева с дорожки в чащу.

Скоро оии вышли иа большую поляну. В глубиие ее, в густой траве, стоял угрюмый, с покатыми стеиами, серый дом. От звездообразиой песчаиой площадки перед его фасадом прямые дорожки бежали через луг вииз к роще, где между деревьями видиелись иизкие камеииые постройки.

Лысый марсиаиии свистиул. Из-за угла дома появился иизеиький, толстеиький марсиаиии в полосатом халате. Багровое лицо его было точио иатерто свеклой. Морщась от солица, ои подошел, ио, услышав — кто такие приезжие, сейчас же приноровился удирать за угол. Лысый марсиаиии заговорил с иим повелительио, и толстяк, приседая от страха, оборачиваясь, показывая желтый зуб из беззубого рта, повел гостей в дом.

ОТДЫХ

Гостей отвели в светлые, малеиькие, почти пустые комиаты, выходившие узкими окиами в парк. Стены столовой и спалеи были обтяиуты белыми цииовками. В углах стояли кадки с цветущими деревцами. Гусев иашел помещеиие подходящим: «Вроде багажиой корзииы, очень славио».

Толстяк в полосатом халате, управляющий домом, суетился, лопотал, катался из двери в дверь, вытирал коричиевым платком череп и время от времеии камеиел, выкатывая иа гостей склерозиые глаза, — шептал торопливо, беззвучно какие-то, должио быть, заклиианиия.

Ои напустил воду в бассейи и провел Лося и Гусева каждого в свою ваииу, — со диа ее подиимались густые клубы пара. Прикосиовение к безмерио уставшему телу горячей, пузырящейся, легкой воды было так сладко, что Лось едва ие заснул в бассейне. Управляющий вытащил его за руку.

Лось едва доплелся до столовой, где был иакрыт стол миожеством тарелочек с овощами, паштетами, крошечными яйцами, фруктами. Хрустящие, величииой с орех, шарики хлеба таяли во рту. Не было ии иожей, ии вилок, только — в каждое блюдо — воткиута крошечиая лопаточка. Управляющий камеиел, глядя, как люди с Земли пожирают блюда деликатиейшей пищи. Гусев вошел во вкус. Особеиио хорошо было виио с запахом сырости цветов. Оио испарялось во рту и горячей бодростью текло по жилам.

Приведя гостей в спальни, управляющий долго еще хлопотал, подтыкая одеяла, подсовывая подушечки. Но уже крепкий и долгий сон овладел «белыми гигантами». Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах и кровати трещали под их не по-марсиански могучими телами.

Лось открыл глаза. Синеватый искусственный свет лился из потолочного колодца. Было тепло и приятно лежать. «Что случилось? Где я лежу?» Но так и не сообразил,— с наслаждением снова закрыл глаза.

Проплыли какие-то лучезарные пятна, — словно вода играла сквозь лазурную листву. Предчувствие изумительной радости, ожидание, что вот-вот из этих сияющих пятен что-то должно войти в его сон, наполняло его чудесной тревогой.

Сквозь дремоту, улыбаясь, он хмурил брови, — силился проникнуть за эту тонкую пелену скользящих солнечных пятен. Но еще более глубокий сон прикрыл его облаком.

. . . .

Лось сел на постель. Так сидел некоторое время, опустив голову. Поднялся, дернул вбок штору. За узким окном горели ледяным светом огромные звезды, незнакомый их чертеж был странен и дик.

— Да, да, да, — проговорил Лось, — я не на Земле. Ледяная пустыня, бесконечное пространство. Я — в новом мире. Ну, да: я же мертв. Жизнь осталась там...

Он вонзил ногти в грудь там, где сердце.

— Это не жизнь, не смерть. Живой мозг, живое тело. Но жизнь осталась там...

Он сам не мог понять, почему вторую ночь его так невыносимо мучает тоска по Земле, по самому себе, жившему там, за звездами. Словно оторвалась живая нить, и душа его задыхается в ледяной, черной пустоте. Он опять повалился на подушки.

. . . .

— Кто здесь?

Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Соломенная маленькая комната была ослепительно чиста. Шумели листья, свистели птицы за окном. Лось провел рукой по глазам, глубоко вздохнул.

В дверь опять легонько постучали. Лось распахнул дверь, — за нею стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росою цветов.

— Ану утара Аэлита,— прошептал он, протягивая цветы.

ТУМАННЫЙ ШАРИК

За утренней едой Гусев сказал:

— Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели черт знает в какую даль, и пожалуйте, — сиди в захолустье. В ваннах прохлаждаться,—за этим ведь лететь не стоило. В город они небось нас не пустили, — бородатый-то, помните, как насупился. Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. Пока нас поят, кормят, а потом?

— А вы не торопитесь, Алексей Иванович,— сказал Лось, поглядывая на лазоревые цветы, пахнущие горьковато и сладко, — поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны, пустят и в город.

— Не знаю, как вы, Мстислав Сергеевич, а я сюда не прохлаждаться приехал.

— Что же, по-вашему, мы должны предпринять?

— Странно от вас это слышать, Мстислав Сергеевич, уж не нанюхались ли вы чего-нибудь сладкого?

— Ссориться хотите?

— Нет, не ссориться. А сидеть — цветы нюхать, — этого и у нас на Земле сколько в душу влезет. А я думаю, — если мы первые люди сюда заявились, то Марс теперь наш, советский. Это дело надо закрепить.

— Чудак вы, Алексей Иванович.

— А вот посмотрим, кто из нас чудак. — Гусев одернул ременный пояс, повел плечами, глаза его хитро прищурились. — Это дело трудное, я сам понимаю: нас только двое. А вот надо, чтобы они бумагу нам выдали о желании вступить в состав Российской Федеративной Республики. Спокойно эту бумагу нам не дадут, конечно, но вы сами видели: на Марсе у них не все в порядке. Глаз у меня на это наметанный.

— Революцию, что ли, хотите устроить?

— Как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим. С чем мы в Петроград-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем? Нет, вернуться и предъявить: пожалуйте — присоединение к Ресефесер планеты Марса. Вот в Европе тогда взвоются. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози. Так-то, Мстислав Сергеевич.

Лось задумчиво поглядывал на него: нельзя было понять — шутит Гусев или говорит серьезно, — хитрые, простоватые глазки его посмеивались, но где-то пряталась в них сумасшедшинка.

Лось покачивал головой и, трогая прозрачные восковые лазоревые лепестки больших цветов, сказал задумчиво:

— Мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Лечу, чтобы прилететь. Были времена, когда конквистадоры снаряжали корабль и плыли искать новые земли. Из-за моря показывался неведомый берег, корабль входил в устье реки, капитан снимал широкополую шляпу и называл землю своим именем. Затем он грабил берега. Да, вы, пожалуй, правы: приплыть к берегу еще мало, — нужно нагрузить корабль сокровищами. Нам предстоит заглянуть в новый мир, — какие сокровища! Мудрость, мудрость — вот что, Алексей Иванович, нужно вывезти на нашем корабле.

— Трудно нам будет с вами сговориться, Мстислав Сергеевич. Не легкий вы человек.

Лось засмеялся:

— Нет, я тяжелый только для самого себя, сговоримся, милый друг.

В дверь поскреблись. Слегка садясь на ноги от страха и почтения, появился управляющий и знаками попросил за собою следовать. Лось поспешно поднялся, провел ладонью по

белым волосам. Гусев решительно закрутил усы — торчком. Гости прошли по коридорам и лесенкам в дальнюю часть дома.

Управляющий постучал в низенькую дверь. За ней раздался торопливый, точно детский голос. Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света с танцующими в них пылинками падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, стоящие между плоскими шкафами, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов.

Недалеко от двери стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье, закрытом до шеи, до кистей рук. Над высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золоченые переплеты книг. Это была та, кого вчера на озере марсианин назвал — Аэлита.

Лось низко поклонился ей. Аэлита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Ее бело-голубоватое удлиненное лицо чуть-чуть дрожало. Немного приподнятый нос, слегка удлиненный рот были по-детски нежны. Точно от подъема на крутизну дышала ее грудь под черными и мягкими складками.

— Эллио утара гео, — легким, как музыка, нежным голосом, почти шепотом, проговорила она и наклонила голову так низко, что стал виден ее затылок.

В ответ Лось только хрустнул пальцами. Сделав усилие, сказал, непонятно почему, напыщенно:

— Пришельцы с Земли приветствуют тебя, Аэлита.

Сказал и покраснел. Гусев проговорил с достоинством:

— Рады познакомиться — командир полка Гусев, инженер — Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб-соль.

Выслушав человеческую речь, Аэлита подняла голову, ее лицо стало спокойнее, зрачки — меньше. Она молча вытянула руку, обернула узенькую часть руки ладонью кверху и так держала ее некоторое время. Лосю и Гусеву стало казаться, что на ладони ее появился бледно-зеленый шар. Затем Аэлита быстро перевернула ладонь и пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки. Гости последовали за ней.

Теперь Лось рассмотрел, что Аэлита была ему по плечо, нежная и легкая, как те с горьковатым запахом цветы, что прислала она утром. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась, но глаза оставались взволнованными, встревоженными.

Она указала на широкую скамью, стоявшую в полукруглом расширении комнаты. Лось и Гусев сели. Сейчас же Аэлита присела напротив них у читального столика, положила на него локти и стала мягко и пристально глядеть на гостей.

Так они молчали небольшое время. Понемногу Лось начал чувствовать покой и сладость, — сидеть вот так и созерцать эту чудесную, странную девушку. Гусев вздохнул, сказал вполголоса:

— Хорошая девушка, очень приятная девушка.

Тогда Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального инструмента, — так чудесен был ее голос. Строка за строкою повторяла она какие-то слова, чуть шевеля губами. Ее пепельные ресницы то смыкались, то раскрывались медленно.

Она снова протянула перед собою руку, ладонью вверх. Почти тотчас же Лось и Гусев увидели в углублении ее ладони бледно-зеленый туманный шарик, с небольшое яблоко величиной. Внутри своей сферы он весь двигался и переливался.

Теперь оба гостя и Аэлита внимательно глядели на это облачное, опаловое яблоко. Вдруг струи в нем остановились, пропустили темные пятна. Вглядевшись, Лось вскрикнул: на ладони Аэлиты лежал земной шар.

— Талцетл, — сказала она, указывая на него пальцем.

Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался.

— Это — мы, мы — русские, — сказал он, тыча ногтем в Сибирь.

Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка нижнего течения Волги. Очертились берега Белого моря.

— Здесь, — сказал Лось и указал на Финский залив.

Аэлита удивленно подняла на него глаза. Вращение шара остановилось. Лось сосредоточился, в памяти возник кусок географической карты, — и сейчас же, словно отпечаток его воображения, появились на поверхности туманного шара черная клякса, расходящаяся от нее ниточка железных дорог и — надпись на зеленоватом поле: «Петроград».

Аэлита всмотрелась и заслонила шар, — он теперь просвечивал сквозь ее пальцы. Взглянув на Лося, она покачала головой.

— Оэео, хо суа, — сказала она, и он понял: «Сосредоточьтесь и вспоминайте».

Тогда он стал вспоминать очертания Петербурга — гранитную набережную, студеные синие волны Невы, ныряющую в них лодочку, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста, густые дымы заводов, дымы и тучи тусклого заката, мокрую улицу, вывеску мелочной лавочки, старенького извозчика на углу.

Аэлита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. В нем проплывали воспоминания Лося, то отчетливые, то словно стертые. Выдвинулся тусклый купол Исакиевского собора, и уже на месте его проступала гранитная лестница у воды, полукруг скамьи, печально сидящая русая девушка, — лицо ее задрожало, исчезло, а над нею — два сфинкса в тиарах. Поплыли колонки цифр, рисунок чертежа, появился пылающий горн, угрюмый Хохлов, раздувающий угли.

Долго глядела Аэлита на странную жизнь, проходящую перед ней в туманных струях шара. Но вот изображения начали путаться: в

иих настойчнво вторгались какие-то совсем ниого очертання картииы — полосы дыма, зарево, скачущие лошади, какие-то бегущие, падающне люди. Вот, заслоняя все, выплыло бородатое, залнтое кровью лнцо. Гусев шумио вздохиул. Аэлита с тревогой обернулась к нему н сейчас же перевернула ладонь. Шар исчез.

Аэлнта сидела несколько мннут, облокотившись, закрыв рукою глаза. Встала, взяла с полки одни из цилиидров, вынула костяной валик н вложила в чнтальный — с экраиом — столнк. Затем она потяиула за шнур, — верхиие окна в бнблиотеке задериулись сиинмн шторами. Она прндвииула столнк к скамье н повериула включатель.

Зеркало экраиа осветнлось, сверху вннз поплыли по иему фнгурки марсиаи, жнвотных, дома, деревья, утварь.

Аэлнта иазывала каждую фигурку имеием. Когда фнгурки двигались н совмещалнсь, она иазывала глагол. Иногда изображеиня перемежались цветиыми, как в поющей кинге, знакамн, и раздавалась едва уловимая музыкальиая фраза, — Аэлита называла поиятие.

Оиа говорила тихим голосом. Не спеша плыли нзображення предметов этой страиной азбуки. В тишнне, в голубоватом сумраке библнотеки гляделн иа Лося пепельные глаза, голос Аэлиты сильиымн и мягкими чарами проиикал в созиание. Кружилась голова.

Лось чувствовал, — мозг его яснеет, будто подннмается туманная пелена, н новые слова и поиятия отпечатлеваются в памяти. Так продолжалось долго. Аэлита провела рукой по лбу, вздохнула н погаснла экран. Лось н Гусев сиделн как в тумаие.

— Иднте и лягте спать, — сказала Аэлита гостям иа том языке, звуки которого были еще странными, ио смысл уже сквозил во мгле сознаиня.

НА ЛЕСТНИЦЕ

Прошло семь дней.

Когда впоследствин Лось вспоминал это время, — оио представлялось ему сииим сумраком, уднвнтельным покоем, где иаяву проходилн вереннцы дивиых сиовндеиий.

Лось и Гусев просыпались раио поутру. После ваииы н легкой еды шлн в библиотеку. Вннмательиые, ласковые глаза Аэлиты встречали нх иа пороге. Она говорнла почтн уже понятиые слова. Было чувство иевыразнмого покоя в тншние и полумраке этой комиаты, в тихнх словах Аэлиты, — влага ее глаз переливалась, глаза раздвигалнсь в сферу, и там шли сиовндения. Бежали тени по экрану. Слова вие воли проиикалн в сознанне.

Слова — сначала только звуки, затем сквозящие, как из тумаиа, поиятия — поиемиогу наливались соком жизин. Теперь, когда Лось произиосил имя — Аэлита, оио волиовало его двойным чувством: печалью первого слова АЭ, что означало — «видимый в последиий раз», н ощущением серебристого света — ЛИТА, что озиачало «свет звезды». Так язык нового мира тончайшей материей влнвался в сознаине.

Семь дней продолжалось это обогащенне. Урокн былн — утром н после заката — до полуиочн. Наконец Аэлнта, внднмо, утомилась. На восьмой деиь гостей ие пришлн будить, и онн спали до вечера.

Когда Лось подиялся с постели, в окио были вндны длнииые тенн от деревьев. Хрустальиым, одиообразиым голосом посвистывала какая-то птичка. Лось быстро оделся н, ие будя Гусева, пошел в бнблиотеку, но иа стук иикто ие ответил. Тогда Лось вышел во двор, первый раз за эти семь дией.

Поляиа полого спускалась к роще, к ннзкнм постройкам. Туда, с унылым поревываннем, шло стадо иеуклюжнх, длиниошерстых жнвотных — хашн, — полумедведей, полукоров. Косое солнце золотнло кудрявую траву, — весь луг пылал влажным золотом. Пролетелн иа озеро нзумрудиые журавлн. Вдали выступнл, залитый закатом, сиежный конус горной вершииы. Здесь тоже был покой, печаль уходящего в мнре и золоте дня.

Лось пошел к озеру по зиакомой дорожке. Те же стоялн с обеих сторон плакучне лазуриые деревья, те же увндел он развалииы за пятннстымн стволамн, тот же был воздух — тоикнй, холодеющнй. Но Лосю казалось, что только сейчас ои увндел эту чудесную прнроду, — раскрылись глаза н уши, — ои узиал нмена вещей.

Пылающнмн пятиамн сквознло озеро сквозь ветви. Но когда Лось подошел к воде, солнце уже закатилось, огнениые перья заката, языки легкого пламени побежали, охватнлн полиеба золотым пламеием. Быстро-быстро огонь покрывался пеплом, небо очищалось, темиело, и вот уже зажглись звезды. Страниый рнсуиок созвездий отразился в воде. В излучнне озера, у лестииды, возвышались чериыми очертаииямн два камеииых гигаита, — сторожа тысячелетнй сидели, обращеиные лнцамн к созвездням.

Лось подошел к лестннце. Глаза еще ие прнвыкли к быстро наступившей темиоте. Ои облокотился о подиожие статун и вдыхал сыроватую влагу озера, — горьковатый запах болотиых цветов. Отражеиия звезд расплывалнсь, — иад водою закурился тоичайшнй тумаи. А созвездня горели все ярче, и теперь ясно были вндны заснувшне веткн, поблескнвающне камешки и улыбающееся лицо сидящего Магацитла.

Лось глядел и стоял так долго, покуда не затекла рука, лежащая на камне. Тогда он отошел от статуи и сейчас же увидел внизу иа лестиице Аэлнту. Она сидела иеподвижно, глядя на отражеиие звезд в чериой воде.

— Аиу ту нра хасхе, Аэлита, — проговорил Лось, с изумлеиием прнслушнваясь к страииым звукам своих слов. Он выговорил их, как иа морозе, с трудом. Его желаине, — могу ли я быть с вами, Аэлита? — само претворилось в этн чужне звукн.

Аэлита медленно обернула голову: сказала:

— Да.

Лось сел рядом на ступень. Волосы Аэлиты были покрыты черным колпачком — капюшоном плаща. Лицо различимо в свете звезд, но глаз не видно, — лишь большие тени в глазных впадинах.

Холодноватым голосом, спокойно, она спросила:

— Вы были счастливы там, на Земле?

Лось ответил не сразу, — всматривался: ее лицо было неподвижно, рот печально сложен.

—Да, — ответил он, — да, я был счастлив.

— В чем счастье у вас на Земле?

Лось опять всмотрелся.

— Должно быть, в том счастье у нас на Земле, чтобы забыть самого себя. Тот счастлив, в ком полнота, согласие и жажда жить для того, кто дает эту полноту, согласие, радость.

Теперь Аэлита обернулась к нему. Стали видны ее огромные глаза, с изумлением глядящие на этого беловолосого великана, человека.

— Такое счастье приходит в любви к женщине, — сказал Лось.

Аэлита отвернулась. Задрожал острый колпачок на ее голове. Не то она смеялась?— нет. Не то заплакала? — нет. Лось тревожно заворочался на мшистой ступени. Аэлита сказала чуть дрогнувшим голосом:

— Зачем вы покинули Землю?

— Та, кого я любил, умерла, — сказал Лось. — Не было силы побороть отчаяние, жизнь для меня стала ужасна. Я — беглец и трус.

Аэлита выпростала руку из-под плаща и положила ее на большую руку Лося, — коснулась и снова убрала руку под плащ.

— Я знала, что в моей жизни произойдет это, — проговорила она, словно в раздумье.— Еще девочкой, я видела странные сны. Снились высокие зеленые горы. Светлые, не наши, реки. Облака, облака, огромные, белые, и дожди, — потоки воды. И люди-великаны. Я думала, что схожу с ума. Впоследствии мой учитель говорил, что это — ашхе, второе зрение. В нас, потомках Магацитлов, живет память об иной жизни, дремлет ашхе, как непроросшее зерно. Ашхе — страшная сила, великая мудрость. Но я не знаю, что — счастье?

Аэлита выпростала из-под плаща обе руки, всплеснула ими, как ребенок. Колпачок ее опять задрожал.

— Уж много лет, по ночам, я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды. Я много знаю. Уверяю вас, я знаю такое, что вам никогда нельзя и не нужно знать. Но счастлива я была, когда в детстве снились облака, облака, потоки дождя, зеленые горы, великаны. Учитель предостерегал меня: он сказал, что я погибну. — Она обернула к Лосю лицо и вдруг усмехнулась.

Лосю стало жутко: так чудесно красива была Аэлита, такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания.

— Учитель сказал: «Хао погубит тебя». Это слово означает нисхождение.

Аэлита отвернулась и надвинула колпачок плаща ниже, на глаза.

После молчания Лось сказал:

— Аэлита, расскажите мне о вашем знании.

— Это тайна, — ответила она важно, — но вы человек, я должна буду вам рассказать многое.

Она подняла лицо. Большие созвездия, по обе стороны Млечного Пути, сияли и мерцали так, как будто ветерок вечности проходил по их огням. Аэлита вздохнула.

— Слушайте, — сказала она, — слушайте меня внимательно и спокойно.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ АЭЛИТЫ

— Тума, то есть Марс, двадцать тысячелетий тому назад был населен Аолами — оранжевой расой. Дикие племена Аолов — охотники и пожиратели гигантских пауков — жили в экваториальных лесах и болотах. Только несколько слов в нашем языке осталось от этих племен. Другая часть Аолов населяла южные заливы большого материка. Там есть вулканические пещеры с солеными и пресными озерами. Население ловило рыбу и уносило ее под землю, сваливало в соленые озера. В глубине пещер они спасались от зимних стуж.

Третья часть Аолов селилась близ экватора у подножья гор, всюду, где из-под земли били гейзеры питьевой воды. Эти племена умели строить жилища, разводили длинношерстых хаши, воевали с пожирателями пауков и поклонялись кровавой звезде Талцетл.

Среди одного из племен, населявшего блаженную страну Азора, появился необыкновенный шохо. Он был сыном пастуха, вырос в горах Лизиазиры и, когда ему минуло семнадцать лет, спустился в селения Азоры, ходил из города в город и говорил так:

«Я видел сон, раскрылось небо и упала звезда. Я погнал моих хаши к тому месту, куда упала звезда. Там я увидел лежащего в траве Сына Неба. Он был велик ростом, его лицо было бело, как снег на вершинах. Он поднял голову, и я увидел, что из глаз его выходят свет и безумие. Я испугался и упал ниц и лежал долго, как мертвый. Я слышал, как Сын Неба взял мой посох и погнал моих хаши, и земля дрожала под его ногами. И еще я услышал его громкий голос, он говорил: «Ты умрешь, ибо я хочу этого». Но я пошел за ним, потому что мне было жалко моих хаши. Я боялся приблизиться к нему: из его глаз исходил злой огонь, и каждый раз я падал ниц, чтобы остаться живым. Так мы шли несколько дней, удаляясь от гор в пустыню.

Сын Неба ударял посохом в камень, и выступала вода. Хаши и я пили эту воду. И Сын Неба сказал мне: «Будь моим рабом». Тогда я стал пасти его хаши, и он кидал мне остатки пищи».

Так говорил пастух жителям городов. И он говорил еще:

«Кроткие птицы и мирные звери живут, не ведая — когда придет гибель. Но уже хищный ихи распростер острые крылья над журавлем, и паук сплел сеть, и глаза страшного ча горят сквозь голубую заросль. Бойтесь. У вас нет столь острых мечей, чтобы поразить зло, у вас нет столь крепких стен, чтобы от него отгородиться, у вас нет столь длинных ног, чтобы убежать от зла. Я вижу в небе огненную черту, и злой Сын Неба падает в ваши селенья. Глаз его как красный огонь Талцетл».

Жители мирной Азоры в ужасе поднимали руки, слушая эти слова. Пастух говорил еще:

«Когда кровожадный ча ищет тебя глазами сквозь заросль — стань тенью, и нос ча не услышит запаха твоей крови. Когда ихи падает из розового облака — стань тенью, и глаза ихи напрасно будут искать тебя в траве. Когда при свете двух лун — олло и литха — ночью злой паук, цитли, оплетает паутиной твою хижину, — стань тенью, и цитли не поймает тебя. Стань тенью зла, бедный сын Тумы. Только зло притягивает зло. Удали от себя все сродное злу. Закопай свое несовершенство под порогом хижины. Иди к великому гейзеру Соам и омойся. И ты станешь невидимым злому Сыну Неба, — напрасно его кровавый глаз будет пронзать твою тень».

Жители Азоры слушали пастуха. Многие пошли за ним, на круглое озеро, к великому гейзеру Соам.

Там иные спрашивали: «Как можно закопать зло под порогом хижины?» Иные сердились и кричали пастуху: «Ты обманываешь,— обиженные и нищие подговорили тебя усыпить нашу бдительность и завладеть нашими жилищами». Иные сговаривались: «Отведем безумного пастуха на скалу и бросим его в горячее озеро, пусть сам станет тенью».

Слыша это, пастух брал уллу, деревянную дудку, внизу которой на треугольнике были натянуты струны, садился среди сердитых, раздраженных и недоумевающих и начинал играть и петь. Играл он и пел так прекрасно, что замолкали птицы, затихал ветер, ложились стада и солнце останавливалось в небе. Каждому из слушающих казалось в тот час, что он уже зарыл свое несовершенство под порогом хижины.

Три года учил пастух. На четвертое лето из болот вышли пожиратели пауков и напали на жителей Азоры. Пастух ходил по селеньям и говорил: «Не перешагивайте через порог, бойтесь зла в себе, бойтесь потерять чистоту». Его слушали, и были такие, которые не хотели противиться пожирателям пауков, и дикари побили их на порогах хижин. Тогда старшины городов, сговорившись, взяли пастуха, повели на скалу и бросили его в озеро.

Учение пастуха шло далеко за пределы Азоры. Даже обитатели поморских пещер высекали в скалах изображение его, играющего на улле. Но было также, что вожди иных племен казнили смертью поклоняющихся пастуху, потому что учение его считали безумным и опасным. И вот настал час исполнения пророчества. В летописях того времени сказано:

«Сорок дней и сорок ночей падали на Туму Сыны Неба. Звезда Талцетл всходила после вечерней зари и горела необыкновенным светом, как злой глаз. Многие из Сынов Неба падали мертвыми, многие убивались о скалы, тонули в южном океане, но многие достигли поверхности Тумы и были живы».

Так рассказывает летопись о великом переселении Магацитлов, то есть одного из племен земной расы, погибшей от потопа двадцать тысячелетий тому назад.

Магацитлы летели в бронзовых, имеющих форму яйца аппаратах, пользуясь для движения силой распадения материи. В продолжение сорока дней они покидали Землю.

Множество гигантских яиц затерялось в звездном пространстве, множество разбилось о поверхность Марса. Небольшое число без вреда опустилось на равнины экваториального материка.

«Они вышли из яиц, велики ростом и черноволосы. У Сынов Неба были желтые и плоские лица. Туловища их и колени покрывал бронзовый панцирь. На шлеме был острый гребень, и шлем выдавался впереди лица. В левой руке Сын Неба держал короткий меч, в правой—свиток с формулами, которые погубили бедные и невежественные народы Тумы».

Таковы были Магацитлы, свирепое и могущественное племя. На Земле, на материке, опустившемся на дно океана, они владели городом Ста Золотых Ворот.

Здесь, выйдя из бронзовых яиц, они пошли в селения Аолов и брали то, что хотели, и сопротивляющихся им убивали. Они угнали стада хаши на равнины и стали рыть колодцы. Они вспахали поля и засеяли их ячменем. Но воды в колодцах было мало, погибли зерна ячменя в сухой и бесплодной почве. Тогда они сказали Аолам — идти на равнину, рыть оросительные каналы и строить большие водохранилища.

Иные из племен послушались и пошли рыть. Иные сказали: «Не послушаемся и убьем пришельцев». Войска Аолов вышли на равнину и покрыли ее как туча.

Пришельцев было мало. Но они были крепки, как скалы, могучи, как волны океана, свирепы, как буря. Они разметали и уничтожили войска Аолов. Пылали селения. Разбегались стада. Из болот вышли свирепые ча и разрывали детей и женщин. Пауки оплетали опустевшие хижины. Пожиратели трупов — ихи — разжирели и не могли летать. Наступал конец мира.

Тогда вспомнили пророчество: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и кровавый глаз Сына Неба напрасно пронзит твою тень». Много Аолов пошло к великому гейзеру Соам. Многие уходили в горы и надеялись услышать в туманных ущельях очищающую от зла песню уллы. Многие делились друг с другом имуществом. Искали в себе и друг в друге доброе и с песнями, со слезами радости привет-

ствовали доброе. В горах Лизиазиры верующие в пастуха построили Священный Порог, под которым лежало зло. Три кольца неугасимых костров охраняли Порог.

Войска Аолов погибли. В лесах были уничтожены пожиратели пауков. Стали рабами остатки рыбарей-поморов. Но Магацитлы не трогали верующих в пастуха, не касались Священного Порога, не приближались к гейзеру Соам, не входили в глубину горных ущелий, где в полдневный час пролетающий ветер издавал таинственные звуки — песню уллы.

Так минуло много кровавых и печальных лет.

У пришельцев не было женщин, — завоеватели должны были умереть, не оставив потомства. И вот, в горах, где скрывались Аолы, появился вестник — прекрасный лицом Магацитл. Он был без шлема и меча. В руке он держал трость с привязанной к ней пряжей. Он приблизился к огням Священного Порога и стал говорить Аолам, собравшимся ото всех ущелий:

«Моя голова открыта, моя грудь обнажена, — поразите меня мечом, если я скажу ложь. Мы — могущественны. Мы владели звездой Талцетл. Мы перелетели звездную дорогу, называемую Млечным Путем. Мы покорили Туму и уничтожили враждебные нам племена. Мы начали строить водные хранилища и большие каналы, дабы собирать воды и орошать дольные бесплодные равнины Тумы. Мы построим большой город Соацеру, что значит Солнечное Селенье, мы дадим жизнь всем, кто хочет жизни. Но у нас нет женщин, и мы должны умереть, не исполнив предначертания. Дайте нам ваших девственниц, и мы родим от них могучее племя, и оно населит материки Тумы. Идите к нам и помогите нам строить».

Вестник положил трость с пряжей у огня и сел лицом к Порогу. Глаза его были закрыты. И все видели на лбу его третий глаз, прикрытый плевой, как бы воспаленный.

Аолы совещались и говорили между собой: «В горах не хватает корма для скота и мало воды. Зимою мы замерзаем в пещерах. Сильные ветры сносят наши хижины в бездонные ущелья. Послушаемся вестника и вернемся к старым пепелищам».

Аолы вышли из горных ущелий на равнину Азоры, гоня перед собой стада хаши. Магацитлы взяли девственниц Аолов и родили от них голубое племя Гор. Тогда же начаты были постройкою шестнадцать гигантских цирков Ро, куда собиралась вода во время таянья снегов на полюсах. Бесплодные равнины были прорезаны каналами и орошены. Из пепла возникли новые селения Аолов. Поля давали пышный урожай.

Были возведены стены Соацеры. Во время постройки цирков и стен Магацитлы употребляли гигантские подъемные машины, приводившиеся в движение удивительными механизмами. Силою знания Магацитлы могли передвигать большие камни и вызывали рост растений. Они записали свое Знание в книги — цветными пятнами и звездными знаками.

Когда умер последний пришелец с Земли — с ним ушло и Знание. Лишь через двадцать тысячелетий мы, потомки племени Гор, снова прочли тайные книги Атлантов.

СЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

В сумерки Гусев от нечего делать пошел бродить по комнатам. Дом был велик, построен прочно — для зимнего жилья. Множество в нем было переходов, лестниц, пустынных зал, галерей с нежилой тишиной. Гусев бродил, приглядывался, позевывал: «Богато живут, черти, но скучно».

В дальней части дома были слышны голоса, стук кухонных ножей, звон посуды. Писклявый голос управляющего сыпал птичьими словами, бранил кого-то. Гусев дошел до кухни, низкой сводчатой комнаты. В глубине ее вспыхивало масляное пламя над сковородами. Гусев остановился в дверях, повел носом. Управляющий и кухарка, бранившиеся между собою, замолчали и подались с некоторым страхом в глубину сводов.

— Чад у вас, чад, чад, — сказал им Гусев по-русски, — колпак над плитой устройте. Эх, варвары, а еще марсиане!

Махнув рукой на их перепуганные лица, он вышел на черное крыльцо. Сел на каменные ступеньки, вынул заветный портсигар, закурил.

Внизу поляны, на опушке, мальчик-пастух, бегая и вскрикивая, загонял в кирпичный сарай глухо поревывающих хаши. Оттуда в высокой траве по тропинке шла к нему женщина с двумя ведерышками молока. Ветер отдувал ее желтую рубашку, мотал кисточку на смешном колпачке на ярко-рыжих волосах. Вот она остановилась, поставила ведерышки и стала отмахиваться от какого-то насекомого, локтем прикрывая лицо. Ветер подхватил ее подол. Она присела, смеясь, взяла ведерышки и опять побежала. Завидев Гусева, оскалила белые веселые зубы.

Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ей было — Иха, — племянница управляющего, смешливая, смугло-синеватая, полненькая девушка.

Она живо пробежала мимо Гусева, — только сморщила нос в его сторону. Гусев приноровился было дать ей сзади «леща», но воздержался. Сидел, курил, поджидал.

Действительно, Ихошка скоро опять явилась с корзиночкой и ножиком. Села невдалеке от Сына Неба и принялась чистить овощи. Густые ресницы ее помаргивали. По всему было видно, что — веселая девушка.

— Почему у вас на Марсии бабы какие-то синие? — сказал ей Гусев по-русски. — Дура ты, Ихошка, жизни настоящей не понимаешь.

Иха ответила ему, и Гусев, будто сквозь сон, понял ее слова:

— В школе я учила священную историю; там говорилось, что Сыны Неба — злы.

В книжках одно говорится, а на деле получается другое. Совсем Сыны Неба ие злые.

— Да, добрые, — сказал Гусев, прищурив одии глаз.

Иха подавилась смехом, кожура шибко летела у нее из-под иожика.

— Мой дядя говорит, будто вы, Сыны Неба, можете убивать взглядом. Что-то я этого ие замечаю.

— Неужели? А чего же вы замечаете?

— Слушайте, вы мие отвечайте по-нашему, — сказала Ихошка, — а по-вашему я не поимаю.

— А по-вашему у меия говорить иескладио выходит.

— Чего вы сказали? — Иха положила иожик, до того ее распирало от смеха. — По-моему, у вас иа Красиой Звезде все то же самое.

Тогда Гусев кашляиул, прндвииулся ближе. Иха взяла корзиику и отодвииулась. Гусев кашляиул и еще придвииулся. Оиа сказала:

— Одежду протрете — по ступеиькам елозить.

Может быть, Иха сказала это как-нибудь по-другому, ио Гусев именио так и понял.

Ои сидел совсем близко. Ихошка коротко вздохиула. Нагнула голову и сильиее вздохнула. Тогда Гусев быстро огляиулся и взял Ихошку за плечи. Оиа сразу откииулась, вытаращилась. Но ои очень крепко поцеловал ее в рот. Иха изо всей мочи прижала к себе корзинку и иожик.

— Так-то, Ихошка! — Она вскочила н убежала.

Гусев остался сидеть, пощнпывая усики. Усмехался. Солице закатилось. Высыпалн звезды. К самым ступеиькам подкрался какой-то длиииый мохиатый зверек и глядел иа Гусева фосфорическими глазами. Гусев пошевелился, — зверек зашипел, исчез, как теиь.

— Да, пустяки эти иадо все-таки оставить,— сказал Гусев. Одериул пояс и пошел в дом. В коридоре сейчас же мотиулась перед иим Ихошка. Ои пальцем помаиил ее, и онн пошли по коридору. Гусев, морщась от иапряжеиия, заговорил по-марснаиски:

— Ты, Ихошка, так и знай: если что — я на тебе жеиюсь. Ты меия слушайся. (Иха повериулась к стене лицом, — уткнулась. Он оттащил ее от стеиы, крепко взял под руку). Погодн носом в стеиу соваться, — я еще не жеинлся. Слушай, я, Сын Неба, приехал сюда не для пустяков. У меня предполагаются большие дела с вашей планетой. Но человек я здесь иовый, порядков ие знаю. Ты мне должна помогать. Только, смотри, не ври. Вот что ты мие скажи, — кто такой наш хозяин?

— Наш хозяии, — ответила Иха, с уснлнем вслушиваясь в страиную речь Гусева, — наш хозяии властелии надо всемн страиами Тумы.

— Вот тебе — здравствуй! — Гусев остановился. — Врешь? (Поскреб за ухом). Как же он офицнально называется? Король, что лн? Должиость его какая?

— Зовут его Тускуб. Он — отец Аэлнты. Ои — глава Высшего совета.

— Так. Поиятно.

Гусев шел иекоторое время молча.

— Вот что, Ихошка, в той комиате, я видел, у вас стоит матовое зеркало. Иитересно в иего посмотреть. Покажи мне, как оио соедиияется.

Оии вошли в узкую полутемиую комиату, уставлеииую иизкими креслами. В стеие белелось тумаииое зеркало. Гусев повалился в кресло, поближе к экраиу. Иха спросила:

— Что хотел бы видеть Сыи Неба?

— Покажи мие город.

— Сейчас иочь, работа повсюду окончеиа, фабрики и магазииы закрыты, площади пустые. Быть может — зрелища?

— Показывай зрелнща.

Иха воткиула включатели в цифровую доску и, держа коиец длиииого шиура, отошла к креслу, где Сыи Неба сидел, вытяиув иоги.

— Народиое гуляиье, — сказала Иха и дериула за шиур.

Раздался сильный шум — угрюмый тысячеголосый говор толпы. Зеркало озарилось. Раскрылась иепомерная перспектива сводчатых стекляииых крыш. Шнрокие сиопы света упирались в огромиые плакаты, в иадпнси, в клубы курящегося, миогоцветиого дыма. Виизу кишели головы, головы, головы. Кое-где, как летучие мыши, вверх, вниз, пролетали крылатые фигуры. Стекляииые своды, перекрещивающиеся лучи света, водовороты толпы уходили в глубииу, терялись в пыльиой, дымиой мгле.

— Что оии делают? — закричал Гусев, иадрывая голос, — так велик был шум.

— Оии дышат драгоцеииым дымом. Вы видите клубы дыма? — это курятся листья хавры. Это драгоцеииый дым. Он иазывается дымом бессмертия. Кто вдыхает его, видит иеобыкиовеииые вещи: кажется, будто никогда ие умрешь, — такие чудеса можно видеть и поимать. Миогие слышат звук уллы. Никто ие имеет права курить хавру у себя иа дому,— за это иаказывают смертью. Только Высший совет разрещает куреиие, только двеиадцать раз в году в этом доме зажигают листья хавры.

— А те вои что делают?

— Оии вертят цнфровые колеса. Они угадывают цифры. Сегодия каждый может загадать число, — тот, кто отгадает, навсегда освобождается от работы. Высший совет дарит ему прекрасиый дом, поле, десять хашей и крылатую лодку. Это огромное счастье — угадать.

Объясияя, Иха присела иа подлокотиик кресла, Гусев сейчас же обхватил ее поперек спины. Оиа попыталась выпростаться, но затихла, сидела смирио. Гусев много днвился на чудеса в тумаииом зеркале. «Ах, черти, ах, безобразиики!» Затем попросил показать еще что-ибудь.

Иха слезла с кресла н, погасив зеркало, долго возилась у цифровой доскн, — ие попадала включателями в дырки. Когда же вериулась к креслу и опять села иа подлокотннк,

вертя в руке шарик от шнура, лнчико у нее было слегка одурелое. Гусев снизу вверх поглядел на нее и усмехнулся. Тогда в глазах ее появился ужас.

— Тебе, девка, совсем замуж пора.

Ихошка отвела глаза и передохнула. Гусев стал гладнть ее по спнне, чувствнтельной, как у кошки.

— Ах ты, моя славная, краснвая, сняяя.

— Глядите, вот еще интересное, — проговорила она совсем слабо н дернула за шнур.

Половину озарнвшегося зеркала заслоняла чья-то спина. Был слышен ледяной голос, медленно пронзносившнй слова. Спина качнулась, отодвинулась с поля зеркала. Гусев увидел часть большого свода, в глубине упирающегося на квадратный столб, часть стены, покрытой золотыми надписями н геометрическими фигурами. Внизу, вокруг стола, снделн, опустнв головы, те самые марсиане, которые на лестнице мрачного здания встречалн корабль с людьми.

Перед столом, покрытым парчой, стоял отец Аэлиты Тускуб. Тонкне губы его двнгались, шевелилась черная борода по золотому шитью халата. Весь он был как каменный. Тусклые, мрачные глаза глядели неподвижно перед собой, — прямо в зеркало. Тускуб говорил, и колючие слова его были непонятны, но страшны. Вот он повторил несколько раз — Талцетл — и опустнл, как бы поражая, руку со стиснутым в кулаке свитком. Сидевший напротив него марсианин, с широким бледным лицом, поднялся н бешено, белесымн глазамн глядя на Тускуба, крнкнул:

— Не они, а ты!

Ихошка вздрогнула. Она сидела лицом к зеркалу, но ничего не видела н не слышала,— большая рука Сына Неба поглажнвала ее спину. Когда в зеркале раздался крнк н Гусев несколько раз переспросил: «О чем, о чем они говорят?» — Ихошка точно проснулась — разинула рот, уставнлась на зеркало. Вдруг вскрикнула жалобно и дернула за шнур.

Зеркало погасло.

— Я ошиблась... Я нечаянно соедннила... Ни один шохо не смеет слушать тайны Высшего совета. — У Ихошки стучали зубы. Она запустнла пальцы в рыжие волосы н шептала в отчаянии: — Я ошиблась. Я не виновата. Меня сошлют в пещеры, в вечные снега.

— Ничего, ничего, Ихошка, я никому не скажу. — Гусев привалил ее к себе н гладил ее мягкие, как у ангорской кошки, теплые волосы. Ихошка затнхла, закрыла глаза.

— Ах, дура, ах, девчонка! Не то ты зверь, не то человек. Синяя, глупая.

Он почесывал у ней пальцами за ухом, увереииый, что это ей приятно. Ихошка подобрала ноги, свертывалась клубочком. Глаза у нее светились, как у давешнего зверька. Гусеву стало жутковато.

В это время послышались шаги и голоса Лося и Аэлиты. Ихошка слезла с кресла и нетвердо пошла к дверн.

Этой же ночью, зайдя к Лосю в спальню, Гусев сказал:

— Дела наши не совсем хорошо обстоят, Мстислав Сергеевич. Девчонку я тут одну приспособнл — зеркало соединять, н наткнулись мы как раз на заседанне Высшего совета. Кто-что я понял. Надо меры принимать, — убьют они нас, Мстнслав Сергеевич, поверьте мне, — этим кончится.

Лось слушал н не слышал, — мечтательным взглядом глядел на Гусева. Закинул руки за голову:

— Колдовство, Алексей Иванович, колдовство. Потушнте-ка свет.

Гусев постоял, проговорил мрачно:

— Так.

И ушел спать.

УТРО АЭЛИТЫ

Аэлита проснулась рано и лежала, облокотившись. Ее шнрокая, открытая со всех сторон постель стояла, по обычаю, посреди спальни на возвышенни. Шатер потолка переходил в высокий мраморный колодезь, — оттуда падал рассеянный утреннний свет. Стены спальни, покрытые бледной мозаикой, оставались в полумраке, — столб света спускался лишь на снежные простыни, на подушечки, на склонившуюся на руку пепельную голову Аэлиты.

Ночь она провела дурно. Обрывки странных и тревожных сновидений в беспорядке проходилн перед ее закрытымн глазамн. Сон был тонок, как водяная пленка. Всю ночь она чувствовала себя спящей н рассматрнвающей утомнтельные картнны н в полузабытьи думала: какие напрасные сновидения!

Когда утренним солнцем озарился колодезь и свет лег на ее постель, Аэлита вздохнула, пробудилась совсем н сейчас лежала неподвнжно. Мысли ее былн ясны, но в крови все еще текла смутная тревога. Это было очень, очень нехорошо.

«Тревога крови, помрачение разума, ненужный возврат в давно-давно пережитое. Тревога крови — возврат в ущелье, к стадам, к кострам. Весенний ветер, тревога и зарождение. Рожать, растнть существа для смерти, хоронить, и снова — тревога, муки матери. Ненужное, слепое продление жизни».

Так раздумывала Аэлита, н мыслн были мудрыми, но тревога не проходнла. Тогда она вылезла нз постели, надела плетеные туфли, накинула на голые плечи халатнк и пошла в ванную, разделась, закрутила волосы узлом н стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн.

На нижней ступени она остановилась, — было приятно стоять в луче солнечного света, бьющего сквозь окно. Зыбкие отражения играли на стене. Аэлита посмотрела в синеватую воду и там увидела свое отражение, луч света падал ей на живот. У нее дрогнула брезгливо верхняя губа. Аэлита бросилась в прохладу бассейна.

Купанье освежило ее, мысли вернулись к заботам дня. Каждое утро она говорила с отцом, — так было заведено. Маленький экран стоял в ее уборной комнате.

Аэлита присела у туалетного зеркала, при-

вела в порядок волосы, вытерла ароматным жиром, затем цветочной эссенцией лицо, шею и руки, исподлобья поглядела на себя, нахмурилась, придвинула столик с экраном и включила цифровую доску.

В туманном зеркале появился знакомый отцовский кабинет: книжные шкафы, картограммы и чертежи на вращающихся призмах. Вошел Тускуб, сел к столу, отодвинул локтем рукописи и глазами нашел глаза Аэлиты. Улыбнулся углом длинных, тонких губ:

— Как спала, Аэлита?

— Хорошо. В доме все хорошо.

— Что делают Сыны Неба?

— Они покойны и довольны. Они еще спят.

— Продолжаешь с ними уроки языка?

— Нет. Инженер говорит свободно. Его спутнику достаточно знания.

— У них нет еще желания покинуть мой дом?

— Нет, нет, о нет.

Аэлита ответила слишком поспешно. Тусклые глаза у Тускуба изумленно расширились. Под взглядом его Аэлита стала отодвигаться, покуда ее спина не коснулась спинки кресла. Отец сказал:

— Я не понимаю тебя.

— Чего ты не понимаешь? Отец, почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Я прошу тебя...

Аэлита не договорила, — лицо Тускуба исказилось, словно огонь бешенства прошел по нему. Зеркало погасло. Но Аэлита все еще всматривалась в туманную его поверхность, все еще видела страшное ей, страшное всем живущим лицо отца.

— Это ужасно, — проговорила она, — это будет ужасно. — Она поднялась стремительно, но уронила руки и снова села.

Смутная тревога сильнее овладела ею. Аэлита огромными зрачками глядела на себя в зеркало. Тревога шумела в крови, бежала ознобом. «Как это плохо, напрасно».

Помимо воли встало перед ней, как сон этой ночи, лицо Сына Неба, — крупное, со снежными волосами, — взволнованное, с рядом непостижимых изменений, с глазами то печальными, то нежными, насыщенными солнцем Земли, влагой Земли, — жуткие, как туманные пропасти, грозовые, сокрушающие разум.

Аэлита медленно встряхнула головой. Сердце страшно, глухо билось. Нагнувшись над цифровой дощечкой, она воткнула стерженьки. В туманном зеркале появилась дремлющая в кресле, среди множества подушек, сморщенная фигурка старичка. Свет из окошечка падал на его иссохшие руки, лежавшие поверх мохнатого одеяла. Старичок вздрогнул, поправил сползшие очки, взглянул поверх стекол на экран и улыбнулся беззубо.

— Что скажешь, дитя мое?

— Учитель, у меня тревога, — сказала Аэлита, — ясность покидает меня. Я не хочу этого, я боюсь, но я не могу.

— Тебя смущает Сын Неба?

— Да. Меня смущает в нем то, что я не могу понять. Учитель, я только что говорила с отцом. Он был неспокоен. Я чувствую — у них борьба в Высшем совете. Я боюсь, как бы Совет не принял ужасного решения. Помоги.

— Ты только что сказала, что Сын Неба смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем.

— Нет! — Аэлита сказала это быстро, резко, взволнованно.

Старичок под взглядом ее насупился. Пожевал сморщенным ртом.

— Я плохо понимаю ход твоих мыслей, Аэлита, в твоих мыслях двойственность и противоречие.

— Да, я чувствую это.

— Вот лучшее доказательство неправоты. Высшая мысль — ясна, бесстрастна и непротиворечива. Я сделаю, как ты хочешь, и поговорю с твоим отцом. Он тоже страстный человек, и это может привести его к поступкам, не соответствующим мудрости и справедливости.

— Я буду надеяться.

— Успокойся, Аэлита, и будь внимательна... Взгляни в глубину себя. В чем твоя тревога? Со дна твоей крови поднимается древний осадок — красная тьма, — это жажда продления жизни. Твоя кровь в смятении...

— Учитель, он меня смущает иным.

— Каким бы возвышенным чувством он ни смутил, — в тебе пробудится женщина, и ты погибнешь. Только холод мудрости, Аэлита, только спокойное созерцание неизбежной гибели всего живущего, — этого пропитанного салом и похотью тела, только ожидание, когда твой дух, уже совершенный, не нуждающийся более в жалком опыте жизни, уйдет за пределы сознания, перестанет быть, — вот счастье. А ты хочешь возврата. Бойся этого искушения, дитя мое. Легко упасть, быстро — катиться с горы, но подъем медленен и труден. Будь мудра.

Аэлита слушала, голова ее склонялась...

— Учитель, — вдруг сказала она, и губы ее задрожали, глаза налились тоской, — Сын Неба говорил, что на Земле они знают что-то, что выше разума, выше знания, выше мудрости. Но что это — я не поняла. От этого моя тревога. Вчера мы были на озере, взошла Красная Звезда, он указал на нее рукой и сказал: «Она окружена туманом любви. Люди, познающие любовь, не умирают». Тоска разорвала мою грудь, учитель.

Старичок нахмурился, долго молчал, — только не переставая шевелились пальцы его высохшей руки.

— Хорошо, — сказал он, — пусть Сын Неба даст тебе это знание. Покуда ты не узнаешь всего, не тревожь меня. Будь осторожна.

Зеркало погасло. Стало тихо в комнате. Аэлита взяла с колен платочек и отерла им лицо. Потом взглянула на себя—внимательно, строго. Брови ее поднялись. Она раскрыла небольшой ларчик и низко нагнулась к нему, перебирая вещицы. Нашла и надела на шею крошечную, оправленную в драгоценный металл сухую лапку чудесного зверька инд-

ри, весьма помогающую, по древним поверьям, женщинам в трудные минуты.

Аэлита вздохнула и пошла в библиотеку. Лось поднялся ей навстречу от окна, где сидел с книгой. Аэлита взглянула на него, — большой, добрый, встревоженный. Ей стало горячо сердцу. Она положила руку на грудь, на лапку чудесного зверька, и сказала:

— Вчера я обещала вам рассказать о гибели Атлантиды. Садитесь и слушайте.

ВТОРОЙ РАССКАЗ АЭЛИТЫ

— Вот что мы прочли в цветных книгах,— сказала Аэлита.

В те далекие времена на Земле центром мира был город Ста Золотых Ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие Землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенный свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом.

Первыми основателями города Ста Золотых Ворот были африканские негры племени Земзе. Они считали себя младшей ветвью черной расы, которая в величайшей древности населяла погибший в волнах Тихого океана гигантский материк Гвандана. Уцелевшие части черной расы раздробились на множество племен. Многие из них одичали и выродились. Но все же в крови негров текло воспоминание великого прошлого.

Люди Земзе были огромной силы и большого роста. Они отличались одним необыкновенным свойством: на расстоянии они могли чувствовать природу и форму вещей, подобно тому как магнит ощущает присутствие другого магнита. Это свойство они развили во время жизни в темных пещерах тропических лесов.

Спасаясь от ядовитой мухи гох, племя Земзе вышло из лесов и двигалось на запад, покуда не встретило местность, удобную для жизни. Это было холмистое плоскогорье, омываемое двумя огромными реками.

Здесь было много плодов и дичи, в горах— золото, олово и медь. Леса, холмы и тихие реки — красивы и лишены губительных лихорадок.

Люди Земзе построили стену в защиту от диких зверей и навалили из камней высокую пирамиду в знак того, что это место — прочно.

На верху пирамиды они поставили столб с пучком перьев птицы клитли, покровительницы племени, спасавшей их во время пути от мухи гох. Вожди Земзе украшали головы перьями и давали себе имена птиц.

На запад от плоскогорья бродили краснокожие племена. Люди Земзе нападали на них, брали пленных и заставляли пахать землю, строить жилища, добывать руду и золото. Слава о городе шла далеко на запад, и он внушал страх краснокожим, потому что люди Земзе были сильны, умели угадывать мысли врага и убивали на далеком расстоянии, бросая согнутый кусок дерева. В лодках из древесной коры они плавали по широким рекам и собирали с краснокожих дань.

Потомки Земзе украсили город круглыми каменными зданиями, крытыми тростником. Они ткали превосходные одежды из шерсти и умели записывать мысли посредством изображения предметов, — это знание они вынесли в глубинах памяти, как древнее воспоминание исчезнувшей цивилизации.

Прошли столетия. И вот на западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он родился в городе, но в юности ушел в степи, к охотникам и кочевникам. Он собрал бесчисленные толпы воинов и пошел воевать город.

Потомки Земзе употребили для защиты все знания: поражали врагов огнем, насылали на них стада взбесившихся буйволов, рассекали их летящими, как молния, бумерангами. Но краснокожие были сильны жадностью и численностью. Они овладели городом и разграбили его. Уру объявил себя вождем мира. Он велел красным воинам взять себе девушек Земзе. Скрывавшиеся в лесах остатки побежденных вернулись в город и стали служить победителям.

Красные усвоили знания, обычаи и искусства Земзе. Смешанная кровь дала длинный ряд администраторов и завоевателей. Таинственная способность чувствовать природу вещей передалась поколениям.

Военачальники династии Уру расширили владения, на западе они истребили кочевников и на рубежах Тихого океана навалили пирамиды из земли и камней. На востоке они теснили негров. По берегам Нигера и Конго, по скалистому побережью Средиземного моря, плескавшегося там, где ныне пустыня Сахара, они заложили сильные крепости. Это было время войн и строительства. Земля Земзе называлась тогда — Хамаган.

Город был обнесен новой стеной, и в ней сделаны сто ворот, обложенных золотыми листами. Народы всего мира стекались туда, привлекаемые жадностью и любопытством. Среди множества племен, бродивших по его базарам, разбивавших палатки под его стенами, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с длинными горящими глазами и носами, как клюв. Они были умны и хитры. Никто не помнил, как они вошли в город. Но вот прошло не более поколения, и наука и торговля города Ста Золотых Ворот оказалась в руках этого немногочисленного племени. Они называли себя «сыны Аама».

Мудрейшие из сынов Аама прочли древние надписи Земзе и стали развивать в себе способность видеть сущность вещей. Они построили подземный храм Спящей Головы Негра и стали привлекать к себе людей, — исцеляли больных, гадали о судьбе и верующим показывали тени умерших.

Богатством и снлою знаиия сыиы Аама проннклн к управленню страной. Онн прнвлеклн на свою сторону многие племена н подияли одиовремеино на окраинах Землн н в самом городе восстаине за новую веру. В кровавой борьбе погибла династия Уру. Сыиы Аама овладелн властью.

С этнм древиим времеием совпал первый толчок Землн. Во миогнх местах, средн гор, вырвалось пламя, н пеплом заволокло небо. Большне пространства на юге Атлантнческого материка опустнлнсь в океан. На севере поднялись с морского дна скалнстые острова и соедннилнсь с сушей: так образовались очертания европейской равиины.

Всю снлу власти сыны Аама направлялн на созданне культуры среди множества племен, когда-то покоренных династией Уру н отпавшнх. Но сыны Аама не любили войны. Оии сиаряжалн кораблн, украшеиные Головой Спящего Негра, нагружали их пряностями, тканями, золотом и слоновой костью. Посвящеиные в культ, под видом купцов и зиахарей, проннкалн на кораблях в дальние страны. Онн торговалн н лечнли заговорамн н заклинанннями больиых н увечных. Для охраны товаров онн стронлн в каждой страие большой, по форме пирамнды, дом, куда переносилн Голову Спящего. Так утверждался культ. Еслн народ возмущался против прншельцев, с корабля сходнл отряд краснокожих, закоааииых в броизу, со щнтамн, украшениымн перьямн, в высокнх шлемах, иаводящнх ужас.

Так сиова расшнрялись н укреплялись владения древией землн Земзе. Теперь она называлась Атлантнда. На крайнем западе, в стране красных, был заложен второй велнкий город — Птитлнгуа. Торговые кораблн Атлаитов плавалн на восток, до Индин, где еще властвовала черная раса. На восточном побережье Азин оин впервые увнделн гнгантов с желтыми н плоскими лицами. Этн людн бросали камнн в нх кораблн.

Культ Спящей Головы был открыт для всех, — это было главиым орудием снлы и власти, ио смысл, внутреинее содержаиие культа храннлнсь в величайшей тайне. Атланты выращнвали зерио мудрости Земзе н были еще в самом иачале того путн, который прнвел к гибели всю расу.

Они говорили так:

«Истинный мир — невиднм, неосязаем, неслышнм, ие имеет вкуса и запаха. Истннный мнр есть движеиие разума. Начальиая н конечиая цель этого движения непостнгаема. Разум есть матерня, более твердая, чем камень, и более быстрая, чем свет. Ища покоя, как всякая матерня, разум впадает в иекоторый сои, то есть становится более замедлениым, что называется — воплощением разума в вещество. На степени глубнны сиа разум воплощается в огонь, в воздух, в воду, в землю. Из этнх четырех стнхнй образуется видимый мир. Вещь есть времениое сгущение разума. Вещь есть ядро сферы сгущающегося разума, подобио круглой молиии, в которую уплотняется грозовой воздух.

В крнсталле разум иаходнтся в совершеином покое. В междузвездиом пространстве разум — в совершеином движении. Человек есть мост между этимн двумя состояниями разума. Через человека течет поток разума в видимый мир. Ноги человека вырастают нз кристалла, живот его — солнце, его глаза — звезды, его голова — чаша с краямн, простнрающимнся во вселениую.

Человек есть владыка мира. Ему подчнненны стнхнн и двнжеине. Он управляет нмн силой, нсходящей нз его разума, подобно тому как луч света исходит из отверстия глнняного сосуда».

Так говорнли Атланты. Простой народ не поннмал нх учення. Иные поклонялнсь жнвотным, ииые — теням умершнх, ниые — идолам, ниые — ночным шорохам, грому н молнннн или яме в земле. Было невозможно и опасно бороться со миожеством этих суеверий.

Тогда жрецы — высшая каста Атлантов — поиялн, что иужио внести ясный н понятный, единый для всех культ. Оин сталн стронть огромиые, украшеные золотом храмы и посвящать нх солнцу—отцу н владыке жнзнн, гневному н жнвотворному, умнрающему н виовь рождающемуся.

Культ солнца вскоре охватнл всю Землю. Верующнмн было пролито много человеческой крови. На крайием западе, среди красиых, солнце прииядо образ змея, покрытого перьями. На крайием востоке солнце — владыка теней умершнх — прнняло образ человека с птичьей головой.

В цеитре мира, в городе Ста Золотых Ворот, была построеиа уступчатая пирамнда столь высокая, что облака дымились иа вершине ее, — туда перенесли Голову Спящего. У подножья пирамнды, на площади, был поставлеи золотой крылатый бык с человеческнм лнцом, со львиными лапами. Под нни неугаснмо горел огоиь.

В дии равиодеиствий, в прнсутствии иарода, под удары в яйцеобразные барабаны, под пляски обиажеиных жеищнн, верховиый жрец, Сын Солица, великий правнтель, умерщвлял красивейшего нз юношей города и сжнгал его во чреве быка.

Сыи Солнца был неограинчеииый владыка города и страиы. Он стронл плотины н проводнл орошеиия, раздавал из магазииов одежду и питаиие, иазиачал, кому сколько нужио землн н скота. Миогочисленные чниовники были нсполнителями его повелеиий. Никто ие мог говорить: «Это мое», потому что все прнналлежало солнцу. Труд был священ. Леиость наказывалась смертью. Весиою Сын Солнца первый выходил в поле и на быках пропахивал борозду, сеял зерна манса.

Храмы были полиы зериа, ткаией, пряностей. Корабли Атлаитов, с пурпуровыми парусами, украшенными изображеииями змеи, держащей во рту солнце, бороздили все моря н реки. Наступал долгнй мир. Людн забывалн, как держать в руке меч.

И вот иад Атлантидой нависла туча с востока.

На восточных плоскогорьях Азин жило желтолнцее, с раскосымн глазамн, снльное

племя Учкуров. Оин подчннялись женщине, которая обладала способностью бесноваться. Она иазывалась Су Хутам Лу, что зиачнло «говорящая с луиой».

Су Хутам Лу сказала Учкурам:

«Я поведу вас в страиу, где в ущелье между гор опускается солнце. Там пасется столько бараиов, сколько звезд иа иебе, там текут рекн из кумыса, там есть такне высокие юрты, что в каждую можио загнать стадо верблюдов. Там еще не ступали ваши коии, и вы еще ие зачерпывалн шлемом воды нз тех рек».

Учкуры спустилнсь с плоскогорья и напалн на многочнсленные кочевые племена желтолнцых, покорнли нх и стали среди ннх воеиачальииками. Онн говорили побежденым: «Иднте за иами в страну солица, которую указала Су Хутам Лу».

Поклонявшиеся звездам кочевинки были мечтательны н бесстрашиы. Оии сияли юрты н погиалн стада на запад. Шли медлеиио, год за годом. Впереди двигалась коиница Учкуров, нападая, сражаясь и разрушая города. За коннницей брелн стада н повозки с жеищннамн н детьми. Кочевники прошли мнмо Иидин н разлнлнсь по восточиой европейской равнниe.

Там миогие осталнсь на берегах озер. Сильнейшне продолжали двигаться иа запад. На побережье Среднземиого моря они разрушнлн первую колоиию Атлаитов н от побеждениых узнали, где лежнт страиа солица. Здесь Су Хутам Лу умерла. С головы ее сияли волосы вместе с кожей и прибили к высокому шесту. С этим зиаменем двииулнсь далее, вдоль моря. Так онн дошли до края Европы и вот, с высоты гор, увндели очертаиня обетоваииой земли. Со дия, когда Учкуры впервые спустились с плоскогорья, мииуло сто лет.

Кочевинки сталн рубнть леса и вязать плоты. На плотах оин переправнлнсь через солеиую теплую реку. Ступнв иа заповедную землю Атлаитнды, кочевинкн иапали на священиый город Туле. Когда они полезли иа высокне стены, в городе иачали звоиить в колокола: звои был так приятеи, что желтолицые ие сталн разрушать города, ие истребили жителей, ие разграбнлн храмов. Они взяли запасы пнщн н одежды и пошлн далее иа юго-запад. Пыль от повозок и стад застилала солице.

Наконец кочевиикам преграднло путь войско красиокожнх. Атланты былн все в золоте, в разноцветиых перьях, нзиежеииые н прекрасиые вндом. Коиница Учкуров истребила их. С этого дня желтолнцые услышалн запах крови Атлаитов и не былн более мнлостивы.

Из города Ста Золотых Ворот послалн гонцов иа запад к красиым, иа юг к неграм, иа восток к племеиам Аама, на север к цнклопам. Приноснлнсь человеческие жертвоприиошения. Неугасимо пылали костры на вершниах храмов. Жнтелн города стекалнсь иа кровавые жертвы, предавались нсступленым пляскам, чувственным забавам, опьяиялись вином, расточали сокровнща.

Жрецы н фнлософы готовилнсь к велнкому испытанию, уиосили в глубь гор, в пещеры, зарывали в землю кннгн Велнкого Знаиня.

Началась война. Участь ее была предрешена: Атлаиты могли только защнщать пресытнвшее нх богатство, у кочевников была первобытиая жадиость и вера в обетование. Все же борьба была длительной и кровопролитной. Страна опустошалась. Наступнл голод и мор. Войска разбегались н грабили все, что могли. Город Ста Золотых Ворот был взят приступом н стены его разрушены. Сын Солица бросился с вершнны уступчатой пирамиды. Погаслн огнн на вершииах храмов. Немиогне нз мудрых н посвященых бежалн в горы, в пещеры. Цивнлизацня погнбла.

Средн разрушеиных дворцов велнкого города на площадях, поросшнх травой, бродили овцы, и желтолнцый пастух пел печальную песню о блажеиной, как степиой мираж, заповедной страие, где земля голубая н иебо — золотое.

Кочевникн спрашивалн своих вождей: «Куда нам еще ндтн?» Вождн говорнлн нм: «Мы прнвели вас в обетоваиную страиу, селитесь н живнте мнрио». Но многне из кочевых племен ие послушались н пошли дальше иа запад, в страиу Перистого Змея, но там их истребил повелнтель Птитлнгуа. Ииые из кочевников проникли к экватору, и там их уничтожили иегры, стада слонов н болотиые лихорадки.

Учкуры, вожди желтолицых, избрали мудрейшего нз военачальииков н поставнлн его правнтелем покореиной страиы. Имя его было Тубал. Ои велел чииить стены, очищать сады, вспахнвать поля и отстраивать жилища. Ои издал миого мудрых и простых закоиов. Ои призвал к себе бежавших в пещеры мудрецов н посвящеииых н сказал нм: «Мон глаза и уши открыты для мудростн». Он сделал их советиикамн, разрешнл открыть храмы и повсюду послал гонцов с вестью, что желает мнра.

Таково было начало третьей, самой высокой волны цивнлнзацни Атлаитов. В кровь миогочнсленных племеи — черных, красиых, оливковых н белых — влнлась мечтательиая, бродящая, как хмель, кровь азиатскнх иомадов, звездопоклоиников, потомков бесиоватой Су Хутам Лу.

Кочевннки быстро растворялись среди ииых племен. От юрт, стад, дикой воли оставались лишь песнн н предаиня. Появнлось иовое племя снльных сложеннем, черноволосых, желтосмуглых людей. Учкуры, потомкн всаднnков н военачальинков, были арнстократией города. Онн любили науки, искусства и роскошь. Оин украснлн город иовымн стеиами и семиугольиымн башнями, выложили золотом двадцать одни уступ гнгаитской пнрамнды, провели акведуки, впервые в архнтектуре сталн употреблять колониу.

В долгих войиах снова были покореиы отпавшне страны и города. На севере воевали с цнклопамн — уцелевшнми от смешеиия, однчавшнмн потомкамн племеин Земзе. Велнкнй завоеватель Рама дошел до Иидин. Ои соединнл младеческне племеиа арийцев в царство Ра. Так еще раз раздвииулись до иебывалых размеров н окреплн пределы Атлаитиды — от страны Пернстого Змея до азнатскнх берегов

Тихого океана, откуда некогда желтолицые великаны бросали камни в корабли.

Мечтательная душа завоевателей стремилась к знанию. Снова были прочитаны древние книги Земзе и мудрые книги сынов Аама. Замкнулся круг и начался новый. В пещерах были найдены полуистлевшие «семь папирусов Спящего». С этого открытия начинает быстро развиваться знание. То, чего не было у сынов Аама, — бессознательной творческой силы, — то, чего не было у сынов племени Земзе, — ясного и острого разума, — в изобилии текло в тревожной и страстной крови Учкуров.

Основа нового знания была такова:

«В человеке дремлет самая могучая из мировых сил — материя чистого разума. Подобно тому как стрела, натянутая тетивой, направленная верной рукой, поражает цель, — так и материя дремлющего разума может быть напряжена тетивой воли, направлена рукой знания. Сила устремленного знания безгранична».

Наука знания разделялась на две части: подготовительную — развитие тела, воли и ума, и основную — познавание природы, мира и формул, через которые материя устремленного знания овладевает природой.

Полное овладение знанием, расцвет небывалой еще на Земле и до сих пор не повторенной культуры продолжались столетие, между четыреста пятидесятым и триста пятидесятым годами до Потопа, то есть до гибели Атлантиды.

На земле был всеобщий мир, Силы Земли, вызванные к жизни знанием, обильно и роскошно служили людям. Сады и поля давали огромные урожаи, плодились стада, труд был легок. Народ вспоминал старые обычаи и праздники, и никто не мешал ему жить, любить, рожать, веселиться. В преданиях этот век назван *золотым*.

В то время на восточном рубеже Земли был поставлен сфинкс, изображавший в одном теле четыре стихии, — символ тайны спящего разума. Были построены семь чудес света: лабиринт, колосс в Средиземном море, столбы на запад от Гибралтара, башня звездочетов на Посейдонесе, сидящая статуя Тубала и город Лемутов на острове Тихого океана.

В черные племена, до этого времени теснимые в тропические болота, проник свет знания. Негры быстро усваивали цивилизацию и начали постройку гигантских городов в Центральной Африке.

Зерно мудрости Земзе дало полное и пышное цветение. Но вот мудрейшие из посвященных в знание стали понимать, что во всем росте цивилизации лежит первородный грех. Дальнейшее развитие знания должно привести к гибели: человечество поразит само себя, как змея, жалящая себя в хвост.

Первородное зло было в том, что бытие — жизнь Земли и существ — постигалось как нечто, выходящее из разума человека. Познавая мир, человек познавал только самого себя. Разум был единственной реальностью, мир — его представлением, его сновидением. Такое понимание бытия должно было привести к тому, что каждый человек стал бы утверждать, что он один есть единственное, сущее, все остальное — весь мир — лишь плод его воображения. Дальнейшее было неизбежно: борьба за единственную личность, борьба всех против всех, истребление человечества, как восставшего на человека его же сна, — презрение и отвращение к бытию, как к злому сновидению.

Таково было начальное зло мудрости Земзе.

Знание раскололось. Одни не видели возможности вынуть семя зла и говорили, что зло есть единственная сила, создающая бытие. Они назвали себя черными, так как знание шло от черных.

Другие, признавшие, что зло лежит не в самой природе, но в отклонении разума от природности, стали искать противодействие злу. Они говорили: «Солнечный луч падает на землю, погибает и воскресает в плод земли: вот основной закон жизни». Таково же движение мирового разума: нисхождение, жертвенная гибель и воскресение в плоть. Первоосновной грех — одиночество разума — может быть уничтожен грехопадением. Разум должен пасть в плоть и пройти через живые врата смерти. Эти врата — пол. Падение разума совершается силою полового влечения, или Эроса.

Утверждавшие так называли себя белыми, потому что носили полотняную тиару — знак Эроса. Они создали весенний праздник и мистерию грехопадения, которая разыгрывалась в роскошных садах древнего храма солнца. Девственный юноша представлял разум, женщина — врата смертной плоти, змей — Эроса. Из отдаленных стран приходили смотреть на эти зрелища.

Раскол между двумя путями знания был велик. Началась борьба. В то время было сделано изумительное открытие, — найдена возможность мгновенно освобождать жизненную силу, дремлющую в семенах растений. Эта сила, — гремучая, огненно-холодная материя, — освобождаясь, устремлялась в пространство. Черные воспользовались ею для борьбы, для орудий войны. Они построили огромные летающие корабли, наводящие ужас. Дикие племена стали поклоняться этим крылатым драконам.

Белые поняли, что гибель мира близка, и стали готовиться к ней. Они отбирали среди простых людей наиболее чистых, сильных и стали выводить их на север и на восток. Они отводили им высокие горные пастбища, где переселенцы могли жить, как первобытные существа.

Опасения белых подтверждались. Золотой век вырождался, в городах Атлантиды наступало пресыщение. Ничто не сдерживало более разнузданную фантазию, жажду извращений, безумие опустошенного разума. Сила, которою овладел человек, обратилась против него. Неизбежность смерти делала людей мрачными, свирепыми, беспощадными.

И вот настали последние дни. Начались они с большого бедствия: центральная область города Ста Золотых Ворот была потрясена подземным толчком, много земли опустилось на дно океана, морские волны Атлантики отделили навсегда страну Пернистого Змея.

Черные обвиняли белых, что силою заклинаний они расковали духов земли и огня. Народ возмутился, черные устроили ночное избиение в городе, — более половины жителей, носивших полотняную тиару, погибло смертью, остальные бежали за пределы Атлантиды.

Властью в городе Ста Золотых Ворот овладели богатейшие из граждан Черного ордена, называвшиеся Магацитлами, что значит «беспощадные». Они говорили: «Уничтожим человечество, потому что оно есть дурной сон разума».

Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей Земле праздники и игрища, раскрыли государственные сокровищницы и магазины, привезли с севера белых девушек и отдали их народу, распахнули двери храмов для всех жаждущих противоестественных наслаждений, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Это было в осенние дни сбора винограда.

Ночью, на озаренных кострами площадях, среди народа, исступленного вином, плясками, едой, женщинами, — появились Магацитлы. Они были в высоких шлемах с колючим гребнем, в панцирных поясах, без щитов. Правою рукою они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным, разрушающим пламенем, левою рукою погружали меч в пьяных и безумных.

Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Рухнула статуя Тубала, треснули стены, повалились колонны акведука, из глубоких трещин вырвалось пламя, пеплом заволокло небо.

Наутро кровавый, тусклый диск солнца осветил развалины, горящие сады, толпы измученных излишествами, сумасшедших людей, кучи трупов. Магацитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать Землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума.

Улетело уже много тысяч аппаратов. Тогда раздался четвертый, еще более сильный толчок земли. С севера поднялась из пепельной мглы океанская волна и пошла по земле, уничтожая все живое.

Началась буря, молнии падали на землю, в жилища. Хлынул ливень, летели осколки вулканических камней.

За оплотом стен великого города с вершинами уступчатой, обложенной золотом пирамиды Магацитлы продолжали улетать сквозь океан падающей воды, из дыма и пепла в звездное пространство. Три подряд толчка раскололи землю Атлантиды. Город Золотых Ворот погрузился в кипящие волны.

ГУСЕВ НАБЛЮДАЕТ ГОРОД

Иха совсем одурела. О чем бы ни просил ее Гусев, тотчас исполняла, глядела на него матовыми глазами. И смешно и жалко. Гусев обращался с нею строго, но справедливо. Когда Ихошка совсем изнемогала от переполнения чувствами, он сажал ее на колени, гладил по голове, почесывал за ухом, рассказывал всякие смешные истории. Она одурело слушала.

У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке: ни обороониться в случае чего, ни убежать. Опасность грозила им серьезная, — в этом Гусев не сомневался. Разговоры с Лосем ни к чему не вели. Лось только морщился, весь свет ему заслонил подол Тускубовой дочки.

«Суетливый вы человек, Алексей Иванович. Ну, нас убьют, — не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде — чего безопаснее?»

Гусев велел Ихошке унести ключи от ангара, где стояли крылатые лодки. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо быстролетной двукрылой лодкой. Механизм ее был прост. Крошечный моторчик питался крупинками белого металла, распадающегося с чудовищной силой в присутствии электрической искры. Электрическую энергию аппарат получал во время полета из воздуха, так как Марс был покрыт электричеством высокого напряжения, — его посылали станции на полюсах. (Об этом рассказывала Аэлита.)

Гусев подтащил лодку к самым воротам ангара. Ключ вернул Ихе. В случае надобности замок не трудно было сорвать рукой.

Затем он решил взять под контроль город Соацеру. Иха научила его соединять туманное зеркало. Этот говорящий экран в доме Тускуба можно было соединять односторонне, то есть самому оставаться невидимым и неслышимым.

Гусев обследовал весь город: площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале.

Кирпичные низкие залы фабрик, тусклый свет сквозь пыльные окна. Унылые, с пустыми, запавшими глазами, морщинистые лица рабочих. Вечно, вечно двигающиеся станки, машины, сутулые фигуры, точные движения работы, — унылая, беспросветная муравьиная жизнь.

Появлялись прямые, однообразные улицы рабочих кварталов, те же унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Тысячелетней скукой веяло от этих кирпичных, чисто подметенных, один как один, коридоров. Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись.

Появлялись центральные площади: уступчатые дома, ползучая пестрая зелень, отсвечивающие солнцем стекла, нарядные женщины; посреди улицы — столики, узкие вазы, полные цветов; двигающаяся водоворотами нарядная толпа, черные халаты мужчин, фасады домов — все это отражалось в паркет-

ной зеленоватой мостовой. Низко проносились золотые лодки, скользили тени от их крыльев, смеялись запрокинутые лица, виднелись пестрые легкие шарфы...

В городе шла двойная жизнь. Гусев все это принял во внимание. Как человек с большим опытом — почувствовал носом, что, кроме этих двух сторон, здесь есть еще и третья — подпольная. Действительно, по богатым улицам города, в парках — повсюду шаталось большое количество неряшливо одетых, испитых молодых марсиан. Шатались без дела, заложив руки в карманы, — поглядывали. Гусев думал: «Эге, эти штуки мы тоже видали».

Ихошка все ему подробно объясняла. На одно только не соглашалась — соединить экран с Домом Высшего совета инженеров.

В ужасе трясла рыжими волосами, складывала руки.

— Не просите меня, Сын Неба, лучше убейте меня, дорогой Сын Неба.

Однажды, на четырнадцатый день, утром, Гусев, как обычно, сел в кресло, положил на колени цифровую доску, дернул за шнур.

В зеркальной стене появилась странная картина: на центральной площади — озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат, — шли треугольником, как страшные куклы, с каменными лицами. Далее — на торговой улице — бегущая толпа, свалка и какой-то марсианин, вылетевший из драки винтом на машине-крыльях. В парке — те же встревоженные кучки шептунов. На одной из фабрик — гудящие толпы рабочих, возбужденные, мрачные, свирепые лица.

В городе, видимо, произошло какое-то событие чрезвычайной важности. Гусев тряс Ихошку за плечи: «В чем дело?» Она молчала, глядела матовыми влюбленными глазами.

ТУСКУБ

Город был охвачен тревогой. Бормотали, мигали зеркальные телефоны. На улицах, на площадях, в парках шептались кучки марсиан. Ждали событий, поглядывали на небо. Говорили, что где-то горят склады сушеного кактуса. В полдень в городе открыли водопроводные краны, и вода иссякла в них, но ненадолго... Многие слышали на юго-западе отдаленный взрыв. В домах заклеивали стекла бумажками — крест-накрест.

Тревога шла из центра по городу, из Дома Высшего совета инженеров.

Говорили о пошатнувшейся власти Тускуба, о предстоящих переменах.

Тревожное возбуждение прорезывалось, как искрой, слухами:

«Ночью погаснет свет».

«Остановят полярные станции».

«Исчезнет магнитное поле».

«В подвалах Дома Высшего совета арестованы какие-то личности».

На окраинах города, на фабриках, в рабочих поселках, в общественных магазинах слухи эти воспринимались по-иному. О причине их возникновения здесь, видимо, знали больше. С тревожным злорадством говорили, что будто гигантский цирк, номер одиннадцатый, взорван подземными рабочими, что агенты правительства ищут повсюду склады оружия, что Тускуб стягивает войска в Соацеру.

К полудню почти повсюду прекратилась работа. Собирались большие толпы, ожидали событий, поглядывали на неизвестно откуда появившихся многозначительных молодых, неряшливо одетых марсиан с заложенными в карманы руками.

В середине дня над городом пролетели правительственные лодки, и дождь белых афишек посыпался с неба на улицы.

Правительство предостерегало население от злостных слухов, — их распускали враги народа. Говорилось, что власть никогда еще не была так сильна и преисполнена решимости.

Город затих ненадолго, и снова поползли слухи — один страшнее другого. Достоверно знали только одно: сегодня вечером в Доме Высшего совета инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с вождем рабочего населения Соацеры — инженером Гором.

К вечеру толпы народа заполнили огромную площадь перед Домом Высшего совета. Солдаты охраняли лестницу, входы и крышу. Холодный ветер нагнал туман, в мокрых облаках раскачивались фонари красноватыми расплывающимися сияниями. Неясной пирамидой уходили во мглу мрачные стены дома. Все окна его были освещены.

Под тяжелыми сводами, в круглом зале, на скамьях амфитеатра сидели члены Высшего совета. Лица всех были внимательны и настороженны. В стене, высоко над полом, проходили быстро одна за другой в туманном зеркале картины города — внутренность фабрик, перекрестки с перебегающими в тумане фигурами, очертания водяных цирков, электромагнитных башен, однообразные пустынные здания складов, охраняемые солдатами. Экран непрерывно соединялся со всеми контрольными зеркалами в городе. Вот появилась площадь перед Домом Высшего совета инженеров, — океан голов, застилаемый клочьями тумана, широкие сияния фонарей. Своды залы наполнились зловещим ропотом толпы.

Тонкий свист отвлек внимание присутствующих. Экран погас. Перед амфитеатром, на возвышение, покрытое черно-золотой парчой, взошел Тускуб. Он был бледен, спокоен и мрачен.

— В городе волнение, — сказал Тускуб,— город возбужден слухом о том, что сегодня *мне* здесь намерены противоречить. Одного этого слуха было достаточно, чтобы государственное равновесие пошатнулось. Такое положение вещей я считаю болезненным и зловещим. Необходимо раз навсегда уничтожить причину подобной возбуждаемости. Я знаю,— среди нас есть присутствующие, которые нынче же ночью разнесут по городу мои слова. Я говорю открыто: город охвачен анархией. По

сведениям моих агентов, в городе и стране нет достаточных мускулов для сопротивления. Мы накануне гибели мира.

Ропот пролетел по амфитеатру. Тускуб брезгливо усмехнулся.

— Сила, разрушающая мировой порядок, — анархия, — идет из города. Спокойствие души, природная воля к жизни, силы чувств растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и бесполезные удовольствия. Дым хавры — вот душа города: дым и бред. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Женщины, обнажающие спину и живот и надушенные возбуждающими ароматами; пестрые огоньки, перебегающие по фасадам публичных домов; летающие над улицами лодки-рестораны — вот город! Покой души сгорает в пепел. Желание таких опустошенных душ одно — жажда... Жажда опьянения... Пресыщенные души опьяняет только кровь.

Тускуб сказал это, пронзив перед собою пальцем пространство... Зал сдержанно загудел. Он продолжал:

— Город готовит анархическую личность. Ее воля, ее пафос — разрушение. Думают, что анархия — свобода, нет, — анархия жаждет только анархии. Долг государства — бороться с этими разрушителями, — таков закон! Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны вызвать в стране здоровые силы и с наименьшими потерями бросить их на войну с анархией. Мы объявляем анархии беспощадную войну. Меры охраны — лишь временное средство: неизбежно должен настать час, когда полиция откроет свое уязвимое место. В то время как мы вдвое увеличиваем число агентов полиции, — анархисты увеличиваются в квадрате. Мы должны первые перейти в наступление, решиться на суровое и неизбежное действие, мы должны разрушить и уничтожить город.

Половина амфитеатра завыла и повскакала на скамьях. Лица марсиан были бледны, глаза горели. Тускуб взглядом восстановил тишину.

— Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен, мы сами должны организовать это разрушение. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части городских жителей по сельским поселкам. Мы должны использовать для этого богатейшую страну, — по ту сторону гор Лизиазиры, — покинутую населением после междоусобной войны. Предстоит огромная работа. Но цель ее велика. Разумеется, мерой разрушения города мы не спасем цивилизации, мы даже не отсрочим ее гибели, но мы дадим возможность марсианскому миру умереть спокойно и торжественно.

— Что он говорит?.. — испуганными, высокими голосами закричали слушатели.

— Почему нам нужно умирать?

— Он сошел с ума!

— Долой Тускуба!

Движением бровей Тускуб снова заставил утихнуть амфитеатр.

— История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет несколько столетий — и последний марсианин застывающим взглядом в последний раз проводит закат солнца. Мы бессильны остановить вымирание. Мы должны суровыми и мудрыми мерами обставить пышностью и счастьем последние дни мира. Первое и основное — мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все; теперь он разлагает цивилизацию, он должен погибнуть.

В середине амфитеатра поднялся Гор — тот широколицый молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале.

Голос его был глухой, лающий. Он выкинул руку по направлению Тускуба.

— Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть. Он приговаривает нас к смерти, чтобы сохранить власть. Он понимает, что только уничтожением миллионов он еще может сохранить власть. Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто родится и умирает в подземных фабричных городах, кто в праздник шатается по пыльным коридорам, зевая от безнадежности, кто с остервенением, ища забвения, дышит дымом проклятой хавры. Тускуб приготовил нам смертное ложе, пусть сам в него ляжет. Мы не хотим умирать. Мы родились, чтобы жить. Мы знаем опасность — вырождение Марса. Но у нас есть спасение. Нас спасет Земля, люди с Земли, здоровая, свежая раса с горячей кровью. Вот кого он боится больше всего на свете. Тускуб, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с Земли. Ты боишься Сынов Неба. Ты силен только среди слабых и одурманенных хаврой. Когда придут сильные, с горячей кровью, ты сам станешь тенью, ночным кошмаром, ты исчезнешь, как призрак. Вот чего ты боишься больше всего на свете! Ты нарочно выдумал анархию, ты сейчас придумал это потрясающее умы разрушение города. Тебе самому нужна кровь — напиться. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ...

Гор вдруг оборвал. Лицо его начало темнеть от напряжения. Тускуб тяжело, из-под бровей, глядел ему в глаза.

— ...Не заставишь... Не замолчу!.. — Гор захрипел. — Я знаю — ты посвящен в древнюю чертовщину... Я не боюсь твоих глаз...

Гор с трудом широкой ладонью отер пот со лба. Вдохнул глубоко и зашатался. В молчании недышащего амфитеатра он опустился на скамью, уронил голову на руки. Было слышно, как скрипнули его зубы.

Тускуб поднял брови и продолжал спокойно:

— Надеяться на переселенцев с Земли? Поздно. Вливать свежую кровь в наши жилы? Поздно. Поздно и жестоко. Мы лишь продлим агонию нашей планеты. Мы лишь увеличим страдания, потому что неизбежно станем рабами завоевателей. Вместо покойного и величественного заката цивилизации мы снова вовлечем себя в томительные круги столетий. Зачем? Зачем нам, ветхой и мудрой расе, рабо-

тать на завоевателей? Чтобы жадные до жизни дикари выгнали нас из дворцов и садов, заставили строить новые цирки, копать руду, чтобы снова равнина Марса огласилась криками войны? Чтобы снова наполнять наши города развратниками и сумасшедшими? Нет. Мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека. Мы не пустим к себе чужеземцев. Мы построим новые станции на полюсах и окружим планету непроницаемой броней. Мы разрушим Соацеру — гнездо анархии и безумных надежд, — здесь, здесь родился этот преступный план сношения с Землей. Мы пройдем плугом по площадям. Мы оставим лишь необходимые для жизни учреждения и предприятия. В них мы заставим работать преступников, алкоголиков, сумасшедших, всех мечтателей несбыточного. Мы закуем их в цепи. Даруем им жизнь, которой они так жаждут. Всем, кто согласен с нами, кто подчиняется нашей воле, мы отведем сельскую усадьбу и обеспечим жизнь и комфорт. Двадцать тысячелетий каторжного труда дают нам право жить наконец праздно, тихо и созерцательно. Конец цивилизации будет покрыт венцом золотого века. Мы организуем общественные праздники и прекрасные развлечения. Быть может, даже срок жизни, указанный мною, продлится еще на несколько столетий, потому что мы будем жить в покое.

Амфитеатр слушал молча, завороженный. Лицо Тускуба покрылось пятнами. Он закрыл глаза, будто вглядываясь в грядущее. Замолк на полуслове...

...Глухой, многоголосый гул толпы проник снаружи под своды зала. Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и швырнул далеко. Протянул руки и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Он схватил Тускуба за горло и сбросил с парчового возвышения. Так же, протянув руки, растопырив пальцы, повернулся к амфитеатру. Будто отдирая присохший язык, закричал:

— Хорошо. Смерть! Пусть смерть! Для вас!.. Для нас — борьба...

На скамьях вскочили, зашумели, несколько фигур побежало вниз, к лежащему ничком Тускубу.

Гор прыгнул к двери. Локтем отшвырнул солдата. Полы его черного халата мелькнули у выхода на площадь. Раздался его отдаленный голос. По толпе пошел будто рев ветра.

ЛОСЬ ОСТАЕТСЯ ОДИН

— Революция, Мстислав Сергеевич. Весь город вверх ногами. Потеха!

Гусев стоял в библиотеке. В обычно сонных глазах его прыгали веселые искорки, нос вздернулся, топорщились усы. Руки он глубоко засунул за ремениый пояс.

— В лодку я уже все уложил: провизию, гранаты. Ружьишко ихнее достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим.

Лось сидел, подобрав ноги, в углу дивана, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более двух часов он ождал обычного прихода Аэлиты, подходил к двери, прислушивался, — в комнатах Аэлиты было тихо. Он садился в угол дивана и ждал, когда зазвучат ее шаги. Он знал: легкие шаги раздадутся в нем громом небесным. Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем он ждал, пройдет под озаренными верхними окнами; по зеркальному полу пролетит ее черное платье. И в нем все дрогнет. Вселенная его души дрогнет и замрет, как перед грозой.

— Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Чего уставились? Говорю, летим, все готово, я вас хочу марскомом объявить. Дело чистое.

Лось опустил голову, — так впился глазами Гусев. Спросил тихо:

— Что происходит в городе?

— Черт их разберет. На улицах народу — тучи, рев. Окна бьют.

— Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром, если будет нужно — расстреляйте меня. Но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?

— Ладно, — сказал Гусев, — эх, от них весь беспорядок, мухи их залягай, — на седьмое небо улети, и там баба. Тьфу! В полночь вернусь. Ихошка посмотрит, чтобы доносу на меня не было.

Гусев ушел. Лось опять взял книгу и думал:

«Чем кончится? Пройдет мимо гроза любви? Нет, не минует. Рад он этому чувству напряженного, смертельного ожидания, что вот-вот раскроется какой-то немыслимый свет? Не радость, не печаль, не сон, не жажда, не утоление... То, что он испытывает, когда Аэлита рядом с ним, — именно принятие жизни в ледяное одиночество своего тела. Жизнь входит в него по зеркальному полу, под сияющими окнами. Но это тоже ведь сон. Пусть случится то, чего он жаждет. И жизнь возникает в ней, Аэлите. Она будет полна осуществлением, трепетной плотью. А ему снова — томление, одиночество».

Никогда еще Лось с такой ясностью не чувствовал безнадежной жажды любви, никогда еще так не понимал этого обмана любви, страшной подмены самого себя — женщиной: проклятие мужского существа. Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды, — ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец, — как пустая тень, раскинувшая руки от звезды до звезды.

Аэлита была права: он напрасно многое узнал за это время, слишком широко раскрылось его сознание. В его теле еще текла горячая кровь, он был весь еще полон тревожными семенами жизни, — сын Земли. Но разум опередил его на тысячу лет: здесь, на иной земле, он узнал то, что еще не нужно было знать. Разум раскрылся и зазиял ледяной пустыней. Что раскрыл его разум? Пустыню, и там, за пределом, новые тайны.

Заставь птицу, поющую в нежном восторге, закрыв глаза, в горячем луче солнца, понять хоть краешек мудрости человеческой, — и птица упадет мертвая.

За окном послышался протяжный свист улетающей лодки. Затем в библиотеку просунулась голова Ихи.

— Сын Неба, идите обедать...

Лось поспешно пошел в столовую — белую, круглую комнату, где эти дни обедал с Аэлитой. Здесь было жарко. В высоких вазах у колонн тяжелой духотой пахли цветы. Иха, отворачивая покрасневшие от слез глаза, сказала:

— Вы будете обедать один, Сын Неба, — и прикрыла прибор Аэлиты белыми цветами.

Лось потемнел. Мрачно сел к столу. К еде не притронулся, — только крошил хлеб и выпил несколько бокалов вина. С зеркального купола — над столом — раздалась, как обычно во время обеда, слабая музыка. Лось стиснул челюсти.

Из глубины купола лились два голоса — струнный и духовой: сходились, сплетались, пели о несбыточном. На высоких, замирающих звуках они расходились, — и уже низкие звуки взывали из могилы тоскующими голосами, — звали, перекликались взволнованно, и снова пели о встрече, сближались, кружились, похожие на старый, старый вальс.

Лось сидел, стиснув в кулаке узкий бокал. Иха, зайдя за колонну, приподняла платье и уткнула в него лицо, — у нее тряслись плечи. Лось бросил салфетку и встал. Томительная музыка, духота цветов, пряное вино — все это было совсем напрасно.

Он подошел к Ихе.

— Могу я видеть Аэлиту?

Не открывая лица, Иха замотала рыжими волосами. Лось взял ее за плечо.

— Что случилось? Она больна? Мне нужно ее видеть.

Иха проскользнула под локтем у Лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихошкой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме — суконный шлем, ремни на груди, одна рука на рукояти шашки, в другой — револьвер, сзади разрывающиеся гранаты, — подписано: «Прелестной Ихошке на незабываемую память».

Лось отшвырнул открытку, вышел из дому и зашагал по лугу, к роще. Он делал огромные прыжки, не замечал этого, бормотал:

— Не хочет видеть — не нужно. Попасть в иной мир, — беспримерное усилие, — чтобы сидеть в углу дивана, ждать: когда же, когда наконец войдет женщина... Сумасшествие! Одержимость! Гусев прав, — лихорадка. «Нанюхался сладкого». Ждать, как светопреставления, нежного взгляда... К черту!..

Мысли жестоко укалывали. Лось вскрикивал, как от зубной боли. Не соразмеряя силы, подскакивал на сажень в воздух и, падая, едва удерживался на ногах. Белые волосы его развевались. Он люто ненавидел себя.

Он добежал до озера. Вода была, как зеркало, на черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень.

Из прозрачной глубины озера медленно поднимались круглые пурпуровые рыбы, шевелили волокнами длинных игл, водяными глазами равнодушно глядели на Лося.

— Вы слышите, рыбы, пучеглазые, глупые рыбы, — вполголоса сказал Лось, — я спокоен, говорю в полной памяти. Меня мучит любопытство, жжет, — взять в руки ее, когда она войдет в черном платье. Услышать, как станет биться ее сердце... Она сама, странным движением, придвинется ко мне... Я буду глядеть, как станут дикими ее глаза... Видите, рыбы, — я остановился, оборвал, не думаю, не хочу. Довольно. Ниточка разорвана, — конец. Завтра в город. Борьба — прекрасно. Смерть — прекрасно. Только — ни музыки, ни цветов, ни лукавого обольщения. Больше не хочу духоты. Волшебный шарик на ее ладони — к черту, к черту, все это обман, призрак!..

Лось поднялся, взял большой камень и швырнул его в стаю рыб. Голову ломило. Свет резал глаза. Вдали сверкала льдами, поднималась из-за рощи острым пиком горная вершина. «Необходимо хлебнуть ледяного воздуха». Лось прищурился на алмазную гору и пошел в том направлении через голубые заросли.

Деревья окончились, перед ним лежало пустынное холмистое плоскогорье, — ледяная вершина была далеко за краем. По пути под ногами валялись шлак и щебень, повсюду — отверстия брошенных шахт. Лось упрямо решил хватить зубами кусок этого вдали сияющего снега.

В стороне, в лощине, поднималось коричневое облако пыли. Горячий ветер донес шум множества голосов. С высоты холма Лось увидел бредущую по сухому руслу канала большую толпу марсиан. Они несли длинные палки с привязанными на концах ножами, кирки, молоты для дробления руды. Брели, спотыкаясь, потрясали оружием и ревели свирепо. За ними, над коричневыми облаками, плыли хищные птицы.

Лось вспомнил давешние слова Гусева о событиях. Подумал: «Вот — живи, борись, побеждай, гибни... А сердце держи на цепи, неистовое, несчастное».

Толпа скрылась за горами. Лось быстро шел, взволнованный движением, борьбой, и вдруг остановился, запрокинул голову. В синей вышине плыла, снижаясь, крылатая лодка. Вот сверкнула, описала круг, все ниже, ниже, скользнула над головой и села.

В лодке поднялся кто-то закутанный в белый мех, белый, как снег. Из-за меха, из-под кожаного шлема глядели на Лося взволнованные глаза Аэлиты. Горячо забилось сердце. Он подошел к лодке. Аэлита отогнула на лице влажный от дыхания мех. Потемневшим взором Лось глядел в ее лицо. Она сказала:

— Я за тобой. Я была в городе. Нам нужно бежать. Я умираю от тоски по тебе.

Лось только стиснул пальцами борт лодки, с трудом передохнул.

Лось сел позади Аэлиты. Механик — краснокожий мальчик — плавным толчком поднял крылатую лодку в небо.

Холодный ветер кинулся навстречу. Белая, как снег, шубка Аэлиты была пропитана грозовой свежестью, горным холодом. Аэлита обернулась к Лосю, щеки ее горели.

— Я видела отца. Он мне велел убить тебя и твоего товарища. — Зубы ее блеснули. Она разжала кулачок. На кольце, на цепочке, висел у нее каменный флакончик. — Отец сказал: пусть они уснут спокойно, они заслужили счастливую смерть.

Серые глаза Аэлиты подернулись влагой. Но сейчас же она рассмеялась, сдернула с пальца кольцо. Лось схватил ее за руку.

— Не бросай, — он взял у нее флакончик и сунул в карман, — это твой дар, Аэлита, — темная капелька — сон, покой. Теперь и жизнь и смерть — ты. — Он наклонился к ее дыханию. — Когда настанет страшный час одиночества, я снова почувствую тебя в этой капельке.

Силясь понять, Аэлита закрыла глаза, прислонилась спиной к Лосю. Нет, все равно не понять. Шумящий ветер, горячая грудь Лося за спиной, его рука, ушедшая в белый мех на плече, — казалось, кровь их бежит одним круговоротом, в одном восторге, одним телом летят они в какое-то сияющее древнее воспоминание. Нет, все равно не понять!

Прошла минута, немного больше. Лодка поравнялась с высотой Тускубовой усадьбы. Механик обернулся: у Аэлиты и Сына Неба были странные лица. В пустых зрачках их светились солнечные точки. Ветер мял снежную шерсть на шубке Аэлиты. Восторженные глаза ее глядели в океан небесного света.

Мальчик-механик уткнул в воротник острый нос и принялся беззвучно смеяться. Положил лодку на крыло и, разрезая воздух крутым падением, спустился у дома.

Аэлита очнулась, стала расстегивать шубку, но пальцы ее скользили по птичьим головкам на больших пуговицах. Лось поднял ее из лодки, поставил на траву и стоял перед ней согнувшись. Аэлита сказала мальчику:

— Приготовь закрытую лодку.

Она не заметила ни Ихошкиных красных глаз, ни желтого, как тыква, перекошенного страхом лица управляющего, — улыбаясь, рассеянно оборачиваясь к Лосю, она пошла впереди него в глубь дома, к себе.

В первый раз Лось увидел комнаты Аэлиты, — низкие золотые своды, стены, покрытые теневыми изображениями, будто фигурками на китайском зонтике, почувствовал кружащий голову горьковатый теплый запах.

Аэлита сказала тихо:

— Сядь.

Лось сел. Она опустилась около его ног, положила голову ему на колени, руки на грудь и более не двигалась.

Он с нежностью глядел на ее пепельные, высоко поднятые на затылке волосы, держал руки. У нее задрожало горло. Лось нагнулся. Она сказала:

— Тебе, быть может, скучно со мной? Прости. Я еще не умею любить. Мне смутно. Я сказала Ихе: поставь побольше цветов в столовой, когда он останется один, пусть ему играет улла.

Аэлита оперлась локтями о колени Лося. Лицо ее было мечтательное.

— Ты слушал? Ты понял? Ты думал обо мне?

— Ты видишь и знаешь, — сказал Лось, — когда я не вижу тебя — схожу с ума от тревоги. Когда вижу тебя — тревога страшнее. Теперь мне кажется — тоска по тебе гнала меня через звезды.

Аэлита глубоко вздохнула. Лицо ее казалось счастливым.

— Отец дал мне яд, но я видела — он не верит мне. Он сказал: «Я убью и тебя и его». Нам недолго жить. Но ты чувствуешь — минуты раскрываются бесконечно, блаженно.

Она запнулась и глядела, как вспыхнули холодной решимостью глаза Лося, — рот его сжался упрямо.

— Хорошо, — сказал он, — я буду бороться.

Аэлита придвинулась и зашептала:

— Ты — великан из моих детских снов. У тебя прекрасное лицо. Ты сильный, Сын Неба. Ты мужественный, добрый. Твои руки — из железа, колени — из камня. Твой взгляд смертелен. От твоего взгляда женщины чувствуют тяжесть под сердцем.

Голова Аэлиты без силы легла ему на плечо. Ее бормотание стало неясным, чуть слышным. Лось отвел с лица ее волосы.

— Что с тобой?

Тогда она стремительно обвила его шею, как ребенок. Выступили большие слезы, потекли по ее худенькому лицу.

— Я не умею любить—сказала она,—я никогда не знала этого... Пожалей меня, не гнушайся мною. Я буду рассказывать тебе интересные истории. Расскажу о страшных кометах, о битве воздушных кораблей, о гибели прекрасной страны по ту сторону гор. Тебе не будет скучно любить меня. Меня никто никогда не ласкал. Когда ты в первый раз пришел, я подумала: «Я его видела в детстве, это родной великан». Мне хотелось, чтобы ты взял меня на руки, унес отсюда. Здесь — мрачно, безнадежно, смерть, смерть. Солнце скудно греет. Льды больше не тают на полюсах. Высыхают моря. Бесконечные пустыни, медные пески покрывают Туму... Земля, Земля... милый великан, унеси меня на Землю. Я хочу видеть зеленые горы, потоки воды, облака, тучных зверей, великанов... Я не хочу умирать.

Аэлита заливалась слезами. Теперь совсем девочкой казалась она Лосю. Было смешно и нежно, когда она всплеснула руками, говоря о великанах.

Лось поцеловал ее в заплаканные глаза. Она затихла. Ротик ее припух. Снизу вверх, влюбленно, как на великана из сказки, она глядела на Сына Неба.

Вдруг в полумраке комнаты раздался тихий свист, и сейчас же вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике. Появилась

всматривающаяся внимательно голова Тускуба.

— Ты здесь? — спросил он.

Аэлита, как кошка, соскочила на ковер, подбежала к экрану.

— Я здесь, отец.

— Сыны Неба еще живы?

— Нет, отец, — я дала им яд, они убиты.

Аэлита говорила холодно, резко. Стояла спиной к Лосю, заслоняя экран.

— Что тебе еще нужно от меня, отец?

Тускуб молчал. Плечи Аэлиты стали подниматься, голова закидывалась. Свирепый голос Тускуба проревел:

— Ты лжешь! Сын Неба в городе. Он во главе восстания!

Аэлита покачнулась. Голова отца исчезла.

ДРЕВНЯЯ ПЕСНЯ

Аэлита, Ихошка и Лось летели в четырехкрылой лодке к горам Лизазиры.

Не переставая работал приемник электромагнитных волн — мачта с отрезками проволок. Аэлита склонилась над крошечным экраном, слушала, всматривалась.

Было трудно разобраться в отчаянных телефонограммах, призывах, криках, тревожных запросах, летящих, кружащихся в магнитных полях Марса. Все же, почти не переставая, бормотал стальной голос Тускуба, прорезывал весь этот хаос, владел им. В зеркальце скользили тени потревоженного мира.

Несколько раз в каше звуков слух Аэлиты улавливал странный голос, вопивший протяжно:

«...Товарищи, не слушайте шептунов... не надо нам никаких уступок... к оружию, товарищи, настал последний час... вся власть сов... сов... сов...»

Аэлита обернулась к Ихошке.

— Твой друг отважен и дерзок, он истинный Сын Неба, не бойся за него.

Ихошка, как коза, топнула ногами, замотала рыжей головой. Аэлите удалось проследить, что бегство их осталось незамеченным. Она сняла с ушей трубки. Пальцами протерла запотевшее стекло иллюминатора.

— Взгляни, — сказала она Лосю, — за нами летят их.

Лодка плыла на огромной высоте над Марсом. С боков лодки, в ослепительном свету, летели на перепончатых крыльях два извивающихся, покрытых бурой шерстью, облезлых животных. Круглые головы их с плоским зубастым клювом были повернуты к окошкам. Вот одно, увидев Лося, нырнуло и ляскнуло пастью по стеклу. Лось откинул голову. Аэлита рассмеялась.

Миновали Азору. Внизу теперь лежали острые скалы Лизазиры. Лодка пошла вниз, пролетела над озером Соам и опустилась на просторную площадку, висящую над пропастью.

Лось и механик завели лодку в пещеру, подняли на плечи корзины и вслед за женщинами стали спускаться по едва приметной в скалах, истершейся от древности лестнице вниз в ущелье. Аэлита легко и быстро шла вперед. Придерживаясь за выступы скал, внимательно взглядывала на Лося. Из-под его огромных ног летели камни, отдавались в пропасти эхом.

— Здесь спускался Магацитл, неся трость с привязанной пряжей, — сказала Аэлита. — Сейчас ты увидишь места, где горели круги священных огней.

На середине пропасти лестница ушла в глубь скалы, в узкий туннель. Из темноты его тянуло влажной сыростью. Ширкая по камням плечами, нагибаясь, Лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты и сейчас же почувствовал на губах ее дыхание. Он прошептал по-русски: «Милая».

Туннель окончился полуосвещенной пещерой. Повсюду поблескивали базальтовые колонны. В глубине взлетали легкие клубы пара. Журчала вода, однообразно падали капли с неразличимых в глубине сводов.

Аэлита шла впереди. Ее черный плащ и острый колпачок скользили над озером, скрывались иногда за облаками пара. Она сказала из темноты: «Осторожнее» — и появилась на узкой, крутой арке древнего моста. Лось почувствовал, как под ногами дрожит мостовой свод, но он глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке.

Становилось светлее. Заблестели над головой кристаллы. Пещера окончилась колоннадой из низких каменных столбов. За ними видна была залитая вечерним солнцем перспектива скалистых вершин и горных цирков Лизазиры.

По ту сторону колоннады лежала широкая терраса, покрытая ржавым мхом. Ее края обрывались отвесно. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх, в пещерный город. Посреди террасы лежал до половины ушедший в почву, покрытый мхами Священный Порог. Это был большой, из массивного золота, саркофаг. Грубые изображения зверей и птиц покрывали его с четырех сторон. Наверху покоилось изображение спящего марсианина, — одна рука его подложена под голову, другая прижимала к груди уллу. Остатки рухнувшей колоннады окружали эту удивительную скульптуру.

Аэлита опустилась на колени перед Порогом и поцеловала в сердце изображение спящего. Когда она поднялась, ее лицо было задумчивое и кроткое. Иха тоже присела у ног спящего, обхватила их, прижалась лицом.

С левой стороны, в скале, среди полустертых надписей виднелась треугольная золотая дверца. Лось разгреб мхи и с трудом отворил ее. Это было древнее жилище хранителя Порога — темная пещерка с каменными скамьями, очагом и ложем, высеченным в граните. Сюда внесли корзины. Иха покрыла циновкой пол, постлала постель для Аэлиты, налила масла в висевшую под потолком светильню и зажгла ее. Мальчик-механик ушел сторожить крылатую лодку.

Аэлита и Лось сидели на краю бездны. Солнце уходило за острые вершины. Резкие длинные тени потянулись от гор, ломались в прорывах ущелий. Мрачно, бесплодно, дико

было в этом краю, где некогда спасались от людей древние Аолы.

— Когда-то горы были покрыты растительностью, — сказала Аэлита, — здесь паслись стада хашей и в ущельях шумели водопады. Тума умирает. Смыкается круг долгих, долгих тысячелетий. Быть может, мы — последние: уйдем, и Тума опустеет.

Аэлита помолчала. Солнце закатилось невдалеке за драконий хребет скал. Яростная кровь заката полилась в высоту, в лиловую тьму.

— Но сердце мое говорит иное. — Аэлита поднялась и пошла вдоль обрыва, поднимая клочки сухого мха, сухие веточки. Собрав их в край плаща, она вернулась к Лосю, сложила костер, принесла из пещеры светильню и, опустившись на колени, подожгла травы. Костер затрещал, разгораясь.

Тогда Аэлита вынула из-под плаща маленькую уллу и, сидя, опираясь локтями о поднятое колено, тронула струны. Они нежно, как пчелы, зазвенели. Аэлита подняла голову к проступающим во тьме ночи звездам и запела негромким, низким, печальным голосом:

Собери сухие травы, помет животных и обломки ветвей,
Сложи их прилежно,
Ударь камнем о камень, — женщина,
водительница двух душ.
Высеки искру — и запылает костер.
Сядь у огня, протяни руки к пламени.
Муж твой сидит по другую сторону пляшущих языков.
Сквозь струи уходящего к звездам дыма
Глаза мужчины глядят в темноту твоего чрева,
в дно души.
Его глаза ярче звезд, горячей огня, смелее
фосфорических глаз ча.
Знай, — потухшим углем станет солнце, укатятся
Звезды с неба, погаснет злой Талцетл над миром, —
Но ты, женщина, сидишь у огня бессмертня,
протянув к нему руки,
И слушаешь голоса ждущих пробуждения к жизни,
Голоса во тьме твоего чрева.

. . . .

Костер догорал. Опустив уллу на колени, Аэлита глядела на угли, — они озаряли красноватым жаром ее лицо.

— По древнему обычаю, — сказала она сурово, — женщина, спевшая мужчине песню уллы, становится его женой.

ЛОСЬ ЛЕТИТ НА ПОМОЩЬ ГУСЕВУ

В полночь Лось выскочил из лодки на дворе Тускубовой усадьбы. Окна дома были темны, — значит, Гусев еще не вернулся. Покатая стена освещена звездами, голубоватые искры их поблескивали в черноте стекол. Из-за зубцов крыши торчала острым углом странная тень. Лось вглядывался, — что бы это могло быть?

Мальчик-механик наклонился к нему и шепнул опасливо:

— Не ходите туда.

Лось вытащил из кобуры маузер. Втянул ноздрями холодноватый воздух. В памяти встал огонь костра над пропастью, запах горящих трав. Потемневшие, горячие глаза Аэлиты... «Вернешься?— спросила она, стоя над огнем. — Исполни долг, борись, победи, но не забывай, — все это лишь сон, все тени... Здесь, у огня, — ты жив, ты не умрешь. Не забывай, вернись...» Она подошла близко. Ее глаза у самых его глаз раскрывались в бездонную ночь, полную звездной пыли: «Вернись, вернись ко мне, Сын Неба...»

Воспоминание обожгло и погасло, — длилось всего секунду, покуда Лось расстегивал кобуру револьвера. Вглядываясь в странную тень по ту сторону дома над крышей, Лось чувствовал, как мышцы его напрягаются, горячая кровь сотрясает сердце, — борьба, борьба.

Легко, прыжками, он побежал к дому. Прислушался, скользнул вдоль боковой стены и заглянул за угол. Близ входа в дом лежал, завалившись набок, разбитый корабль. Одно его крыло поднималось над крышей к звездам... Лось различил несколько валявшихся на траве точно мешков, — это были трупы. В доме— темнота, тишина.

«Неужели — Гусев?» Лось подбежал к убитым. «Нет, марсиане». Один лежал вниз головой на ступенях. Еще один висел среди обломков корабля. Видимо, были убиты выстрелами из дома.

Лось взбежал на лестницу. Дверь была приоткрыта. Он вошел в дом.

— Алексей Иванович, — позвал Лось.

Было тихо. Он включил освещение, — вспыхнул огнями весь дом. Подумал: «Неосторожно», — и сейчас же забыл об этом. Проходя под арками, поскользнулся в липкую лужицу.

— Алексей Иванович! — закричал Лось.

Прислушался, — тишина. Тогда он прошел в узкое зальце с туманным зеркалом, сел в кресло, захватил ногтями подбородок. «Ждать его здесь? Лететь на помощь? Но куда? Чей это разбитый корабль? Мертвые не похожи на солдат, — скорее всего — рабочие. Кто здесь дрался? Гусев? Люди Тускуба? Да, медлить нельзя».

Он взял цифровую доску и включил зеркало: «Площадь Дома Высшего совета инженеров». Дернул шнур, и сейчас же грохотом отшвырнуло его от зеркала: там, в красноватом сиянии фонарей, летели клубы дыма, чиркали огненные вспышки, искры. Вот влетела, раскинув руки, в зеркало чья-то фигура с залитыми кровью глазами.

Лось дернул за шнур. Отвернулся от экрана.

«Неужели он не даст знать, где искать его в этой каше?»

Лось заложил руки за спину и ходил, ходил по низкому зальцу. Вздрогнул, остановился, живо обернулся, щелкнул предохранителем маузера. Из-за двери, у самого пола, высовывалась голова — красные вихры, красное морщинистое лицо.

Лось подскочил к двери. По ту ее сторону лежал у стены в луже крови марсианин. Лось взял его на руки, понес и положил в кресло. У него был разодран живот.

Облизнув губы, марсианин проговорил едва слышно:

— Спеши, мы погибаем, Сын Неба, спаси нас... Разожми мне руку...

Лось разжал коченеющий кулачок умирающего, отодрал от ладони записочку. С трудом разобрал:

«Посылаю за вами военный корабль и семь человек рабочих, — ребята надежные. Я осаждаю Дом Высшего совета инженеров. Спускайтесь рядом на площади, где башня. Гусев».

Лось нагнулся к раненому — спросить, что здесь произошло. Но марсианин только хрипел, дергаясь в кресле.

Тогда Лось взял его голову в ладони. Марсианин перестал хрипеть. Глаза его выкатились. Ужас, блаженство осветило их: «Спаси...» Глаза подернулись пылью, скалился рот.

Лось застегнул куртку, обмотал шею шарфом. Пошел к выходу. Но едва отворил дверь, впереди, из-за остова корабля, метнулись синеватые искорки; раздался слабый, режущий треск. Пулей сорвало шлем с головы Лося.

Стиснув зубы, Лось кинулся вниз по лестнице, подскочил к кораблю, навалился плечом, — мускулы хрустнули, и он опрокинул остов корабля на тех, кто таился позади него в засаде.

Раздался треск ломающегося металла, птичьи крики марсиан; огромное крыло мотнулось по воздуху и пришлепнуло уползавших из-под обломков. Пригибающиеся фигуры побежали зигзагами по туманной лужайке. Лось одним прыжком догнал их, выстрелил. Грохот маузера был ужасен. Ближайший марсианин ткнулся в траву. Другой бросил ружье, присел, закрыл лицо руками.

Лось взял его за воротник серебристой куртки и поднял, как щенка. Это был солдат. Лось спросил:

— Ты послан Тускубом?

— Да, Сын Неба.

— Я тебя убью.

— Хорошо, Сын Неба.

— На чем вы прилетели? Где корабль?

Вися перед страшным лицом Сына Неба, марсианин расширенными от ужаса глазами указал на деревья: в тени их стояла небольшая военная лодка.

— Ты видел в городе Сына Неба? Ты можешь его найти?

— Да.

— Вези.

Лось вскочил в военную лодку. Марсианин сел к рулям. Взвыли винты. Ночной ветер кинулся навстречу. Закачались в черной высоте огромные, дикие звезды.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУСЕВА ЗА ИСТЕКШИЙ ДЕНЬ

В десять часов утра Гусев вылетел из Тускубовой усадьбы в Соацеру, имея на борту лодки авиационную карту, оружие, довольствие и шесть штук ручных гранат,—их он, тайно от Лося, захватил еще в Петрограде.

В полдень Гусев увидал внизу Соацеру. Центральные улицы были пустынны. У Дома Совета инженеров, на огромной звездообразной площади, стояли военные корабли и войска — тремя концентрическими полукругами.

Гусев стал снижаться. И вот — его, очевидно, заметили. С площади снялся шестикрылый сверкающий корабль, — трепеща в лучах солнца, взвился отвесно. Вдоль бортов его стояли серебристые фигурки. Гусев описал над кораблем круг. Осторожно вытащил из мешка гранату.

На корабле завертелись цветные колеса, зашевелились проволочные волосы на мачте.

Гусев перегнулся из лодки и погрозил кулаком. На корабле раздался слабый крик. Серебристые фигурки подняли коротенькие ружья. Вылетели желтенькие дымки. Запели пули. Отлетел кусок борта у лодки.

Гусев выругался веселым матом. Поднял рули. Кинулся вниз на корабль. Пролетая вихрем над ним, бросил гранату. Он услышал, как позади громыхнул оглушительный взрыв. Выправил рули и обернулся. Корабль неряшливо перевертывался в воздухе, дымя и разваливаясь, и рухнул на крыши.

С этого тогда все началось.

Пролетая над городом, Гусев узнавал виденные им в зеркале площади, правительственные здания, арсенал, рабочие кварталы. У длинной фабричной стены волновалась, точно потревоженный муравейник, многотысячная толпа марсиан. Гусев снизился. Толпа шарахнулась в стороны. Он сел на очищенное место, скаля зубы.

Его узнали. Поднялись тысячи рук, заревели глотки: «Магацитл, Магацитл!» Толпа робко стала придвигаться. Он видел дрожащие лица, умоляющие глаза, красные, как редиска, облезлые черепа. Это все были рабочие, чернь, беднота.

Гусев вылез из лодки, вскинул на плечо мешок, широко провел рукой по воздуху.

— С приветом, товарищи! — Стало тихо, как во сне. Гусев казался великаном среди щуплого народца. — Разговаривать здесь собрались, товарищи, или воевать? Если разговаривать, мне некогда, прощайте.

По толпе пролетел тяжкий вздох. Отчаянными голосами крикнули несколько марсиан, и толпа подхватила их крики:

— Спаси, спаси, спаси нас, Сын Неба!

— Значит, воевать хотите? — сказал Гусев и рявкнул хриплой глоткой: — Бой начался. Сейчас на меня напал военный корабль. Я сбил его к чертям. К оружию, за мной! — Он схватил воздух, точно уздечку.

Сквозь толпу протискался Гор (Гусев его сразу узнал). Гор был серый от волнения, губы прыгали. Вцепился пальцами в грудь Гусеву.

— Что вы говорите? Куда вы нас зовете? Нас уничтожат. У нас нет оружия. Нужны иные средства борьбы...

Гусев отодрал от себя его руки.

— Главное оружие — решиться. Кто решился, у того и власть. Не для того я с Земли летел, чтобы здесь разговаривать... Для того я с Земли летел, чтобы научить вас решиться. Мхом обросли, товарищи марсиане. Кому умирать не страшно, — за мной. Где у вас арсенал? За оружием! Все за мной, в арсенал!..

— Ай-яй! — завизжали марсиане.

Началась давка. Гор отчаянно протянул руки к толпе.

Так началось восстание. Вождь нашелся. Головы пошли кругом. Невозможное показалось возможным. Гор, медленно и научно подготовлявший восстание и даже после вчерашнего медливший и не решавшийся, вдруг точно проснулся. Он произнес двенадцать бешеных речей, переданных в рабочие кварталы туманными зеркалами. Сорок тысяч марсиан стали подтягиваться к арсеналу. Гусев разбил наступавших на небольшие кучки, и они перебегали под прикрытием домов, памятников, деревьев. Он распорядился поставить у всех контрольных экранов, по которым правительство следило за движением в городе, женщин и детей и велел им вяло ругать Тускуба. Эта азиатская хитрость усыпила на некоторое время бдительность правительства.

Гусев боялся воздушной атаки военных кораблей. Чтобы хоть ненадолго отвлечь внимание, он послал пять тысяч безоружных марсиан в центр города — кричать, просить теплой одежды, хлеба, хавры. Он сказал им:

— Никто из вас живым оттуда не вернется. Это вы помните. Идите.

Пять тысяч марсиан одной глоткой закричали: «Ай-яй!» — развернули огромные зонтики с надписями и пошли умирать, запели унылым воем старую запретную песню:

Под стеклянными крышами,
Под железными арками,
В каменном горшке
Дымится хавра.
Нам весело, весело.
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!
Ай-яй! Мы не вернемся
В шахты, в каменоломни,
Мы не вернемся
В страшные, мертвые коридоры,
К машинам, к машинам.
Жить мы хотим. Ай-яй! Жить!
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!

Крутя огромные зонтики, завывая, они скрылись в узких улицах.

Арсенал, низкое квадратное здание, в старой части города, охранялся небольшой воинской частью. Солдаты стояли полукругом на площади перед окованными бронзой воротами, прикрывая две странные машины из проволочных спиралей, дисков и шаров (такую штуку Гусев видел в заброшенном доме). По множеству кривых переулочков наступающие подошли и обложили арсенал: стены его были отвесны и прочны.

Выглядывая из-за углов, перебегая за деревьями, Гусев осмотрел позицию, — ясно: арсенал надо было брать в лоб, в ворота. Гусев велел выворотить в одном из подъездов бронзовую дверь и обмотать ее веревками. Наступающим приказал кидаться лавой, визжать — ай-яй! — как можно страшнее.

Солдаты, охранявшие ворота, спокойно поглядывали на суету в переулочках, лишь машины были выдвинуты вперед, и по спиралям их трещал лиловый свет. Указывая на них, марсиане жмурились и тихо свистали: «Бойся их, Сын Неба».

Времени терять нельзя было.

Гусев расставил ноги, взялся за веревки и поднял бронзовую дверь, — была тяжела, но ничего, нести можно. Так он прошел под прикрытием домовой стены до края площади, оттуда — рукой подать до ворот. Шепотом приказал своим: «Готовься». Вытер рукавом лоб, подумал: «Эх, рассердиться бы сейчас». Поднял дверь, прикрылся ею.

— Даешь арсенал!.. Даешь, тудыть твою в душу, арсенал! — заорал он не своим голосом и тяжело побежал по площади к солдатам.

Булькнуло несколько выстрелов, режущими разрывами ударило в дверь. Гусев зашатался. Рассердился всерьез и побежал шибче, ругаясь скверными словами. А вокруг уже завыли, завизжали марсиане, посыпались изо всех углов, подъездов, из-за деревьев. В воздухе разорвался громовой шар. Но хлынувшие потоки наступающих смяли солдат и страшные машины.

Гусев, ругаясь, добежал до ворот и ударил в замок углом бронзовой двери. Ворота затрещали и распались. Гусев вбежал на квадратный двор, где рядами стояли крылатые корабли.

Арсенал был взят. Сорок тысяч марсиан получили оружие. Гусев соединился по зеркальному телефону с Домом Совета инженеров и потребовал выдачи Тускуба.

В ответ на это правительство послало воздушную эскадрилью атаковать арсенал... Гусев вылетел ей навстречу со всем флотом. Корабли правительства бежали. Их догнали, окружили и уничтожили над развалинами древней Соацеры. Корабли падали с неба к ногам гигантской статуи Магацитла, улыбающегося с закрытыми глазами. Свет заката мерцал на его чешуйчатом шлеме.

Небо было во власти восставших. Правительство стягивало полицейские войска к Дому Совета. На крыше его были поставлены машины, посылающие огненные ядра — круглые молнии. Часть повстанческого флота была ими сбита с неба.

К ночи Гусев осадил площадь Дома Высшего совета и стал строить баррикады в улицах, разбегающихся звездою от площади. «Научу я вас революции устраивать, черти кирпичные», — говорил Гусев, показывая, как нужно выворачивать плиты из мостовой, валить деревья, срывать двери, набивать рубашки песком.

Насупротив Дома Высшего совета поставили две захваченные в арсенале машины и стали бить из них огненными ядрами по войскам. Но правительство закутало площадь электромагнитным полем.

Тогда Гусев произнес последнюю за этот день речь, очень короткую, но выразительную, влез на баррикаду и швырнул одну за другой три ручных гранаты. Сила их взрыва была ужасна: метнулись три снопа пламени, полетели в воздух камни, солдаты, куски машин, площадь закуталась пылью и едким дымом. Марсиане завыли и пошли на приступ. (Это была именно та минута, когда Лось взглянул в туманное зеркало в Тускубовой усадьбе.)

Правительство сняло магнитное поле, и с обеих сторон запрыгали над площадью, над

дерущимися, затанцевали огненные мячики, лопаясь ручьями синеватого пламени. От грохота дрожали мрачные пирамидальные дома.

Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался, во главе отборного отряда, в Дом Высшего совета. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.

ПОВОРОТ СОБЫТИЙ

Войска повстанцев заняли все важнейшие пункты города, указанные Гором. Ночь была прохладная. Марсиане мерзли на постах. Гусев распорядился зажечь костры. Это показалось неслыханным — вот уже тысячу лет в городе не зажигалось огня, — о пляшущем пламени пелось лишь в древней песне.

Перед Домом Высшего совета Гусев сам зажег первый костер из обломков мебели. «Улла, улла», — тихими голосами завыли марсиане, окружив огонь. И вот костры запылали на всех площадях. Красноватый свет оживил колеблющимися тенями покатые стены домов, мерцал в стеклах.

За окнами появились голубоватые лица, — тревожно, в тоске, всматривались они в невиданные огни, в мрачные, оборванные фигуры повстанцев. Многие из домов опустели этой ночью.

Было тихо в городе. Только потрескивали костры, звенело оружие, словно возвратились на пути свои тысячелетия, снова начался томительный их полет. Даже мохнатые звезды над улицами, над кострами казались иными, — невольно сидящий у костра поднимал голову и всматривался в забытый, словно оживший, рисунок.

Гусев облетал на крылатом седле расположение войск. Он падал из звездной темноты на площадь и ходил по ней, бросая гигантскую тень. Он казался истинным Сыном Неба, истуканом, сошедшим с каменного цоколя. «Магацитл, Магацитл», — в суеверном ужасе шептали марсиане. Многие впервые видели его и подползали, чтобы коснуться. Иные плакали детскими голосами: «Теперь мы не умрем... Мы станем счастливыми... Сын Неба принес нам жизнь».

Худые тела, прикрытые пыльной, однообразной для всех одеждой, морщинистые, востроносенькие, дряблые лица, печальные глаза, веками приученные к мельканию колес, к сумраку шахт, тощие руки, неумелые в движениях радости и смелости, — руки, лица, глаза с искрами костров — тянулись к Сыну Неба.

— Не робей, не робей, ребята. Гляди веселей, — говорил им Гусев, — нет такого закону, чтобы страдать безвинно до скончания века, — не робей. Одолеем — заживем неплохо.

Поздно ночью Гусев вернулся в Дом Совета, — продрог и был голоден. В сводчатом зальце, под низкими, золотыми арками, спали на полу десятка два марсиан, увешанные оружием. Зеркальный пол был заплеван жеваной хаврой. Посреди зальца на патронных жестянках сидел Гор и писал при свете электрического фонарика. На столе валялись открытые консервы, фляжки, корки хлеба.

Гусев присел на угол стола и стал жадно есть. Вытер руки о штаны, хлебнул из фляжки, крякнул, сказал хрипло:

— Где противник? Вот что мне надо...

Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную тряпку, обмотанную вокруг головы Гусева, его крепко жующее, скуластое лицо, — усы торчком, раздутые ноздри.

— Не могу добиться, куда, к дьяволу, девались правительственные войска, — продолжал Гусев, — валяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше пятнадцати тысяч. Провалились. Попрятаться не могли, — не иголка. Если бы провалились, я бы знал. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу очутиться.

— Тускуб, правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магр под город, — сказал Гор.

Гусев соскочил со стула.

— Почему же вы молчите?

— Преследовать Тускуба бесполезно. Сядьте и ешьте, Сын Неба. — Гор, морщась, достал из-под одежды красноватую, как перец, пачку сухой хавры, засунул ее за щеку и медленно жевал. Глаза его покрылись влагой, потемнели, морщины разошлись. — Несколько тысячелетий тому назад мы не строили больших домов, мы не могли их отапливать, — электричество было нам неизвестно. В зимние стужи население уходило под поверхность Марса, на большую глубину. Огромные залы, приспособленные из прорытых водою пещер, колоннады, туннели, коридоры согревались внутренним жаром планеты. В жерлах вулканов жар был настолько велик, что мы воспользовались им для добывания пара. До сих пор на некоторых островах еще работают неуклюжие паровые машины тех времен. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Искать Тускуба в этом лабиринте бессмысленно. Он один знает планы и тайники лабиринта царицы Магр — Повелительницы двух миров, владевшей некогда всем Марсом. Из-под Соацеры сеть туннелей ведет к пятистам живым городам и к более тысячи мертвым, вымершим. Там повсюду склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены. У Тускуба — армия, на его стороне — владельцы сельских поместий, плантаторы хавры и все те, кто тридцать лет тому назад, после опустошительной войны, стали собственниками городских домов. Тускуб умен и вероломен. Он нарочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления... Ах, золотой век!.. Золотой век!..

Гор замотал одурманенной головой. На щеках его выступили лиловые пятна. Хавра начинала действовать на него.

— Тускуб мечтает о золотом веке: открыть последнюю эпоху Марса — золотой век. Только избранные войдут в него, только достойные блаженства. Равенство недостижимо, равенст-

ва нет. Всеобщее счастье — бред сумасшедших, опьяненных хаврой. Тускуб сказал: жажда равенства и всеобщая справедливость разрушают высшие достижения цивилизации. — На губах у Гора показалась красноватая пена. — Идти назад, к неравенству, к несправедливости! Пусть на нас кинутся, как ахи, минувшие века. Заковать рабов, приковать к машинам, к станкам, спустить в шахты... Пусть — полнота скорби. И у блаженных — полнота счастья... Вот — золотой век. Скрежет зубов и мрак. Будь прокляты отец мой и мать! Родиться на свет! Будь я проклят!

Гусев глядел на него, шибко жевал папиросу:

— Ну, я вам скажу, — вы дожили здесь!..

Гор долго молчал, согнувшись на патронных жестянках, как древний, древний старик.

— Да, Сын Неба. Мы, населяющие древнюю Туму, не разрешили загадки. Сегодня я видел вас в бою. В вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам Земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но не нам, мы — стары. В нас пепел. Мы упустили свой час.

Гусев подтянул кушак.

— Ну, хорошо. Пепел! Завтра предполагаете — что делать?

— Наутро нужно отыскать по зеркальному телефону Тускуба и войти с ним в переговоры о взаимных уступках...

— Вы, товарищ, целый час чепуху несете, — перебил Гусев, — вот вам диспозиция на завтра: вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. Требуйте безусловного подчинения. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы, захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле, в Москву, чтобы слали нам подкрепление как можно скорее. В полгода они аппараты построят, а лететь всего...

Гусев пошатнулся и тяжело сел на стол. Весь дом дрожал. Из темноты сводов посыпались лепные украшения. Спавшие на полу марсиане вскочили, озираясь. Новая, еще более сильная дрожь потрясла дом. Зазвенели разбитые стекла. Распахнулись двери. Низкий, усиливающийся раскатами грохот наполнил зал. Раздались крики на площади, выстрелы.

Марсиане, кинувшиеся к дверям, попятились, раздались. Вошел Сын Неба — Лось. Трудно было узнать его лицо: огромные глаза ввалились и были темны, странный свет шел из его глаз. Марсиане пятились от него, садились на корточки. Белые волосы его стояли дыбом.

— Город окружен, — сказал Лось громко и твердо, — небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.

КОНТРАТАКА

Лось и Гор выходили в эту минуту на лестницу дома, под колоннаду, когда раздался второй взрыв. Синеватым веером взлетело пламя в северной стороне города. Отчетливо стали видны вздымающиеся клубы дыма и пепла. Вслед грохоту пронесся вихрь. Багровое зарево поползло на полнеба.

Теперь ни одного крика не раздавалось на звездообразной площади, полной войск. Марсиане молча глядели на зарево. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.

Гусев после короткого совещания с Лосем и Гором распорядился приготовить воздушный флот к бою. Все корабли были в арсенале. Лишь пять этих огромных стрекоз лежали на площади. Гусев послал их в разведку. Корабли взвились — блеснули огнем их крылья.

Из арсенала ответили, что приказание получено и посадка войск на корабли началась. Прошло неопределенно много времени. Дымовое зарево разгоралось. Было зловеще и тихо в городе. Гусев поминутно посылал марсиан к зеркальному телефону торопить посадку. Сам он огромной тенью метался по площади, хрипло кричал, строя беспорядочные скопления войск в колонны. Подходя к лестнице, ощеривался, — усы вставали дыбом.

— Да скажите вы им в арсенале (следовало непонятное Гору выражение), — живее, живее...

Гор ушел к телефону. Наконец была получена телефонограмма, что посадка окончена, корабли снимаются. Действительно, невысоко над городом, в густом зареве появились парящие стрекозы. Гусев, расставив ноги, задрав голову, с удовольствием глядел на эти журавлиные линии. В это время раздался третий, наиболее сильный взрыв.

Мечи синеватого пламени пронизали путь кораблям, — они взлетели, закружились и исчезли. На месте их поднялись снопы праха, клубы дыма.

Между колонн появился Гор. Голова его ушла в плечи. Лицо дрожало, рот растянулся. Когда утих грохот взрыва, Гор сказал:

— Взорван арсенал. Флот погиб.

Гусев сухо крякнул, — стал грызть усы. Лось стоял, прижавшись затылком к колонне, глядел на зарево. Гор поднялся на цыпочках к его остекленевшим глазам.

— Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых.

Лось не ответил. Гусев упрямо мотнул головой и пошел на площадь. Раздалась его команда. И вот, колонна за колонной, пошли марсиане в глубину улиц, на баррикады.

Крылатая тень Гусева пролетела в седле над площадью, крича сверху:

— Живей, живей, поворачивайся, черти дохлые!

Площадь опустела. Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз: они взлетали, волна за волной, из-за горизонта и плыли над городом. Это были корабли Тускуба.

Гор сказал:

— Бегите, Сын Неба, вы еще можете спастись.

Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Навстречу им из темноты улиц взвился огненный шар, второй, третий. Это стреляли круглыми молниями маши-

ны повстанцев. Вереницы крылатых галер описывали круг над площадью и, разделяясь, плыли над улицами, над крышами. Непереставаемые вспышки выстрелов озаряли их борта. Одна галера перевернулась и, падая, застряла изломанными крыльями между крыш. Иные садились на углах площади, высаживали солдат в серебристых куртках. Солдаты бежали в улицы. Началась стрельба из окон, из-за углов. Летели камни. Кораблей налетало все больше, не переставая скользили багровые тени по площади.

Лось увидел, — невдалеке, на уступчатой террасе дома, поднялась плечистая фигура Гусева. Пять-шесть кораблей сейчас же повернули в его сторону. Он поднял над головой огромный камень и швырнул его в ближайшую из галер. Сейчас же сверкающие крылья закрыли его со всех сторон.

Тогда Лось побежал туда через площадь,— почти летел, как во сне. Над ним, сердито ревя винтами, треща, озаряясь вспышками, закружились корабли. Он стиснул зубы, глаза зорко отмечали каждую мелочь.

Несколькими прыжками Лось миновал площадь и снова увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами, — ворочался, как медведь, под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собою. Упал.

Лось вскрикнул громким голосом. Цепляясь за выступы домов, взобрался на террасу. Снова из кучи визжавших тел появилась, с выпученными глазами, с разбитым ртом, голова Гусева. Несколько солдат вцепились в Лося. С омерзением он отшвырнул их, кинулся к ворочающейся куче и стал раскидывать солдат, — они летели через балюстраду, как щенки. Терраса опустела. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.

Гусев хрипел. Лось вернулся к двери. Мимо террасы проплывали корабли, проплывали всматривающиеся востроносые лица. Надо было ожидать нападения.

— Мстислав Сергеевич, — позвал Гусев. Он теперь сидел, трогая голову, и плюнул кровью. — Всех наших побили... Мстислав Сергеевич, что же это такое? Как налетели, налетели, начали косить... Кто убитый, кто попрятался. Один я остался... Ах, жалость! — Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина. — Ну погоди! — Схватил статую и кинулся к двери.

— Алексей Иванович, зачем?

— Не могу. Пусти.

Он появился на террасе. Из-за крыльев мимо проплывавшего корабля блеснули выстрелы. Затем раздался удар, треск.

— Ага! — закричал Гусев.

Лось втащил его в комнату и захлопнул дверь.

— Алексей Иванович, поймите — мы разбиты, все кончено... Нужно спасать Аэлиту.

— Да что вы ко мне с бабой вашей лезете...

Он быстро присел, схватился за лицо, засопел, топнул ногой и — точно доску внутри него стали разрывать:

— Ну, и пусть кожу с меня дерут. Неправильно все на свете. Неправильная эта планета, будь она проклята! «Спаси, говорят, спаси нас...» Цепляются... «Нам, говорят, хоть бы как-нибудь да пожить...» Пожить!.. Что же я могу?.. Вот кровь свою пролил. Задавили. Мстислав Сергеевич, ну, ведь сукин же я сын, — не могу я этого видеть... Зубами мучительно разорву...

Он опять засопел и пошел к двери. Лось взял его за плечи, встряхнул, твердо взглянул в глаза.

— То, что произошло, — кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся. Домой, на Землю.

Гусев мазнул кровь и грязь по лицу.

— Идем.

Они вышли из комнаты на кольцеобразную площадку, висящую над широким колодцем. Винтовая лесенка спиралью уходила вниз по внутреннему его краю. Тусклый свет зарева проникал сквозь стеклянную крышу в эту головокружительную глубину.

Лось и Гусев стали спускаться по узкой лесенке, — там внизу было тихо. Но наверху все сильнее трещали выстрелы, скрипели, задевая крышу, днища кораблей. Видимо, началась атака на последнее прибежище Сынов Неба.

Лось и Гусев бежали по бесконечным спиралям. Свет тускнел. И вот они различили внизу маленькую фигурку. Она едва ползла навстречу. Остановилась, слабо крикнула:

— Они сейчас ворвутся. Спешите. Внизу — ход в лабиринт.

Это был Гор, раненный в голову. Облизывая губы, он сказал:

— Идите большими туннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на Землю, расскажите о нас. Быть может, вы на Земле будете счастливы. А нам — ледяные пустыни, смерть, тоска... Ах, мы упустили час... Нужно было свирепо и властно, властно любить жизнь...

Внизу послышался шум. Гусев побежал вниз. Лось хотел было увлечь за собой Гора, но марсианин стиснул зубы, вцепился в перила.

— Идите. Я хочу умереть.

Лось догнал Гусева. Они миновали последнюю кольцеобразную площадку. От нее лесенка круто спускалась на дно колодца. Здесь они увидели большую каменную плиту с ввернутым кольцом, — с трудом приподняли ее: из темного отверстия подул сухой ветер.

Гусев соскользнул вниз первым. Лось, задвигая за собой плиту, увидел, как на кольцеобразной площадке появились едва различимые в красном сумраке фигуры солдат.

Они побежали по винтовой лестнице. Гор протянул им руки навстречу и упал под ударами.

Лось н Гусев осторожио двигались в затхлой н душной темиоте.

— Заворачиваем, Мстислав Сергеевнч...

— Узко?

— Широко, руки не достают.

— Опять какне-то колоиии. Стой! Где же мы...

...Не менее трех часов прошло с тех пор, как оии спустилнсь в лабиринт. Спички были нзрасходоваиы. Фоиарик Гусев оброиил еще во время драки. Оии двигалнсь в иепроницаемой тьме.

Туинелн бескоиечио разветвлялись, скрещнвались, уходили в глубниу. Слышался ниогда четкнй, однообразиый шум падающих капель. Расшириеиные глаза различалн иеясиые, сероватые очертаиня, но эти зыбкие пятиа были лишь галлюцинациями темиоты.

— Стой.

— Что?

— Диа нет.

Оии стали прислушиваться. В лнцо им тянул сладкий, сухой ветерок. Издалека, словио нз глубнны, доносились какие-то вздохи — вдыханне и выдыхаиие. С иеясиой тревогой они чувствовали, что перед инмн пустая глубниа. Гусев пошарил под иогами камеиь и бросил его в темиоту. Спустя иемного секуид донесся слабый звук падення.

— Провал.

— А что это дышнт?

— Не знаю.

Оин повернули и встретнли стеиу. Шарнлн направо, иалево, — ладоии скользили по обсыпающнмся трещииам, по выступам сводов. Край иевиднмой пропастн был совсем близко от стеиы, — то справа, то слева, то опять справа. Онн понялн, что закружнлнсь и ие иайти прохода, по которому вошлн иа этот узкий карннз.

Они прислонилнсь рядом, плечо к плечу, к шершавой стеие. Стояли, слушая усыпительиые вздохн нз глубины.

— Конец, Алексей Иваиович?

— Да, Мстислав Сергеевнч, вндимо — коиец.

После молчання Лось спросил страиным голосом, негромко:

— Сейчас — ннчего не вндnте?

— Нет.

— Налево, далеко.

— Нет, иет.

Лось прошептал что-то про себя, переступил с ногн на ногу.

— Свнрепо н властно любить жизиь... Только так...

— Вы про кого?

— Про иих. Да н про нас.

Гусев тоже переступил, вздохнул.

— Вот она, слышнте, дышнт.

— Кто, — смерть?

— Черт ее зиает кто? — Гусев заговорнл, словно в раздумье. — Я об ией долго думал, Мстнслав Сергеевич. Лежнш в поле с внитовкой, дождик, темио. О чем ие думай — все к смертн вериешься. И вндишь себя, — валяешься ты оскаленный, окочеиелый, как обозная лошадь, сбоку дороги. Не знаю я, что будет после смертн, — этого ие зиаю. Но мие здесь, покуда я живой, нужио знать: падаль я лошадниая нли я человек? Или это все равио? Когда буду умирать, глаза закачу, зубы стнсиу, судорогой сломает, — кончился... в эту мнннуту — весь свет, все, что я монмн глазами вндел, — перевериется нлн ие перевериется? Вот что страшно, валяюсь я мертвый, оскаленный, — это я-то, ведь я себя с трех лет помию... а все иа свете продолжает идти своим порядком? Это иепоиятио. С девятьсот четырнадцатого людей убиваем, н мы прнвыклн — что такое человек? — приложился в иего из внитовки, вот тебе и человек. Нет, Мстислав Сергеевич, это ие так просто. Я ночью, раз, иа возу лежал, ранеиый, кверху иосом, — поглядываю иа звезды. Тоска, тошио. Вошь, думаю, да я, — не все ли равио. Вше пить, есть хочется, и мие. Вше умнрать трудио, и мие. Однн коиец. В это время гляжу — звезды высыпалн, как просо, — осень была, август. Как задрожнт у меня селезенка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, будто все звезды — внутрн меня. Нет, я — ие вошь. Нет. Как зальюсь я слезамн. Что это такое? Человек — ие вошь. Расколоть мой череп — ужасиое дело, велнкое покушеиие. А то — ядовнтые газы выдумали. Жить я хочу, Мстнслав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой... Что мы стоим, в самом деле?..

— Она здесь, — сказал Лось тем же страниым голосом.

В это время нздалека, по бесчнслеиным туинелям пошел грохот. Задрожал каринз под иогами, дрогиула стена. Посыпалнсь в тьму камнн. Волны грохота прокатилнсь и, уходя, затихли. Это был седьмой взрыв. Тускуб сдержал свое слово. По отдалеиности взрыва можно было определнть, что Соацера осталась далеко иа западе.

Некоторое время шуршали падающие камешкн. Стало тнхо, еще тнше. Гусев первый заметнл, что прекратнлнсь вздохн в глубиие. Теперь оттуда шлн странные звукн — шорох, шипенне, казалось — там закипала какая-то мягкая жидкость. Гусев теперь точио обезумел — раскииул руки по стене и побежал, вскрнкивая, ругаясь, отшвырнвая камии.

— Карннз кругом ндет. Слышнте? Должеи быть выход. Черт, голову расшиб! — Некоторое время он двнгался молча, затем проговорнл взволнованио откуда-то впереди Лося, продолжавшего иеподвнжно стоять у стены:— Мстнслав Сергеевич... Ручка... Рубильинк... Ей-ей, рубильинк...

Раздался внзжащнй, ржавый скрип. Пыльный свет вспыхиул под инзкнм кнрпичным куполом. Ребра плоских его сводов опиралнсь на узкое кольцо карннза, внсящего над круглой, метров десять в поперечннке шахтой.

Гусев все еще держался за рукоятку рубильиика. По ту сторону шахты, под аркой купола, привалился к стене Лось. Он ладонью закрыл глаза от режущего света. Затем Гусев увидел, как Лось отнял руку и взгляиул вниз, в шахту. Ои иизко иагиулся, вглядываясь. Ру-

ка его затрепетала, точно пальцы что-то стали встряхивать. Он поднял голову, белые его волосы стояли сиянием, глаза расширились, как от смертельного ужаса.

Гусев крикнул ему:

— Чего вы смотрите? — и только тогда взглянул в глубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. От нее шло это шипенье, усиливающийся зловещий шорох. Шкура поднималась, вспучивалась. Вся она была покрыта большими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами...

— Смерть! — закричал Лось.

Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в теплой глубине шахты, взрыв потревожил их, и они начали подниматься, вспучиваясь всей массой. Они издавали шипенье и шерстяной шорох... Вот один из пауков на задранных углами лапах побежал по карнизу.

Вход на карниз был неподалеку от Лося. Гусев закричал:

— Беги! — и сильным прыжком перелетел через шахту, царапнув черепом по купольному своду, — упал на корточки около Лося, схватил его за руку и потащил в проход, в туннель. Побежали что было силы.

Редко один от другого горели под сводами туннеля пыльные фонари. Густая пыль лежала на полу, на обломках колонн и статуй, на порогах узких дверей, ведущих в иные переходы. Гусев и Лось долго шли по этому коридору. Он окончился залой с плоскими сводами, с низкими колоннами. Посреди стояла разрушенная статуя женщины с жирным и свирепым лицом. В глубине чернели отверстия жилищ. Здесь тоже лежала пыль, — на статуе царицы Магр, на обломках утвари.

Лось остановился, глаза его были остекленевшие, расширенные.

— Их там миллионы, — сказал он, оглянувшись, — они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс...

Гусев увлек его в наиболее широкий, выходящий из залы туннель. Фонари горели редко и тускло. Шли долго. Миновали круглый мост, переброшенный через широкую щель, — на дне ее лежали суставы гигантских машин. Далее — опять потянулись пыльные, серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости. Лось несколько раз повторил тихим голосом:

— Пустите меня, я лягу.

Сердце его переставало биться. Ужасная тоска овладевала им, — он брел, спотыкаясь, по следам Гусева, в пыли. Капли холодного пота текли по лицу. Лось заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же еще более мощная сила отвела его от той черты, и он тащился полуживой в пустынных бесконечных коридорах.

Туннель круто завернул. Гусев вскрикнул. В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубово-синее, ослепительное небо и сияющая льдами и снегами вершина горы, — столь памятная Лосю. Они вышли из лабиринта близ Тускубовой усадьбы.

— Сын Неба, Сын Неба, — позвал тоненький голос.

Гусев и Лось подходили к усадьбе со стороны рощи. Из лазурных зарослей высунулось востроносое личико. Это был механик Аэлиты, мальчик в серой шубке. Он всплеснул руками и стал приплясывать, личико у него морщилось, как у тапира. Раздвинув ветви, он показал спрятанную среди развалин цирка крылатую лодку.

Он рассказал: ночь прошла спокойно, перед рассветом раздался отдаленный грохот, и появилось зарево. Он подумал, что Сыны Неба погибли, вскочил в лодку и полетел в убежище Аэлиты. Она также слышала взрыв и с высоты скалы глядела на пожарище. Она сказала мальчику: «Вернись в усадьбу и жди Сына Неба, если тебя схватят слуги Тускуба, умри молча; если Сын Неба убит, проберись к его трупу, найди на нем каменный флакончик, привези мне».

Лось, стиснув зубы, выслушал рассказ мальчика. Затем Лось и Гусев пошли к озеру, смыли с себя кровь и пыль. Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвились в сияющую синеву.

. . . .

Гусев и механик завели лодку в пещеру, легли у входа и развернули карту. В это время сверху, со скал, скатилась Иха. Глядя на Гусева, взялась за щеки. Слезы ручьями лились у нее из влюбленных глаз. Гусев радостно засмеялся.

Лось один спустился в пропасть к Священному Порогу. Будто крыло ветра несло его по крутым лесенкам, через узкие переходы и мостики. Что будет с Аэлитой, с ним, спасутся ли они, погибнут? — он не соображал: начинал думать и бросал. Главное, потрясающее будет то, что сейчас он снова увидит «рожденную из света звезд». Лишь заглядеться на худенькое голубоватое лицо, — забыть себя в волнах радости.

Стремительно перебежав в облаках пара горбатый мост над пещерным озером, Лось, как и в прошлый раз, увидал по ту сторону низких колонн лунную перспективу гор. Он осторожно вышел на площадку, висящую над пропастью. Поблескивал тусклым золотом Священный Порог.

Было знойно и тихо. Лосю хотелось с умилением, с нежностью поцеловать рыжий мох, следы ног на этом последнем прибежище любви.

Глубоко внизу поднимались бесплодные острия гор. В густой синеве блестели льды. Пронзительная тоска сжала сердце. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню уллы. Хребтатая ящерица, зашипев, побежала по камням и застыла, обернув головку.

Лось подошел к скале, к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру.

Освещенная с потолка светильней, спала

среди белых подушек Аэлита. Она лежала навзничь, закинув голый локоть за голову. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали, — должно быть, она видела сон.

Лось опустился у ее изголовья и глядел, умиленный и взволнованный, на подругу счастья и скорби. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо, чтобы остановить гибель прелести, юности, невинного дыхания, — она дышала, и прядка пепельных волос, лежавшая на щеке, поднималась и опускалась.

Лось подумал о тех, кто в темноте лабиринта дышит, шуршит и шипит в глубоком колодце, ожидая своего часа. Он застонал от страха и тоски. Аэлита вздохнула, просыпаясь. Ее глаза с минуту бессмысленно глядели на Лося. Брови изумленно поднимались. Обеими руками она оперлась о подушки и села.

— Сын Неба, — сказала она нежно и тихо, — сын мой, любовь моя...

Она не прикрыла наготы, лишь краска смущения взошла ей на щеки. Ее голубоватые плечи, едва развитая грудь, узкие бедра казались Лосю рожденными из света звезд. Лось продолжал стоять на коленях у постели, — молчал, потому что слишком велика была радость — глядеть на возлюбленную. Горьковато-сладкий запах шел на него грозовой темнотой.

— Я видела тебя во сне, — сказала Аэлита, — ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше. Я слышала стук твоего сердца. Кровь била в него и сотрясала. Томление охватило меня. Я ждала,— когда же ты остановишься, когда кончится томление? Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления... Ты разбудил меня. — Она замолчала, брови поднялись выше. — Ты глядишь так странно. О мой великан!

Она стремительно отодвинулась в дальний край постели. Губы ее приоткрылись, будто она хотела защищаться, как зверек. Лось тяжело проговорил:

— Иди ко мне.

Она затрясла головой.

— Ты похож на страшного Ча.

Он сейчас же закрыл лицо рукой, пронизанный усилием воли, и будто пламя охватило его, — в нем все теперь стало огнем. Он отнял руки, Аэлита тихо спросила:

— Что?

— Не бойся.

Она придвинулась и опять прошептала:

— Я боюсь Хао. Я умру.

— Не бойся. Хао — это огонь, это жизнь. Не бойся Хао. Сойди, любовь моя!

Он протянул к ней руки. Аэлита неслышно вздохнула, ресницы ее опустились, внимательное личико осунулось. Вдруг так же стремительно она поднялась на постели и дунула на светильник.

Ее пальцы запутались в снежных волосах Лося...

. . . .

За дверью пещеры раздался шум, будто жужжание множества пчел. Ни Лось, ни Аэлита не слышали его. Воющий шум усиливался. И вот — из пропасти медленно, как чудовищная оса, поднялся военный корабль, царапая носом о скалы.

Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях, в металлических ребристых шапках.

Солдаты стали полукругом перед пещерой. Тускуб подошел к треугольной двери и ударил в нее концом трости.

Лось и Аэлита спали глубоким сном. Тускуб обернулся к солдатам и приказал, указывая тростью на пещеру:

— Возьмите их.

БЕГСТВО

Военный корабль кружился некоторое время над скалами Священного Порога, затем уплыл в сторону Азоры и где-то сел. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели Лося, — он лежал близ входа в пещерку, лицом в мох, в луже крови.

Гусев поднял его на руки, — Лось был без дыхания, глаза плотно сжаты, на груди, на голове — запекшаяся кровь. Аэлиты нигде не было. Иха выла, подбирая в пещерке ее вещи. Она не нашла лишь плаща с капюшоном, — должно быть, Аэлиту, мертвую или живую, завернули в плащ, увезли на корабле. Иха завязала в узелочек то, что осталось от «рожденной из света звезд», Гусев перекинул Лося через плечо, и они пошли обратно через мосты над кипящим во тьме озером, по лесенкам, повисшим над туманной пропастью, — этим путем возвращался некогда Магацитл, неся привязанный к прялке полосатый передник девушки Аолов — весть мира и жизни.

Наверху Гусев вывел из пещеры лодку и посадил в нее Лося, завернутого в простыню, подтянул кушак, надвинул глубже шлем и сказал сурово:

— Живым в руки не дамся. Ну уж, если доберусь до Земли... Мы сюда вернемся... (Следовало три непонятных слова.) — Он влез в лодку, разобрал рули. — А вы, ребята, идите домой или еще куда. Лихом не поминайте. — Он перегнулся через борт и за руку попрощался с механиком и Ихой. — Тебя с собой не зову, Ихошка: лечу на верную смерть. Спасибо, милая, за любовь, этого мы, Сыны Неба, не забываем, так-то. Прощай.

Он прищурился на солнце, кивнул подбородком и взвился в синеву. Долго глядели Иха и мальчик в серой шубе на улетавшего Сына Неба. Они не заметили, что с юга, из-за лунных скал, поднялась, перерезая ему путь, крылатая точка. Когда Гусев утонул в потоках солнца, Иха ударилась о мшистые камни в таком отчаянии, что мальчик испугался, — уж не покинула ли и она печальную Туму.

— Иха, Иха, — жалобно повторял он, — хо туа мирра туа мурра...

Гусев не сразу заметил пересекавшнй ему путь военный корабль. Сверяясь с картой, поглядывая на уплывающие вниз скалы Лизиазиры, держал он курс на восток, к кактусовым полям, где был оставлен аппарат.

Позади него, в лодке, откинувшись, сидело тело Лося, покрытое бьющейся по ветру, липнущей простыней. Оно было неподвижно и казалось спящим, — в нем не было уродливой бессмысленности трупа. Гусев только сейчас почувствовал, как дорог ему товарищ.

Несчастье случилось так: Гусев, Ихошка и механик сидели тогда в пещере, около лодки,— смеялись. Вдруг внизу раздались выстрелы. Затем — вопль. И через минуту из пропастн поднялся, как коршун, военный корабль, бросив иа площадке бесчувственное тело Лося, — и пошел кружить, высматривать.

Гусев плюиул через борт, — до того опаршивел ему Марс. «Только бы добраться до аппарата, влнть Лосю глоток спирту». Он потрогал тело, — было оно чуть теплое: с тех пор как Гусев поднял его на площадке, в нем не было заметно окоченения. «Бог даст — отдышится» — Гусев по себе знал слабое действие марсианскнх пуль. «Но слншком уж долго длится обморок». В тревоге он обернулся к солнцу, клонящемуся на закат, и в это время увндел падающий с высоты корабль.

Гусев сейчас же повернул к северу, уклоняясь от встречн. Повернул н корабль. Время от времени на нем появлялись желтоватые дымки выстрелов. Тогда Гусев стал иабирать высоту, рассчнтывая при спуске удвоить скорость и уйти от преследователя.

Свистел в ушах ледяной ветер, слезы застилали глаза, замерзали на ресницах. Стая неряшливо махающих крыльями, омерзнтельных ихи кинулась было на лодку, но промахнулась и отстала. Гусев давно уже потерял направленне. Кровь била в виски, разряженный воздух хлестал ледяными бичамн. Тогда полным ходом Гусев пошел вниз. Корабль отстал и скрылся за горнзонтом.

Теперь внизу расстилалась, куда только хватит глаз, медно-красная пустыня. Ни деревца, ни жизнн кругом. Одна только тень от лодки летела по плоскнм холмам, по волнам песка, по трещинам поблескнвающей, как стекло, каменнстой почвы. Кое-где на холмах бросалн уиылую теиь развалииы жнлнщ. Повсюду борозднлн эту пустыню высохшне русла каиалов.

Солнце клоннлось нниже к ровному краю песков, разливалось медное, тосклнвое сняние заката, а Гусев все вндел внизу волны песка, холмы, развалнны засыпаемой прахом, умнрающей Тумы.

Быстро настала ночь. Гусев опустнлся н сел на песчаной равнине. Вылез из лодкн, отогнул иа лнце Лося простыню, приподнял его векн, прижался ухом к сердцу, — Лось сидел не живой н ие мертвый. У него на мнзинце Гусев заметнл колечко н внсящнй на цепочке открытый флакончнк.

— Эх, пустыня, — сказал Гусев, отходя от лодкн. Ледяиые звезды загорелись в необъятио-высоком черном иебе. Пескн казалнсь серыми от их света. Было так тихо, что слышался шорох песка, осыпающегося в глубоком следу иоги... Мучила жажда. Находила тоска. — Эх, пустыня! — Гусев вериулся к лодке, сел к рулям. Куда лететь? Рнсунок звезд был днкий и незнакомый.

Гусев включил мотор, но винт, лениво покрутившись, остановился. Мотор не работал, — коробка со взрывчатым порошком была пуста.

— Ну, ладно, — негромко проговорил Гусев. Опять вылез из лодки, засунул дубину сзади, за пояс, вытащил Лося, — идем, Мстислав Сергеевич, — положил его на плечо и пошел, увязая по щиколотку в песке. Шел долго. Дошел до холма, положил Лося на занесенные ступени какой-то лестницы, оглянулся на одинокую, в звездном свету, колонну на верху холма — н лег ничком. Смертельная усталость, как отлив, зашумела в крови.

Он не знал, долго ли так пролежал без движения. Песок холодил, стыла кровь. Тогда Гусев сел, — в тоске поднял голову. Невысоко над пустыней стояла красноватая мрачная звезда. Она была, как глаз большой птицы. Гусев глядел на иее, разннув рот.

— Земля! — Схватил в охапку Лося и побежал в сторону звезды. Он знал теперь, в какой стороне лежнт аппарат.

Со свнстом дыша, обливаясь потом, Гусев переноснлся огромными прыжками через канавы, вскрнкивал от ярости, спотыкаясь о камни, бежал, бежал, — н плыл впереди него близкий темный горнзонт пустыни. Несколько раз Гусев ложился лицом в холодный песок, чтобы освежить хоть парами влагн запекшийся рот. Подхватывал товарища и снова шел, поглядывая на красноватые лучи Землн. Огромная его тень одиноко двнгалась среди мирового кладбища.

Взошла острым серпом ущербная Олла. В середнне ночн взошла круглая Лихта,— свет ее был кроток н серебрнст, двойные тенн леглн от воли песка. Две этн странные луиы поплылн — одна ввысь, другая иа ущерб. В свету нх померк Талцетл. Вдалн поднялнсь ледяные вершнны Лнзиазнры.

Пустыня кончнлась. Было близко к рассвету. Гусев вышел в кактусовые поля. Повалил ударом ноги одно нз растеннй и жадно насытнлся шевелящнмся водяннстым его мясом. Звезды гаслн. В лиловом небе проступалн розоватые края облаков. И вот Гусев стал слышать, будто удары железных вальков, однообразный металлнческнй стук, отчетливый в тншнне утра.

Гусев скоро понял его значенне: над зарослямн кактуса торчалн три решетчатые мачты военного корабля-преследователя. Удары неслнсь оттуда, — это марснане разрушалн аппарат.

Гусев побежал под прнкрытием кактусов н одновременно увндел н корабль н рядом с ним заржавелый огромный горб аппарата. Десятка два марсиан колотилн по клепаной его обшивке большнмн молотками. Вндимо, работа только что началась. Гусев положил Лося на песок, вытащнл нз-за пояса дубину.

— Я вас, сукнны детн! — не своим голо

сом завизжал Гусев, выскакивая из-за кактусов. Подбежал к кораблю и ударом дубины раздробил металлнческое крыло, сбил мачту, ударил в борт, как в бочку. Из внутренности корабля выскочили солдаты. Бросая оружие, горохом посыпались с палубы, побежали врассыпиую. Солдаты, разбивавшие аппарат, с тихим воем поползли по бороздам, скрылись в зарослях. Все поле в минуту опустело, — так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти Сыном Неба.

Гусев отвинтил люк, подтащил Лося, и оба Сына Неба скрылись внутри яйца. Крышка захлопиулась. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели иеобыкновенное и потрясающее зрелище.

Огромное ржавое яйцо, величиною с дом, загрохотало, поднялись из-под него коричневые облака пыли н дыма. Под страшными ударамн задрожала Тума. С ревом и громовым грохотом гигантское яйцо запрыгало по кактусовому полю. Повисло в облаках пыли и, как метеор, метнулось в иебо, унося свирепых Магацитлов на их родину.

НЕБЫТИЕ

— Ну что, Мстислав Сергеевич, — живы?

Обожгло рот. Жидкий огонь пошел по телу, по жилам, по костям. Лось раскрыл глаза. Пыльная звездочка горела иад ним совсем низко. Небо было странное, — желтое, стеганое, как сундук. Что-то стучало, стучало мерными ударами, дрожала пыльная звездочка.

— Который час?

— Часы-то остановились, вот горе, — ответил голос.

— Мы давно летим?

— Давно, Мстислав Сергеевич.

— А куда?

— А черт его знает, — ничего ие могу разобрать, тьма да звезды... Прем в мировое пространство.

Лось опять закрыл глаза, силясь проникнуть в пустоту памяти, но в памяти ничего не раскрылось, и он снова погрузился в непроглядный сон.

Гусев укрыл его потеплее н вернулся к наблюдательным трубкам. Марс казался теперь меньше чайного блюдечка. Лунными пятнами выделялись на нем днища высохших морей, мертвые пустынн. Диск Тумы, засыпаемой песками, все уменьшался, все дальше улетал от него аппарат куда-то в кромешную тьму. Изредка кололо глаз лучиком звезды. Но сколько Гусев нн всматривался, — нигде не было видно красной звезды.

Гусев зевнул, щелкнул зубами, — такая одолевала его скука от пустого пространства вселенной. Осмотрел запасы воды, пищи, кислорода, завернулся в одеяло н лег на дрожащий пол рядом с Лосем.

Прошло неопределенно много временн. Гусев проснулся от голода. Лось лежал с открытыми глазами, — лицо у него было в морщинах, старое, щеки ввалились. Он спросил тихо:

— Где мы сейчас?

— Все там же, Мстислав Сергеевич, — в пространстве.

— Алексей Иванович, мы были на Марсе?

— Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибло.

— Да, у меня что-то случилось... вспоминаю, и воспоминания обрываются как-то неопределенно. Не могу понять, что было на самом деле, — все как будто сон. Дайте пить...

Лось закрыл глаза и немного погодя спросил дрогиувшим голосом:

— Она — тоже сон?

— Кто?

Лось не ответил, опустил голову, закрыл глаза.

Гусев поглядел через все глазки в небо, — тьма, тьма. Натянул на плечи одеяло и сел, скорчившись. Не было охоты ни думать, ни вспоминать, ни ожидать. К чему? Усыпительно постукивало, подрагивало железное яйцо, несущееся с головокружительной скоростью в бездонной пустоте.

Проходило какое-то непомерно долгое, неземное время. Гусев сидел, скорчившись, в оцепенелой дремоте. Лось спал. Холодок вечности осаждался невидимой пылью на сердце, на сознание.

Страшный вопль разодрал ушн. Гусев вскочил, тараща глаза. Кричал Лось, — стоял среди раскнданных одеял, марлевый бинт сполз ему на лицо.

— Она жива!

Он поднял костлявые руки и кинулся на кожаную стену, колотя в нее, царапая ногтями.

— Она жива! Выпустите меня... Задыхаюсь... Она была, была!..

Он долго бился н кричал, — и повнс, обессиленный, на руках у Гусева. И снова затих, задремал.

Гусев опять скорчнлся под одеялом. Угасли, как пепел, желания, коченели чувства. Слух прнвык к железному пульсу яйца н не улавливал более звуков. Лось бормотал во сне, стонал, иногда лицо его озарялось счастьем.

Гусев глядел на спящего и думал: «Хорошо тебе во сне, милый человек. И не надо, не просыпайся, спи, спи... Проснешься — сядешь вот так-то, на корточки, под одеялом, — дрожи, как ворон на мерзлом пне. Ах, ночь, ночь, конец последний...»

Ему не хотелось даже закрывать глаза, — так он н сидел, глядя на какой-то поблескивающий гвоздик... Наступало великое безразличие, надвигалось небытие...

Так пронеслось непомерное пространство времени.

Послышались странные шорохн, постукивания, прикосновения каких-то тел снаружи о железную обшивку яйца.

Гусев открыл глаза. Сознание возвращалось, он стал слушать — казалось, аппарат продвигается среди скоплений камней н щебня. Что-то навалилось и поползло по стене.

Шумело, шуршало. Вот ударило в другой бок, — аппарат затрясся. Гусев разбудил Лося. Они поползли к наблюдательным трубкам, и сейчас же оба вскрикнули.

Кругом, во тьме, расстилались поля сверкающих, как алмазы, осколков. Камни, глыбы, кристаллические грани сняли острыми лучами. За огромной далью этих алмазных полей в черной ночи висело косматое солнце.

— Должно быть, мы проходим голову кометы, — шепотом сказал Лось. — Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей, иначе комета увлечет нас к солнцу.

Гусев полез к верхнему глазку, Лось стал к реостатам. Удары в обшивку яйца участились, усилились. Гусев покрикивал сверху:

— Легче — глыба справа... Давайте полный... Гора, гора летит... Проехали... Ходу, ходу, Мстислав Сергеевич.

ЗЕМЛЯ

Алмазные поля были следами прохождения блуждавшей в пространствах кометы. Долгое время аппарат, втянутый в ее тяготение, пробирался среди небесных камней. Скорость его непрестанно увеличивалась, действовали абсолютные законы математики — понемногу направление полета яйца и метеоритов изменилось: образовался все расширяющийся угол. Золотистая туманность — голова неведомой кометы и ее след — потоки метеоритов — уносились по гиперболе — безнадежной кривой, чтобы, обогнув солнце, навсегда исчезнуть в пространствах. Кривая полета аппарата все более приближалась к эллипсису.

Почти неосуществимая надежда возврата на Землю пробудила к жизни Лося и Гусева. Теперь, не отрываясь от глазков, они наблюдали за небом. Аппарат сильно нагревался с одной стороны солнцем, — пришлось снять одежду.

Алмазные поля остались далеко внизу: казались искорками, — стали беловатой туманностью и исчезли. И вот — в огромной дали был обнаружен Сатурн, переливающийся радужными кольцами, окруженный спутниками.

Яйцо, притянутое кометой, возвращалось в солнечную систему, откуда было вышвырнуто центробежной силой Марса.

Одно время тьму прорезывала светящаяся линия. Скоро и она побледнела, погасла. Это были астероиды — маленькие планеты, бесчисленным роем вьющиеся вокруг солнца. Сила их тяготения еще сильнее изогнула кривую полета яйца. Наконец в один из верхних глазков Лось увидел странный, ослепительный узкий серп, — это была Венера. Почти в то же время Гусев, наблюдавший в другой глазок, страшно засопел и обернулся, — потный, красный.

— Она, ей-богу она!..

В черной тьме тепло сиял серебристо-синеватый шар. В стороне от него и ярче его светился шарик величиной с ягоду смородины. Аппарат мчался немного в сторону от них. Тогда Лось решился применить опасное приспособление — поворот горла аппарата, чтобы отклонить ось взрывов от траектории полета. Поворот удался. Направление стало изменяться. Теплый шарик понемногу перешел в зенит.

Летело, летело пространство времени. Лось и Гусев то прилипали к наблюдательным трубкам, то валились среди раскиданных шкур и одеял. Уходили последние силы. Мучила жажда, вода вся была выпита.

И вот, в полузабытьи, Лось увидел, как шкуры, одеяла и мешки поползли по стенам. Повисло в воздухе голое по пояс тело Гусева. Все это было похоже на бред. Гусев оказался лежащим ничком у глазка. Вот он приподнялся, бормоча, схватился за грудь, замотал вихрастой головой, лицо его залилось слезами, усы обвисли.

— Родная, родная, родная!..

Сквозь муть сознания Лось все же понял, что аппарат повернулся и летит горлом вперед, увлекаемый тягой Земли. Он пополз к реостатам и повернул их, — яйцо задрожало, загрохотало. Он нагнулся к глазку.

Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми — очертания островов, облачные поля застилали какой-то материк. Влажный шар медленно поворачивался. Слезы мешали глядеть. Душа, плача от любви, летела навстречу голубовато-влажному столбу света. Родина человечества! Плоть жизни! Сердце мира!

Шар Земли закрывал полнеба. Лось до отказа повернул реостаты. Все же полет был стремителен, — оболочка накалилась, закипел резиновый кожух, дымилась кожаная обивка. Последним усилием Гусев повернул крышку люка. В щель с воем ворвался ледяной ветер. Земля раскрывала объятия, принимала блудных сынов.

Удар был силен. Обшивка лопнула. Яйцо глубоко вошло горлом в травянистый пригорок.

Был полдень, воскресенье, третьего июня. На большом расстоянии от места падения, — на берегу озера Мичиган, катающиеся на лодках, сидящие на открытых террасах ресторанов и кофеен, играющие в теннис, гольф, футбол, запускающие бумажные змеи в безоблачное небо, — все это множество людей, выехавших в день воскресного отдыха насладиться прелестью зеленых берегов, шумом июньской листвы, слышало в продолжение пяти минут странный воющий звук.

Люди, помнившие времена мировой войны, говорили, оглядывая небо, что так обычно ревели снаряды тяжелых орудий. Затем многим удалось увидеть быструю, скользнувшую на землю яйцевидную тень.

Не прошло и часа, как большая толпа собралась у места падения аппарата. Любопытствующие бежали со всех сторон, перелезали через изгороди, мчались на автомобилях, на лодках по синему озеру. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись, на пригорке. Было высказано

множество предположений, одио другого нелепее. В особенности же в толпе началось волненне, когда была прочитана вырубленная зубилом на полуоткрытой крышке люка надпнсь: «РСФСР. Вылетелн из Петрограда 18 августа 192... года». Это было тем более удивнтельно, что сегодня было третье июня тысяча девятьсот... Словом, пометка на аппарате была сделаиа трн с половиной года тому иазад.

Когда затем нз внутренностн таинственного аппарата послышались слабые стоны, толпа в ужасе отодвииулась и затнхла. Появился отряд полнцнн, врач н двенадцать корреспондентов с фотографнческимн аппаратами. Открылн люк и с велнчайшнми предосторожиостями вытащнли нз внутренностн яйца двух полуголых людей: однн худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознаиия, другой, с разбнтым лнцом и сломанными рукамн, жалобно стонал. В толпе раздались крики сострадания, женский плач. Небесных путешественнков положили в автомобиль и повезлн в больницу.

Хрустальным от счастья голосом пела птнца за открытым окном. Пела о солнечном луче, о сннем небе. Лось, неподвижно лежа на подушках, — слушал. Слезы текли по морщииистому лнцу. Ои где-то уже слышал этот хрустальный голос. Но где, когда?

За окном с полуоткнутой, слегка надутой утренним ветром шторой сверкала сизая роса на траве. Влажные листья двигались тенямн на шторе. Пела птица. Вдалн из-за леса поднималось белое плотное облако.

Чье-то сердце тосковало по этой земле, по облакам, по шумным ливням н сверкающим росам, по великанам, бродящим среди зеленых холмов... Он вспомиил — так в солнечное утро не на Земле пела птица о снах Аэлиты. ...Аэлита... Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет. Птнца бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая, как сумеркн, с печальным худеньким лнцом, сидя ночью у костра, пела древнюю песню любвн.

Вот отчего текли слезы по морщиннстым щекам Лося. Птнца пела о той, что осталась за звездамн, н о седом, морщнннстом, старом мечтателе, облетевшем небеса.

Ветер снльнее надул штору, нижний край ее мягко плеснул, — в комиату вошел запах меда, землн, влаги.

В одно такое утро в больннце появился Скайльс. Ои крепко пожал руку Лося, — «поздравляю, дорогой друг», — сел на табурет около постели, сдвниув шляпу иа затылок.

— Вас снльно подвело за это путешествие, старина, — сказал он, — только что был у Гусева, вот тот молодцом: руки в гнпсе, сломана челюсть, но все время смеется, — очень доволеи, что вернулся. Я послал в Петроград его жеие телеграмму и пять тысяч долларов. По поводу вас телеграфнровал в мою газету, — получите огромную сумму за «Путевые наброски». Но вам прндется усовершенствовать аппарат, — вы плохо опустились. Черт возьми, — подумать, — прошло почти четыре года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпнть рюмку хорошего коньяку, это вернет вас к жизни.

Скайльс болтал, весело и заботливо поглядывая иа собеседнника, — лицо у него было загорелое, беспечное, глаза полны жадного любопытства. Лось протянул ему руку.

— Я рад, что вы прншли, Скайльс.

ГОЛОС ЛЮБВИ

Облака снега летели вдоль Ждановской набережной, ползлн поземкой по тротуарам, сумасшедшие хлопья крутнлись у качающнхся фонарей; засыпало подъезды н окна, за рекой метель бушевала в воющем парке.

По набережной шел Лось, подияв воротннк н согнувшись иавстречу ветру. Теплый шарф внлся за его спнной, ногн скользнли, лнцо секло снегом. В обычный час он возвращался с завода домой, в однннокую квартнру. Жнтели набережной привыклн к его широкополой шляпе, к шарфу, закрывающему ннз лнца, к сутулым плечам, н даже, когда он кланялся и ветер взвевал его белые волосы, — ннкого уже более не удивлял страиный взгляд его глаз, видевшнх однажды то, чего еще никто не видел.

В иные времена какой-нибудь юный поэт иепременно бы вдохновился его нелепой фнгурой с развевающнмся шарфом, бредущей средн снежных облаков. Но времена теперь былн нные: поэтов восхнщалн не вьюжные бурн, не звезды, не заоблачные страны, — но стук молотов по всей стране, шипение пил, шорох серпов, свнст кос, — веселые земные песнн.

Прошло полгода со дня возвращения Лося иа Землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прнбытии с Марса двух людей. Лось и Гусев съели положенное чнсло блюд на ста пятндесятн банкетах, ужинах н ученых собраниях. Гусев выпнсал нз Петрограда Машу, нарядил ее, как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоцнклет, стал носнть круглые очкн, полгода разъезжал по Амернке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы, про то, как они с Лосем едва не улетели на Большую Медведицу, — и, вернувшись в Советскую Россню, основал «Общество для переброскн боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося иаселения».

Лось в Петрограде иа одном из механическнх заводов стронл уннверсальный двнгатель марсианского типа.

К шести часам вечера он обычно возвращался домой. Ужинал в одиночестве. Перед сном раскрывал книгу, — детским лепетом казалнсь ему строкн поэта, детской болтовней измышления романиста. Погасив свет, он долго лежал, глядел в темноту, — теклн, текли одинокие мысли.

В обычный час Лось проходил сегодня по набережной. Облака снега взвивались в высоту, в бушующую вьюгу. Курились карнизы, крыши. Качались фонари. Спирало дыхание.

Лось остановился и поднял голову. Ветер разорвал вьюжные облака. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее безумным взором, — луч ее вошел в сердце... «Тума, Тума, звезда печали...» Летящие края облаков снова задернули бездну, скрыли звезду. В это короткое мгновение в памяти Лося с ужасающей ясностью пронеслось видение, всегда до этого ускользавшее от него.

. . . .

Сквозь сон послышался шум — будто сердитое жужжание пчел. Раздались резкие удары — стук. Спящая Аэлита вздрогнула, вздохнула, пробуждаясь, и затрепетала, он не видел ее в темноте пещерки, лишь чувствовал, как бьется ее сердце. Стук в дверь повторился. Раздался снаружи голос Тускуба: «Возьмите их». Лось схватил Аэлиту за плечи. Она едва слышно сказала:

— Муж мой, Сын Неба, прощай.

Ее пальцы быстро скользнули по его лицу. Тогда Лось ощупью стал искать ее руку и отнял у нее флакончик с ядом. Она быстро, быстро — одним дыханием — забормотала ему в ухо:

— На мне запрещение, я посвящена царице Магр... По древнему обычаю, страшному закону Магр, — девственницу, преступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт, в колодец. Ты видел его... Но я не могла противиться любви Сына Неба. Я счастлива. Благодарю тебя за жизнь. Ты вернул меня в тысячелетия Хао. Благодарю тебя, муж мой...

Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги, — ее было еще много во флакончике. Аэлита едва успела коснуться его. Удары в дверь заставили Лося подняться, но сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он вернулся к постели, упал на тело Аэлиты, обхватил ее. Он не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием он рванулся за краем ее черного плаща, но вспышки выстрелов, тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры...

. . . .

Преодолевая ветер, Лось побежал по набережной. И снова остановился, закрутился в снежных облаках и, так же как тогда — в тьме вселенной, — крикнул:

— Жива, жива!.. Аэлита, Аэлита!..

Ветер бешеным порывом подхватил это впервые произнесенное на Земле имя, развеял его среди летящих снегов. Лось сунул подбородок в шарф, сунул руки глубоко в карманы, побрел, шатаясь, к дому.

У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару.

— Я за вами, Мстислав Сергеевич, — крикнул он весело, — садитесь в машину, едем.

Это был Гусев. Он наскоро объяснил: сегодня, в семь часов вечера, радиотелефонная станция ожидает — как и всю эту неделю — подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Целую неделю газеты всех частей света заняты догадками по поводу этих сигналов, — есть предположение, что они идут с Марса. Заведующий радиостанцией приглашает Лося сегодня вечером принять таинственные волны.

Лось молча прыгнул в автомобиль. Бешено заплясали белые хлопья в конусах света. Рванулся вьюжный ветер в лицо. Над снежной пустыней Невы пылало лиловое зарево города, сияние фонарей вдоль набережных, — огни, огни... Вдали выла сирена ледокола, где-то ломающего льды.

В конце улицы Красных Зорь, на снежной поляне, под свистящими деревьями, у домика с круглой крышей, автомобиль остановился. Пустынно выли решетчатые башни и проволочные сети, утонувшие в снежных облаках. Лось распахнул заметенную сугробом дверцу, вошел в теплый домик, сбросил шарф и шляпу. Румяный толстенький человек стал что-то объяснять ему, держа его покрасневшую от холода руку в теплых пухлых ладонях. Стрелка часов подходила к семи.

Лось сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов ползла. О время, торопливые удары сердца, ледяное пространство вселенной!..

Медленный шепот раздался в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова повторился отдаленный, тревожный, медленный шепот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух. Словно тихая молния, пронзил его сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке:

— Где ты, где ты, где ты, Сын Неба?

Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами... Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича, — где ты, где ты, любовь?..

1923

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

НАВОЖДЕНИЕ

Был я в ту пору послушником в Спасском монастыре, пел на клиросе тонким голосом. Зиму пропоешь — ничего, а после Великого поста — маета: от плоти кожа останется на костях. Стоишь, стоишь всю ночь на клиросе, — и поплывет душа над свечами, как клуб ладана... И сладко и, знаю, грех. А за окнами березы набухли, ночь звездная, — весна к самому храму подступила. Мочи нет!

На Фоминой уходил из монастыря иеромонах Никанор к печерским святителям за благодатью. С ним я и отпросился. Трое суток у кельи архимандрита на коленях простоял, побои принял и брань; говорю — душа просится, отпусти. Молению моему внял.

И вышли мы с Никанором из ворот, прямо полем на полдень в степи. В траве и в небе птицы поют. Теплый ветер треплет волосы. Верст пять отошли, разулись и опять побрели вдоль речки. Никанор мне и говорит:

— Вот так-то, Рыбынька, и в раю будет.

Был у нас тогда царем Петр, нынешней государыни родной отец. Чай, слыхали? С великим береженнием приходилось идти по дорогам. Бродячих ловили драгуны. Или привяжется на базаре ярыжка, с сомнением — не беглый ли? И тащит в земскую избу, не глядит на духовный сан. Ну, откупались: кому копейку дашь, от кого схоронишься в коноплю.

Добрели мы так до Украины. Земля широкая. Кое-где дымок виден, чумаки воза отпрягли, кашу варят; кое-где засеки от татар. Кругом трава, да птицы, да облака за краем, да каменные бабы на курганах.

Чумаки кормили нас кашей и вяленой рыбой, что везли вместе с солью из Перекопа. Везли не спеша: верст десять отъедут и заночуют, разложат костры из сухого навоза, сядут вокруг, поджав по-турецки ноги, глядят на огонь, курят трубки.

И наслушались мы рассказов про Рим и про Крым, про Ясняньски корчмы, и про гетмана, и про такие вещи, которые и вспоминать-то на ночь не совсем хорошо было.

Ближе к Днепру хутора стали попадаться чаще; заходили в них ночевать Христовым именем; пускали всюду. И здесь стало мне много труднее.

Видим — плетень, на нем горшки, рубашки сушатся, за ивами — белая хата, кругом подсолнухи стоят. Прибежит, забрешет собачка, и на голос выглянет из-за угла девица или бабенка, такая лукавая! Богом прошу Никанора:

— Бей меня посохом без пощады!

Зайдем в клеть, рубаху задеру: бей, говорю, бей, а то боюсь, не дойду до Киева, брошу тебя.

И хотя побои принимал великие, но помогали они мало. Так добрались мы до Батурина; постучались ночевать в самую что ни на есть плохонькую избенку, на краю города, у старой старушки. А чуть свет — вышли на базарную площадь, что у земляного вала. Купили калача и тарани. Сели на лавочку и едим. А рыба соленая.

Смотрю — Никанор все на окошко косится. В нем толстый, опухлый шинкарь глаза трет, зевает. Никанор мне и говорит:

— Рыбынька, поди попроси у шинкаря вина на копейку, — так бог велит.

Я подошел к окну, показывая копейку. Шинкарь повертел ее, положил за щеку, вынес нам вина штоф. Мы с молитвой хлебнули, и еда много спорее пошла. Никанор жмурится. Тут солнце встало над степью, и начал народ прибывать. Кто колесо новое катит, кто тащит лагун с дегтем; цыгане проехали на лошадях, до того черные, кудрявые, как черти страшные; в балаганах корыта, железо разное, шапки — хороши шапки! — горшки расписанные, дудки, польские пояса, — чего только нет в Батурине! Век бы так просидел на лавке!

Подходит к нам казак небольшого роста, худощавый; сел рядом на лавку, глядит, ус начал жевать. А вина у нас в склянке еще половина осталась.

— Вы, — спрашивает казак, — не здешние, москали?

Я ему отвечаю тонким голосом, вежливо:

— Совершенно верно; мы из Великой России, странные люди, идем в пещеры, к святителям.

— А вино, — спрашивает казак, — вы почем у шинкаря брали?

Тут ему Никанор отвечает еще слаще:

— На копейку брали, сынок. А ты не томись, откушай с нами.

И подает ему вино и рыбью голову пожевать.

Казак до донышка склянку вытянул, стряхнул капли в траву, рыбью голову пожевал и подсел ближе.

— Вижу я, — доподлинно вы люди духовные, обычай у вас не воровской, не тяжелый. Надо бы вам к нашему атаману зайти. Он до странных людей милостив и подает милостыню.

— Что же, еслн мнлостнв, можно н зайтн к атаману, — говорнт Никанор. — Собирай, Рыбынька, крошкн в мешок.

И повел нас казак Иван через город на атаманову усадьбу. Подходнм не без опаскн: у ворот пушки стоят. В траве спнт сторож с тесаком. На дворе службам — чнсла иет, все белые, выбеленные; атаманов дом длнниый, низенький, с высокой соломенной крышей, н весь деревьями заслонен. Вдалеке внден храм о пятн главах. Место днвиое. Поднвилнсь мы н на птнц, что, не боясь, ходнли между кур н собак, раскрывали хвосты как лазоревый куст; поднвнлнсь н на коней, — вывелн нх жолнеры чистнть: ногайские нноходцы, горбоносые скакуны с Дону, рейтарскне вороные жеребцы на цепях — таковы злы.

Велнкнм богатством владел пан Кочубей, наказной атаман, генеральный судья...

Иваи оставнл нас у людской, велел ждать, а сам ушел. Спешнть некуда, — селн мы на крылечко, Никанор н говорит:

— Про Кочубея сказывал мне наш архнмандрнт, — он сам нз здешннх, не то нз Диканьки. Думать надо, Кочубей хочет ему пнсьмо послать илн поклон.

И стал переобуваться, — лапти новые прнладнл, ношеные спрятал в суму, коснцу заплел, и рукн вымыл, н мне то же велел сделать.

К вечерне прншел Иваи н повел нас через сад в церковь. Что за сад! Густой н прекрасный. Вдоль дорожкн стояла снрень, до самой землн легла цветамн: такая пышная. От духу ее Никанор носом повел н ткнул меня иогтем в щеку:

— Запомни, запомнн сей сад. Когда помнрать будешь — огляннсь!

И вот уже смерть моя скоро, н я не забыл этих слов и того прекрасного сада.

После вечернн вышла к нам атаманова жена, Любовь, и расспрашнвала, и Ннканор ей отвечал. И она велела нам ндтн в дом ужннать. Селн мы в беленой большой кухне за двумя столамн. Ннкаиор — к малому столу, под образами, а я — блнже к дверн, с челядью, казаками н Кочубеевым сыном. Снднм, еды не касаемся. Вдруг слышу — дверн в горнннцах захлопалн, ндет человек, по шагам слышио — властный. Я вытянул голову нз-за крнвого казака, что локтем прндавнл меня к стене, внжу — вошел Кочубей, прнземистый, шнрокой костн мужчнна, горбоносый, н голова не брнтая, как у казаков, а курчавый, седой, с седымн же усами ннже плеч.

Вошел, на нас нз-под бровей посмотрел н к образам повернулся. Мы поднялись и запелн вечернюю молнтву н Отче наш. И я, к слову сказать, глядя на могучнй затылок атаманов, соловьем залнлся, — до того угоднть захотелось такому дородному боярину. Отпев, сели. Молодая жеика, стряпуха, подиесла каждому по чарке горнлки, поставила щей в мнсках, и я оскоромился.

Напротив меия сидел молодой казак. Смотрю — потупнлся н ие ест, мосол положнл, и кровь у иего так н взошла на щеки. Эти дела я очеиь поимал в то время. Опять выглянул нз-за крнвого, — за малым столом снднт Кочубей, рядом с ннм Ннканор жмется, напротнв — Любовь, атаманша, черноватая старуха, к слову сказать, мало похожая на боярыню, а вроде ведьмы, про которую нам чумакн рассказывалн, и спнной ко мне, на раскладном стуле, — когда она вошла, сам не знаю, — сидит женщина молодая нлн девнца, на руку облокотилась, голую до локтя, в парчовом платье не нашего крою, перетянутая, с пышнымн рукавамн, н две темные косы у нее вокруг головы окручены. Слышу, говорнт ей Любовь:

— Ты нос не воротн от отцовской пнщн, для тебя, матушка, отдельного нынче не варнли.

Пожевала губами н — Ннканору:

— Вот, отец, послал нам господь за грехн горе с дочерью.

Но тут ей Кочубей басом:

— А ты, Любовь, помалкнвай, лучше будет, да... — И дочери пододвннул локтем мнску с варениками. — Ешь, ешь, Матрена!

Она взяла спнцей вареннк, внжу — скушала н опять подперлась. Но тут н на наш стол подалн вареннков шесть мнсок, крнвой казак засопел, заложнл усы за ушн и так затесннл меия, что за его спнной я так больше н не увндал красавнцы.

Когда все разошлнсь, Иван позвал нас в горнвцу. Там сндел Кочубей на подушке, сосал трубку, отдувался.

— Вы, — спроснл он, — в Киеве недолго задержнтесь? Оттуда прямо домой?

— К жиитву надо быть домой, — отвечал Ннканор.

— В Москву заходнть не будете?

— Нет, в Москву нам заходить большой крюк.

— Ну, ну, — н полез Кочубей в шаровары, — вот, отец, отнесешь в монастырь два рубля — жертва, а это тебе ефнмок, а это товарнщу твоему, — н подает мне семь алтыи.

Мы благодарнть сталн, кланяться. Вошла Любовь, тоже с дарамн: по холсту нам польского полотна, да по два полотенца, да пнрог большой на дорогу. Дары положнла на стол. Мы опять благодарнм. Она говорнт:

— Переночуете у нас, страниые, у нас хат много. Завтра обедню отстонте, пойдете.

А Кочубей все трубку сосет шнбко н поглядывает на иас. Потом взял ковер с лавкн н прнкрыл дары на столе. И нас отпустнлн.

Тот же Иван отвел нас в пустую хату. Ннканор сейчас же засиул, а я не могу. На дворе голоса слышны, смех, песнн поют.

Поворочался я под армяком, — тоска, сердце стучнт, н вышел, будто по своему делу, нз нзбы на волю. Ночь светлая; у конюшнн в траве лежат парин. Однн поднялся и побрел, бегом побежал, гляжу — за деревьями девичья рубашка белеется, — он — туда, н селн в траву. А мне-то что же делать? Подошел к парням, оии спрашивают:

— Что, москаль, ие спишь, или блохи заелн? — и смеются.

Потоптался около ннх, побрел к воротам; на лавке снднт казак н с ним жеика, та,

что нам ужинать собирала. Обернулись ко мне — зубы скалят. Обошел кругом весь двор, — где что зашуршит — так и вздрагиваю, дрожь пробирает. Что за напасть!

Дошел я до церкви, сел на паперти на каменных ступенях и гляжу. Месяц высоко стоит над садом. Все кущи в росе, все кущи темные, пышные. На высоких тополях листы блестят. И тихо, так тихо — слышно, как на реке Семи ухают лягушки.

И во мне, — в душе ли, или, прямо говоря, вот здесь, где дыхание, — музыка началась. Будто слышу я — пение множества голосов и слышу колокольный голос, веселый и частый, и хор то покрывает его, то отходит. Слушаю, и сладко мне, и слезы душат.

И будто пение слышу я из храма. Обернулся — на двери висит большой замок. А что, если это ангелы, как Никанор мне сказывал, заутреню служат?

И так мне стало страшно, — сполз с паперти и побежал по саду. А сирень мокрыми кистями — хлысть, хлысть по лицу!

Опамятовался только около дома. Стою, трясусь, смешно мне, и боязно оглянуться, и от радости зубы стучат. Раздвинул кусты, а за ними — окошко и в нем сидит женщина и смотрит на меня, в лунном свету, вся белая, только брови темны, да глаза — как две тени. Узнал ее — Кочубеева дочь, Матрена.

Она спрашивает тихим голосом:

— Кто это?

Я молчу.

— Подойди ближе.

Я пододвинулся.

— Хорошо ты давеча пел, монашек, наградила бы я тебя, да нечем; сама, как пленная, у батюшки живу.

Лицо у нее строгое, брови темные, монашеские, а губы как у дитя. И все ее точно прядка волос щекочет — проводит пальцами по щеке.

— Ты зачем к нам в сад забрался? — она говорит. — Вот пожалуюсь батюшке — запорют тебя казаки плетями.

И сама усмехается. Я гляжу на ее красоту, и в дыхании моем все затихло: как ночь стало.

— Как тебя зовут? — она спрашивает.

— Трефилием.

— А в миру как звали?

— Тишкой.

— А не грех тебе по ночам с девками разговаривать? Ведь девка такого наскажет, — потом на коленках не замолишь.

И опять засмеялась.

— Ушел бы ты от греха, право. А то тебе грех и мне грешно. Кабы ты был монах старый. Уйдешь или нет? — Тут она вздохнула. — Скажи, Тихон, зачем по ночам свет светит? Зачем спать не дает? Скажи — больше нам будут муки или все здесь на земле простится? Подойди ближе.

И я совсем уже рядом стою, чувствую, какая она сидит горячая, усмехается. А глаза темные, мрачные, не на меня глядят... Вот грешная!.. Вот грех-то!.. И говорю ей:

— Отпусти. Я уйду.

— Монашек, — она говорит, — кабы не бог — кто бы тебя привел под мое окошко... А ты бежишь... — Положила руку мне на плечо, и чувствую на затылке ее пальцы. И клонюсь, покуда лицо к ее лицу не подошло... Губы ее, вижу, — дрогнули, раскрылись... Отвернулась она немного и говорит:

— Помоги мне. Спаси меня. Погибаю. Приведи мне коня. У коновязи всю ночь оседланные кони стоят... Отвяжи двух, приведи к церкви и жди... Приведешь?.. Не сробеешь?..

Нагнулась быстро и губами тронула меня, как углем... Соскочила с подоконника и шепчет из темной горницы:

— Иди, иди... Торопись...

Тут взял меня такой озноб, такая радость... Ничего не понимаю, — одно: коней привести...

— Ладно, жди! — говорю и побежал.

На дворе все спать полегли: месяц закатывается, виден над самой крышей, тихо: только за воротами сторож колотит в колотушку.

Я крадусь от дерева, вижу — коновязь, кони хрустят сеном. Только вышел на открытое место — один повел глазом, обернул ко мне морду и заржал звонко, протяжно.

И я сел в траву, пуще всего оттого, что был как во сне, в навождении. Крещусь, бормочу: «Да воскреснет бог...» И слов не слышу, одно чувствую — на шее пальцы Матрены, точно в печь огненную тянет она меня.

Понемногу обошелся, отпрукал коней, кинулся животом на одного, сел в седло, другого взял за повод и тронул рысью. А сзади — как заржет конь в другой раз, и собака завыла.

Я доскакал до сада и только свернул на дорожку, — навстречу бежит человек, раскрыл руки и крикнул:

— Трефилий!

Гляжу — Никанор. И сила во мне вся опустилась. Он подбегает, ухватил за ногу, тащит с седла:

— Слезай, вор! Слезай, погубитель! Убью заживо!

А на дворе уж голоса слышу, погоня, конский топот.

Никанор поволок меня через кусты в сад, в самую глушь, повалил лицом в землю.

— Молчи, — говорит, — молчи! Найдут— живыми не быть! Ах, вор! Ах, небитый!

И таскал меня за волосы, однако не делая большого шума.

А когда погоня затихла, привел обходами в избу, толкнул перед образом на колени и начал допытывать. Я молчу. Он опять за свое — за волосы таскать.

Я молчу, он передохнул да как урежет посохом меня по крыльям: «Сыну, говорит, желай добра — ломай ребра».

Тут сердце во мне закипело и отошло: разжал зубы, залился слезами и рассказал все, не утаил ни крошки.

Никанор испугался:

— Вот беда, сынок! То-то в народе говорят недоброе про Кочубееву дочь. Ах, ах! Да знаешь ли, куда она скакать-то хотела с тобой? Уходить нужно отсюда. Бог с ними, с дарами!

Этой же иочью мы тайно ушлн со двора. На рассвете добрались до реки Семи и селн иа бережку, дожидаемся перевоза, молчим.

Утро ясиое. Над рекой, в камышах, тумаи курится. Свистят кулички. Небо просториое. Земля широкая, и вьется Семь сиией водой далеко по степи.

Я лежу иа спиие, и будто ие мое это тело, ие моя душа. Уйду, думаю, либо иа Дои к казакам, либо за море, награблю золота у татар или у персов, вериусь к Матреие как жених. На что мие душа, если иет ей погибелн?

Вдруг, видим, скачет верховой и иам колпаком машет. Никаиор мие тотчас скороговоркой:

— Рыбыиька, если что, — отрекайся и отрекайся, будто мы — и ие мы, знать иичего ие зиаем.

Подъезжает казак Иваи и иачал иам выговаривать — зачем ушли, и даров ие взяли, и ие прощались. А про давешнее ие помяиул. Хлестнул плетью по оводу.

— Атамаи, — говорит, — честью вас просит вернуться, а иевежества не потерпит.

Делать иечего. Вернулись мы иа усадьбу. Никаиор к обедие ушел, а меия запер в избе, велел читать Исусову молнтву и углем отмечать, сколько раз прочитаю.

В избе сухо, жарко, свечки трещат. Я стою на глиняиом полу, иа колеиях, повторяю: «Господи Исусе Христе, сыие божий, помилуй меия, грешиого», — и чиркаю угольком по стеие. И ие то, что греха своего ие чувствую, не поимаю святых слов — более того: все, что было и что помню, — степи, и чумаков, н степиых птиц, и хутора над Днепром, и Кочубеев сад, и храм, полиый ангелов, и аигелы, как птицы иад куполами, и Матреиу в окошке, и губы ее, и дикие глаза, н белая рука у меия иа затылке, и коиь ржущий, — все это закружилось перед глазами. И точио ветер прошел сквозь мое тело. Такая радость — свет божий! Слава тебе за жизнь и за свет, за тело и за дыхаиие. И слаще всей радостн одолел меия сладкий сои. Заснул прямо иа полу. Потом слышу голос:

— Трефилий, а Трефилий, будет спать-то!

Смотрю — у стола сидит Никаиор. Перед иим лежат дары.

— Вставай, беда случилась.

— Какая беда, батюшка?

— Извет. Государю иашему доиос. Кочубей сказал за собой слово иа гетмаиа Мазепу.

И Никаиор стал рассказывать, что было. После обедии подходит к иему казак Иваи н говорит тайио: «Кочубей-де велел тебе быть в светлице. Когда увидишь, что у светлицы его людей не будет, иди в гориицы, и двери за собой затворяй, н затворы накладывай, и так дойдешь до светлицы, где атамаи живет». И Ннкаиор пошел, и дверн за собой затворял, н накладывал крючки. В светлице с голлаидской печью, с коврами и седлами иа стенах, встретил его Кочубей и спросил Никанора, какой ои породы, и спросил — можио ли ему вернть в тайиом слове. И Никаиор сказал — верь! И целовал крест иаперсиый. В то же время вошла Любовь, прииесла благословляющий крест, деревяииый, с мощамн. И оии дали Никаиору тот крест целовать и целовали сами. И Любовь сказала: «Гетмаи Мазепа, Иваи Степаиович, вор и беззакоиник, — дочь иашу родиую, Матреиу, свою крестиую дочь хотел взять замуж. И оии ее ие отдали, потому что оиа ему крестиая дочь. Ои же зазвал ее хитростью в гости и испортил, и она теперь жеищииа, и живет как безумиая и порченая, едва силой удерживают, чтобы не бежала к иему, к Мазепе. За это Мазепа иа иих зол и грозится головы оторвать, оговаривает, будто оии с мужем тайно переписываются с Крымом». Кочубей в это время ходил по горницам, смотрел — крепко ли затвореиы двери, иет ли кого из челяди, и, вериувшись, сказал:

— Гетмаи, Иваи Степаиович Мазепа, хочет государю иашему измеиить, отложиться к ляхам н плеиинть Украйну н государевы города.

И велел Кочубей идтн Никаиору в Москву — доиести об этом боярниу Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкниу, не теряя времеии, чтобы успеть гетмаиа захватить в Киеве.

Шутка ли — идти в Москву с доносом! Хлебиешь горя иа допросах, не поверят — пытка, а поверят — все равио иа цепи целый год будут держать.

Измучился я, слушая Никанора. Вспомию вчерашиюю иочь, н так злобой и зальет меия, — горло бы перегрыз старому погубителю, распутиику, вору! Надвинул колпак н говорю Никаиору:

— И думать иам иечего. Хоть умереть, а государя известим об измеие. Идем в Москву.

И пошли. И промаялись мы всю осень и зиму до Великого поста. Таскали нас по прнказам. Возили в каидалах в Смолеиск. Никаиору иоги поморозили, — совсем старичок ума решился. А я терпел. Как тогда окамеиело сердце — так и лежало камием. Пытки прииимал без крика. Миогое передумал, лежа в подвалах на гнилой соломе. Так и положил — быть греху с одиою Матреиой, а не быть — замучаю сам себя. Молод был, горяч и обет свой моиашеский ие нарушал.

Государевым приказом дело велеио было прекратить. Выдали иам пачпорта — отпустили на четыре стороиы. До весиы прожили мы в Москве за рекой Яузой, у стрелецкой вдовы, а чуть стало теплее — поклоиился я Никанору в землю, попросил благословения и ушел по Курской дороге. Шел — все песии пел.

Около Курска меия поймали драгуиы как бродягу и забрнли в солдаты. Сиачала бегал, коиечио, — ловили и пороли сильио. Только от злости и жнв остался. Потом попривык н научился грамоте. В то время можно было из простых в люди выходить, и я первую иашивку получил в баталии, когда бнли мы геиерала Левеигаупта.

А месяца за три до этого послаи я был в Борщаговку в гетмаиский обоз за порохом. Подъезжаю на вечерией заре. Смотрю — за селеиием иа поле стонт высокнй помост, кругом — в две шеренги солдаты прн оружни н с

барабаном. За ними казаки, бабы, простой народ. На помост вводят двоих, развязали им руки, они крестятся.

Я лезу с конем прямо на народ, вглядываюсь... Господи, Кочубей!.. Старый, седой, бородой оброс, голова трясется. Палач схватил его за курчавые волосы, пригнул к плахе и ударил топором по шее, как мясо рубят...

У меня глаза закатились, закачался в седле. Народ валит назад, расходится... И мимо меня на вороном жеребце едет шагом худой, носатый старик в белом кафтане, лицо землистое, глаза наполовину закрыты, на шапке дрожит, сверкает алмазное перо. Проехал, и вином от него сильно запахло.

Да... знать бы тогда мне в лицо гетмана Мазепу, — не разговаривал бы с вами сейчас!

А Матрену, говорят, казаки в обозе задушили попонами в ту же ночь.

1917

ДЕНЬ ПЕТРА

В темной и низкой комнате был слышен храп, густой, трудный, с присвистами, с клокотанием.

Пахло табаком, винным перегаром и жарко натопленной печью.

Внезапно храпевший стал забирать ниже, хрипче и оборвал; зачмокал губами, забормотал, и начался кашель, табачный, перепойный. Откашлявшись, плюнул. И на заскрипевшей кровати сел человек.

В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым переплетом, можно было рассмотреть обрюзгшее, большое лицо в колпаке, пряди темных, сальных волос и мятую рубаху, расстегнутую на груди.

Потирая потную грудь, сидящий зевнул; пошарив туфли, сунул в них ноги и обернул голову к изразцовой, далеко выдвинутой вперед, огромной печи. На лежанке ее ворочался, почесываясь во сне, солдат в сюртуке, в больших сапогах. Неспешно сидящий позвал густым басом:

— Мишка!

И солдата точно сдуло с лежанки. Не успев еще разлепить веки, он уже стоял перед кроватью. Качнулся было, но, дернув носом, вытянулся, выпятил грудь, подобрал губы.

— Долго на рожу твою мне смотреть, сукин сын, — тем же неспешным баском проговорил сидящий. Мишка сделал полный оборот и, выбрасывая по-фронтовому ноги, вышел. И сейчас же за дверью, сквозь которую проник на минуту желтый свет свечей, зашепталось несколько голосов.

Сидящий натянул штаны, шерстяные, пахнущие потом чулки, кряхтя поднялся, застегнул на животе вязаный жилет красной шерсти, вздел в рукава байковую коричневую куртку, швырнул колпак на постель, пригладил пальцами темные волосы и подошел к двери, ступая косолапо и тяжело.

В комнате соседней, более высокой и просторной, с дубовыми балками на потолке, с обшитыми свежим дубом стенами, с небольшим и тяжелым столом, заваленным бумагами, свитками карт, инструментами, отливками железа, чугуна, меди, засыпанным табаком и прожженным, с глобусом и подзорной трубой в углах, с книгами, переплетенными в телячью кожу и валяющимися повсюду, — на подоконнике, стульях и полу, — в рабочем этом кабинете царя Петра, где ярко пылала изразцовая печь, стояло семь человек. Одни в военных зеленых сюртуках, жмущих под мышками, другие — в бархатных камзолах. И сюртуки и камзолы, неряшливые, залитые вином, топорщились, сидели мешками. Огромные парики были всклокочены, надеты, как шапки, — криво, из-под черных буклей торчали собственные волосы — рыжеватые, русые, славянские. В свете сырого утра и наплывших светилен лица придворных казались зеленоватыми, обрюзгшими, с резкими морщинами — следами бессонных ночей и водки.

Дверь распахнулась, вошел Петр, и перед ним склонилось низко семь париков. Кивнув, он сел у стола, резко сдвинул в сторону бумаги, опростав для руки место, забарабанил пальцами, и на присутствующих уставились круглые его черные глаза, словно горевшие безумием.

Такова была его манера смотреть. Взгляд впитывал, постигал, проникал пронзительно, мог быть насмешливым, издевательским, гневным. Упаси бог стоять перед разгневанным его взором! Говорят, курфюрстина Евгения опрокинулась в обморок, когда Петр, громко, всем на смущение, чавкая в Берлине за ужином гусиный фарш, глянул внезапно и быстро ей в зрачки. Но еще никто никогда не видел взор его спокойным и тихим, отражающим дно души. И народ, хорошо помнивший в Москве его глаза, говорил, что Петр — антихрист, не человек.

Васька-денщик, дворянский сын Сукин, принес на подносе водки, огурцов и хлеб. Петр принял заскорузлыми пальцами стакан, медленно выпил водку, вытер губы ладонью и стал грызть огурец.

Это был его завтрак. Морщины на лбу разошлись, и рот, красивый, но обезображенный постоянным усилием сдержать гримасу, усмехнулся. Петр сильно втянул воздух через ноздри и стал набивать канупер в почерневшую трубочку. Денщик подал фитиль. Захрипев чубуком, Петр сказал:

— Поди разбуди, выпусти, — и подал ключ от шкафов, куда запирались на ночь остальные три денщика. Шкафы эти устроены были недавно, после того как обнаружилось, что, несмотря на угрозы и битье, денщики удирают через слуховое окошко к «девкам сверху» — фрейлинам.

Затем царь прищурился, сморщился и с гримасой проговорил:

— Светлейший князь Меншиков, чай, с вчерашнего дебоширства да поминания Ивашки Хмельницкого головой гораздо оглупел.

Поди, поди. Послушаем, как ты врешь с перепою.

Потянув со стола лнсты с цифрами, он выпустил густой клуб дыма в длиииое, перекошенное страхом лицо светлейшего. Но улыбка обманула. Крупиый пот выступнл иа высоком, побагровевшем от гнева лбу Петра. Присутствующне опустилн глаза. Не дышали. Господи, проиеси!

— Селитры иа сорок рублев, шесть алтыи и две деньги. Где селитра? — спрашивал Петр. — Овес, по алтыиу четыре деньгн, двенадцать тысяч мер. Где овес? Деньги здесь, а овес где?

— Во Пскове, иа боярском подворье, в кулях по сей деиь, — пробормотал светлейший.

— Врешь!

Храии Ннкола кого-ннбудь шевельиуться! Голову Петра пригнуло к плечу. Рот, щеку, даже глаз перекосило. Киязь неосмотрительио, охраияя холеное свое лнцо, иоровил повериуться спиной, хоть плечиком, ио ие успел: сорвавшись со стола, огромиый царский кулак ударил ему в рот, разбил губы, и из сладких глаз светлейшего брызиувшие слезы смешались с кровью. Ои дрожал, ие вытнраясь. И у всех отлегло от сердца. Толстой завертел даже табакерку в костлявых пальцах. Шаховской нздал иекий звук губами. Грозу проиесло пустяком.

Так иачалось утро, обычиый, будиишиий пнтербурхский деиек.

А дела было миого. Покончить с воровскими счетами киязя Меншикова; иаписать в Москву его велнчеству киязю-кесарю Ромодаиовскому, чтобы гнал из Орла, Тулы н Галнча в Питербурх плотников н дроворубов, «поиеже прибывшне в феврале людишкн все перемерли, н гиать паче всего молодых, чтобы на жнвот и иоги ие ссылались, ие мерлн иапрасно»; да написать в Лоднйиое Поле, «что иа иеделн сам буду на верфн»; да иаписать в Варшаву Долгорукому, да в Ревель купцу Якову Дилю, чтобы прнслал полпива доброго дюжииы три, да чесноку связку, да шпику. Окоичив заиятня, письма, приказы, регламент — ехать надо иа иовую верфь, где строится двухпалубиый линейиый корабль; побывать иа пушечиом заводе и иа каиатиом; завериуть по пути к сапожнику Матеусу, окрестить дочь, выпить чарку перцовой, закусив пирогом с морковью, сунуть под подушку роженице-куме рубль серебром; избить до смерти дьяка-вора иа соляиой заставе; походить по постройкам иа иабережных и иа острове; в двеиадцать часов — обед, и сои — до трех; отдохиув, ехать в Тайиую каицелярию, где Толстой, Петр Андреевич, Ушаков да Писарев допытывают с пристрастием слово и дело государево. А вечером — ассамблея по царскому приказу. «Быть всем, скакать под музыку вольно, пить и курить табак, а буди кто не явнтся — царский гнев лютый».

Дела было миого.

Сырой ветер гнал сильиый тумаи с моря; шумел поредевшнй ельинк иа Васнльевских болотах; гиулись высокне сосиы, кое-где еще торчавшие по городу; сдувало гнилую солому с изб и клетей, завывало в холодных печных трубах, хлопало дверями: много в то время пустело домов, потому что народ мер до последией степеии от язвы, туманов и голода. Лихое, иевеселое было житье в Питербурхе.

Вздувшаяся река била в бревеичатые иабережиые; качались, трещали крутобокие барки; снег и косой дождь иаплюхивал целые озера на площадях н улнцах, где для проезда брошеиы были поперек бревиа, доски, чурбаиы.

На чериом пожарище выгоревшего в прошлый четверг гостниого двора, что иа Троицкой площадн, торчали четыре виселицы, и ветер раскачивал в тумане четырех воров, повешеииых здесь иа боязиь и великое страхованне впредь. По берегам реки, вдоль Невской Перспективы, уже обсажеиной с обеих сторон чахлымн деревцамн, стучали топоры, тяиулнсь тачки с песком, тележки с известью, булыжииком, кирпичами. В грязи, в желтом тумаие, иа забиваемых в болотиый ил сваях возинкали каждый деиь все иовые амбары, длиные бараки, гошпитали, частые дома переселяемых бояр. Поиемиогу все меньше стаиовилось мазаных, из ивияка н глииы, избеиок, где еще иедавио жили Головии, Остерман, Шафиров. Только проворный светлейший уже давио успел выкатить себе деревяииые палаты с башней, как у кирки, н присматривал местечко для камеиного дворца.

Миогне тысячн народа, со всех коицов России — все языки — трудилнсь день и ночь иад постройкой города. Наводиеиия смывали работу, опустошал ее пожар; голод и язва косили народ, и сиова тянулись по топким дорогам, по лесиым тропам партни каменщнков, дроворубов, бочкарей, кожемяк. Ииых ковали в железо, чтобы ие разбежались, ниых засекали насмерть у верстовых столбов, у тиуиской избы; пощады ие знали конвоиры-драгуиы, бритые, как коты, в заморских зелеиых кафтаиах.

Строился царский город иа краю землн, в болотах, у самой неметчины. Кому он был иужеи, для какой муки еще новой надо было обливаться потом и кровью и гибиуть тысячами, — народ ие зиал. Но от податей, оброков, дорожиых и войсковых повиниостей стоиом стоиала земля. А если кто и заикался от иакипевшего сердца: «Ныие-де спрашивают с крестьяи иаших подводы, и так мы от подвод, от поборов и от податей разорилнсь, а ныие еще и сухарей спрашивают; государь свою землю разорнл и выпустошил; только моим сухарем ои, государь, подавится», — тех иеосторожиых, заковав руки и иоги в железо, везли в Тайную каицелярию или в Преображеиский Приказ, и счастье было, кому просто рубили голову: ииых терзали зубьями, илн протыкали колом железиым иасквозь, или коптили живьем. Страшные казии грозили всякому, кто хоть тайио, хоть иаедиие или во хмелю задумался бы: к добру ли ведет иас царь, и ие иапрасиы ли все эти муки, ие приведут ли оии к мукам злейшим на многие сотии лет?

Но думать, даже чувствовать что-либо, кроме покорности, было воспрещено. Так царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю. Епископ или боярин, тяглый человек, школяр или родства непомнящий бродяга слова не мог сказать против этой воли: услышит чье-нибудь вострое ухо, добежит до приказной избы и крикнет за собой: «слово и дело». Повсюду сновали комиссары, фискалы, доносчики; летели с грохотом по дорогам телеги с колодниками; робостью и ужасом охвачено было все государство.

Пустели города и села; разбегался народ на Дон, на Волгу, в Брянские, Муромские, Пермские леса. Кого перехватывали драгуны, кого воры забивали дубинами на дорогах, кого резали волки, драли медведи. Порастали бурьяном поля, дичало, пустело крестьянство, грабили воеводы и комиссары.

Что была Россия ему, царю, хозяину, загоревшемуся досадой и ревностью: как это — двор его и скот, батраки и все хозяйство хуже, глупее соседского? С перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал хозяин из Голландии в Москву, в старый, ленивый, православный город, с колокольным тихим звоном, с повалившимися заборами, с калинами и девками у ворот, с китайскими, индийскими, персидскими купцами у кремлевской стены, с коровами и драными попами на площадях, с премудрыми боярами, со стрельцовской вольницей.

Налетел с досадой, — ишь, угодье какое досталось в удел, не то, что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгальтера. Сейчас же, в этот же день, все перевернуть, перекроить, обстричь бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, думать начать по-иному.

И при малом сопротивлении — лишь заикнулись только что, мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хозарское иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими восстановляли родную землю, не можем голландцами быть, смилуйся, — куда тут! Разъярилась царская душа на такую непробудность, и полетели стрелецкие головы.

Днем и ночью при свете горящего смолья, на брошенных в грязь бревнах, рубили головы. Сам светлейший, тогда еще Алексашка, лихо, не кладя наземь человека, с налету саблей смахивал голову, хвалился. Пили много в те дни крепкой водки, дочерна настоенной на султанском перце. Сам царь слез с коня у Лубянских ворот, отпихнул палача, за волосы пригнул к бревну стрелецкого сотника и с такой силой ударил его по шее, что топор, зазвенев, до половины ушел в дерево. Выругался царь матерно, вскочил на коня, поскакал в Кремль.

Спать не могли в те ночи. Пили, курили голландские трубки. Помещику одному, Лаптеву, засунули концом внутрь свечу, положили его на стол, зажгли свечу, смеялись горазд много.

В нагольном полушубке, в оленьем, надвинутом на уши, колпаке, обмотав горло вязаным шарфом, Петр взлез на двухколесную таратайку, взял вожжи и, затеснив локтем рябого солдата, жавшегося сбочку, выехал со двора.

Смирный карий мерин, привыкший к любой непогоде, не спеша зачмокал копытами; скоро ехать было нельзя: таратайку сильно подбрасывало на бревенчатой, уже разъезженной мостовой, валило в рытвины, полные грязи.

Сильный ветер дул в лицо, гоня нескончаемые, разорванные в клочья облака. Солнце висело низко и то заслонялось серыми пеленами, то выплывало из них, багровое, несветлое, северное, и клубился, клубился повсюду, на земле и меж облаками, желтоватый, промозглый туман.

Вот так погода! Хороша погода! Морская, крепкая, сквозняк! С удовольствием, раздувая ноздри, вдыхал Петр соленый, сырой ветер, гнавший где-то по морю торговые, полные товаров, суда, многопушечные корабли, выдувавший изо всех закоулков залежалый дух российский.

И пусть топор царя прорубал окно в самых костях и мясе народном, пусть гибли в великом сквозняке смирные мужики, не знавшие даже — зачем и кому нужна их жизнь; пусть треснула сверху донизу вся непробудность, — окно все же было прорублено, и свежий ветер ворвался в ветхие терема, согнал с теплых печурок заспанных обывателей, и закопошились, поползли к раздвинутым границам русские люди — делать общее, государственное дело.

Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены.

Через Троицкую площадь шли семеновцы с медными киками на головах, в промокших кафтанах. Солдаты лихо месили по грязи и разом взяли на караул, выкатывая глаза в сторону государя. Чиновники, спешившие по своим делам, пробираясь по настланным вдоль лавок и домишек мосткам, низко снимали шляпы, и ветер трепал букли их париков. Простой народ, в зипунах и овчинах, иные совсем босые, валились на колени прямо в лужи, хотя и был приказ: «Ниц перед государем, идя по его государевой надобности, не падать, а снять шляпу, и, стоя, где остановился, быть в пристойном виде, покуда он, государь, пройти не изволит».

Один только толстый булочник, ганноверец, в полосатых штанах, в чистом фартуке, стоя у дверцы булочной, где на ставнях были нарисованы какие-то смешные носатые старички, весело усмехнулся и крикнул, махнув трубкой:

— Гут морген, герр Питер!

И Петр, повернув к нему багровое, круглое лицо, ответил хрипло:

— Гут морген, герр Мюллер!

На набережной, между бунтами досок, бревен и бочек с известью, толпились рабочие. Туда же бежал в больших сапогах, с лотком пирожков, мальчишка, покрытый рогожей. А с того берега на веслах и парусе подходил полицейский баркас, кренился, зарывался в волны носом, и на носу его ругательски ругался обер-полицеймейстер. Все это обличало явный непорядок.

А непорядок был вот в чем: посредине народа, в страхе великом обступившего бочку с известью, на бочке стоял тощий, сутулый человек без шапки. Волосы, спутанные, как войлок, падали косицами на плечи; горбоносое, изможденное лицо было темно и в глубоких морщинах; глаза провалились и горели люто; узкая бороденка металась по голой груди; ребра, обтянутые, собачьи, сквозили через дыры подпоясанного лыком армяка. Вытягивая руку в древнем двуперстном знамении, он кричал пронзительно дурным голосом:

— Православные, ныне привезли знаки на трех кораблях. А те знаки — чем людей клеймить, и сам государь по них ездил, и привезены на Котлин остров, но токмо никому не кажут и за крепким караулом содержат, и солдаты стоят при них бессменно...

— Верно... верно... — зароптала толпа. — Сами слыхали... Клейма привезены... Вот такой же кричал намедни.

Сзади два усатых сержанта уже принялись расталкивать, гнать народ. Иные отошли, другие теснее, как овцы, сдвинулись к бочонку... Рваный же человек растопырил руку и, суя в нее пальцем, кричал:

— Вот здесь, между большим и средним пальцем, царь будет пятнать, и станут в него веровать. Слушайте, христиане, слушайте... В Москве мясо всех уж заставили есть в Сырную неделю и в Великий пост. И на Соловки послали трех дьяков, чтобы монахов учить мясо есть. И весь народ мужеска и женска пола будет государь печатать, а у помещиков и у крестьян всякий хлеб описывать, и каждому будут давать самое малое число, а из остального отписного хлеба будут давать только тем людям, которые запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут. Бойтесь этих печатей, православные. Бегите, скрывайтесь. Последнее время настало... Антихрист пришел. Антихрист...

Крестясь и отплевываясь, пятились мужики. Иные побежали. Заликали бабы... Смяли мальчишку в рогоже, опрокинули с пирожками лоток. Человек двадцать солдат лупили палками по головам и спинам. Рваный слез с бочки и пошел, наклонив голову. Перед ним расступились, и он скрылся за бунтами леса.

Когда Петр, широко шагая через лужи, подошел к месту происшествия, солдаты уже разогнали рабочих, и только обер-полицеймейстер Ивашин таскал за волосы вятского, какого-то хилого мужичка, последнего, кто подвернулся под руку. Вятский, растопырив руки и согнувшись, покорно вертел головой по всем направлениям, куда таскало его начальство; Ивашин же с ужасом косился на подходившего царя; дело было нешуточное — бунт и его, полицеймейстера, недоглядка.

«Пропал, пропал, пришибет на месте», — торопливо думал он, крутя за виски покорную голову.

— Что? Кто? Почему? — отрывисто, дергая щекой, спросил Петр, и сам, схватив сзади за полушубок вятского мужичка, приблизил его тощее, с провалившимися щеками, смиренно-готовое к неминучей смерти лицо к безумным своим глазам. Приблизил, впился и проник, точно выпил всю его нехитрую мужицкую правду.

«Господи Иисусе», — посиневшими губами пролепетал вятский. Но Петр уже отшвырнул его и обратился к Ивашину:

— Причину нарушения работ, господин обер-полицеймейстер, извольте рапортовать.

Бритое, рябое лицо Ивашина подернулось серым налетом. Вытянувшись до последней жилы, он отрапортовал:

— Пирожник пироги принес, народишко начал хватать безобразно, началась драка и безобразие, пирожника едва не задавили, пироги все потоптали.

Соврал, соврал Ивашин, и сам потом много дивился, как он так ловко вывернулся из скверной истории, — гораздо хорошо соврал, глядя честно и прямо в царские глаза. Петр спросил спокойнее:

— С чем пироги?

— С грибами, ваше величество.

Придерживая шпагу, Ивашин живо присел и, подняв из грязи, подал царю пирожок. Петр разломил, понюхал и бросил.

— А этот, ваше величество, — Ивашин сапогом пихнул вятского мужичка в ноги, — всем им, ворам, зачинщик, крикун и вор.

— Батогов! — Петр повернулся и зашагал косолапой, но стремительной поступью вдоль набережной к работам. Ивашин рысью, придерживая треугольную шляпу и шпагу, поспевал за ним.

Вдоль топкого берега, куда били, расползаясь, черно-ледяные волны, копошились до трехсот человеческих фигур: орловцы и туляки в войлочных гречушниках, киргизы в остроконечных, как кибитки, шапках, с меховыми ушами, одетые в оленьи кофты поморы, сибиряки в собачьих шубах и иной бродячий люд, кто обмотанный тряпками, кто просто прикрытый рогожей.

— Оглядывайся... Оглядывайся... Оглядывайся... — пошли негромкие голоса по всему берегу. Не жалея ни рук, ни спин, подгоняемые десятскими и еще более зорким взглядом царя, все эти изнуренные, цинготные, покрытые лишаями и сыпью строители великого города «бодро и весело», как сказано в регламенте работ, били в сваи, рысью тащили бревна, с грохотом сбрасывали их, пилили, накатывали; человек пятьдесят, стоя по пояс в воде, обтесывали торцы. Едко пахло мокрым деревом, дегтем и дымом от обжигаемых свай.

Все эти люди были, как духи земли, вызванные из небытия, чтобы, не ропща и не

уставая, строить стены, укрепления, дворцы, овладевать разливом рек, ловить ветер в паруса, бороться с огнем.

Одного слова, движения бровей было достаточно, чтобы поднять на сажень берег Невы, оковать его гранитом, ввинтить бронзовые кольца, воздвигнуть вон там, поправее трех ощипанных елей, огромное здание с каналами, арками, пушками у ворот и высоким шпилем, на золоте которого загорится северное солнце.

Грызя ноготь, Петр исподлобья посматривал на то место, где назначалось быть адмиралтейству. Там, на низком берегу, стояли длинные барки с дегтем, пенькой, чугунными отливками; кругом строились леса, тянулись тележки по гребням выкидываемой из каналов зеленоватой земли, и сколько еще нужно было гнева и нетерпения, чтобы поднялся из болот и тумана дивный город!

А тут еще пирожки какие-то мешают!..

В конце стройки Петр свернул на мостки, сквозь доски которых под его шагами зачмокала вода. Здесь он вынул часы, отколупнул черным ногтем крышку — было ровно половина одиннадцатого — и шагнул в качавшийся и скрипевший о сваи одномачтовый бот.

Скуластый матрос, в короткой стеганой куртке и в падающих из-под нее складками широких коричневых штанах, весело взглянул на Петра Алексеевича, сунул в карман фарфоровую трубочку и, живо перебирая руками, поднял парус. Тотчас лодка, бессильно до этого качавшаяся, точно напрягла мускулы, накренилась, мачта, заскрипев, согнулась под крепким ветром. Петр снял руку с поручни мостков, положил руль, и лодка скользнула, взлетела на гребень и пошла через Неву.

Петр проговорил сквозь зубы:

— Ветерок, Степан, а?

Осклабясь, матрос прищурился на ветер, сплюнул.

— Был норд на рассвете, ободняло, — ишь, на норд-вест повернул.

— Врешь, норд-вест-вест.

На это Степан усмехнулся, качнул головой, но не ответил: хотя с Петром Алексеевичем были они и давнишними приятелями-мореходами, все-таки много спорить с ним не приходилось.

У строящегося адмиралтейства, где была уже вытянута сажен на полтораста высокая, из крепких бревен, пахнущая смолой набережная, Петр выскочил из лодки и, все так же, спеша и на ходу махая руками, пошел к пеньковым складам.

Матросы, чиновники, рабочие и солдаты издалече заслышали косолапые и тяжелые шаги царя и, заслышав, низко нагнулись над бумагами и книгами, засуетились каждый по своему делу.

Неяркое, как пузырь, солнце повисело полдня за еловой пусторосслью и закатилось. Темно-красный свет разлился на все небо; как уголья, пылали края свинцовых туч, заваливших закат на тысячу верст; в вышину поднялись оттуда клубы черно-красного тумана; багровая, мрачная, текла Нева; лужи на площади, колеи, слюдяные окошки домиков и стволы сосен — все отдавало этим пыланием; и не яркими — бледными казались сыплющие искрами большие костры, разложенные на местах работ.

Но вот яркой иголкой блеснула пушка на крепостном валу, ударил и далеко покатился выстрел, затрещали барабаны, и длинные партии рабочих потянулись к баракам.

У бревенчатых длинных и низких строений, с высокими крышами, дымились котлы, охраняемые солдатами; в подходившей толпе, несмотря на строгий приказ, вертелись сбитенщики с крепким сбитнем, воры, офени и лихие люди, предлагавшие поиграть в зернь, в кости, покурить табачку; гнусили калеки и бродяжки; толокся всякий людишко, норовивший пограбить, поживиться, погреться. Давали, конечно, по шеям, да всем не надаешь — пропускали.

Во втором васильевском бараке, так же как и повсюду, усталые и продрогшие рабочие обступили котел, просовывая каждый свою чашку усатому унтеру, говорившему поминутно:

— Легче, ребята, осаживай!

Получивший порцию брел в барак, садился на нары и ел, помалкивая: пищу-де хаять нельзя — государева. Хлеб покупали на свои деньги, говорили, что в царский подмешивают конский навоз.

С двух концов горящие над парашами лучины едва освещали нары, тянущиеся в три яруса, щелястые, нетесаные стены и множество грязного тряпья, развешанного под потолком на мочальных веревках. Набив брюхо, кряхтя и крестясь, полз народ на нары, наваливал на себя тулупы, рогожи, тряпье и засыпал до утреннего барабана. У дверей всю ночь шагал солдат в кивере, с перевязью, с большой алебардой, покашливал для страху и время от времени вставлял новую лучину. Строго было заказано — не баловать, а пуще всего зря языком не трепать.

Но без греха не проживешь, и солдату можно дать копейку, чтобы не слушал, чего не надо, и в барак пробирался лихой человек — Монтатон, не русский, залезал под самую крышу и там, разложив на платке все свое хозяйство: скляницу с вином, зернь, табак и кости, начинал скрести ногтем — скрр, скрр, здесь, мол, дожидаемся.

Каждую ночь сползались к нему Семен Заяц, да Митрофан тоже Заяц, да Семен Куцый, да Антон из Черкас, шепотом вели беседу, кидали кости, звенели копейками и осторожно, чтобы не было великого шуму, заезжали в ухо Монтатону за плутовство. Проводили время.

Да и не все ли было равно — ну, застанут и засекут: на царевой работе никто еще больше трех лет не вытягивал.

Так было и сегодня. Собралась кумпания, запалили огарочек сальный, достали зернь, начали резаться. Солдат шагал у лучины, зе-

вал от скуки. Вдруг слышит, где-то виизу иа иарах шепчут:

— Отец Варлаам, а как же он иас печатать станет?

— Промеж середнего и большого пальца, тебе говорят, дура.

— Отец Варлаам, верио это?

— Верно, — отвечал давешний воплеииый голос, — клейма те железиые, раскалят и прнложат, н на инх крест, только ие иаш, ие христианский.

— Господи, что же делать-то? А если я не дамся?

— А прежде зельем будут опаивать, табаком окуривать, для прелести скакать в машкерах круг тебя, н на бочках ездить, н баб без одежи будут казать.

— Верио, верио, ребята, иа прошлую масленицу сам видел, — иа бочках ездили и бабы скакали.

— А что же я вам говорю!

Солдат, видя, что не Моитатоиова это кумпаиия подает голос и разговор идет самый воровской, подошел, опустил алебарду н сказал, заглянув под темиые нары:

— Эй, кто там бормочет, чертн? Не спите!

Голоса затихлн сразу: кто-то иоги босые поджал. Солдат постоял, июхиул табачку и сказал еще:

— Сволочи, спать другим ие даете. Разве не зиаете государя иашего приказ строгий: в рабочих помещеннях не разговарнвать, только для-радн пнщу попросить, али иглу, али соли. Ныие строго.

И только ои приноровился запустить вторую поиюшку под усы в обе иоздри, как воплеиный голос закричал иа все темное помещенне:

—Врешь! Государя нашего у немцев подменили, а этот ие государь, давеча сам видел, — у него лица иет, а лицо у него не человеческое, и он голову дергает и глазами вертнт, и его земля не держит, гнется. Беда, беда всей земле русской! Обмаиули нас, православные!..

Но тут солдат, броснв рожок с табаком и алебарду, закрнчал «караул!» — н побежал к выходу, расталкнвая лезущий вниз с нар перепуганный народ. Зашумели голоса. Взвизгиула баба где-то под рогожей; другая, вскочнв к лучние, забилась, заквакала. «Бейте его!» — крнчали одни. «Да кого бнть-то?» «Давют, батюшки!» Монтатон, побросав свой инструмент, ужом лез к выходу; поймали его, вырвалн полголовы волос.

И ввалнлся иакоиец караул, с факелами и оружнем наголо. Все стихло. Рослый, крепколнцый офнцер, оглядывая мужнков со всклокоченными волосами, с разинутымн ртамн, двниул треугольиую шляпу на лоб и, полуобернувшнсь к команде, приказал четко и резко:

— Арестовать всех. В Тайную каицелярню.

Тайиая канцелярия заинмала довольио большую площадь, огорожеииую высоким частоколом. Главиый корпус построен из кирпича, а все пристройки — тюрьмы, клетн, казематы — бревенчатые, н все время пристраивалнсь, так как ие хватало места для прнвознмых отовсюду государствеиных преступннков.

В главном корпусе, ннзком, красном зданнн, крытом черепнцей, с толстымн стенами н небольшнми, высоко от земли, решетчатымн окошкамн, помещались: прямо — низкая комиата с дубовыми, вдоль стеи, лавками, для дожидающихся под караулом, иаправо — комната дьяков, иалево — кабиает начальнка Тайиой канцелярии, и оттуда кованиая железом дверь вела в застеиок, сводчатое помещение с коридорамн н камерамн. Сзадн во дворнке валялись — разный инструмент, нужиый и иенужный: рогожн, связкн прутьев, ржавые каидалы, кожи, гробы, н стояли «спнцы» — самое страшиое орудие пытки, редко прнмеияемое.

Все комиаты были оштукатуреииые и уже грязиые от пятен сырости, прнкосиовеиия рук н спни. Везде камеииый, захоженый грязью пол, крепкие дубовые столы и лавки.

Место было суровое, только в кабинете начальиика день и иочь пылал камии, потому что Толстой был зябок и часто, чиня допрос, придвнгал стул к огню и закрывал глаза, слушая, как путается обвинияемый да дьяк скрипит гуснным пером.

В восемь часов бухиула наружиая дверь, н в комнату, где у стен сндели вперемежку колодиикн и солдаты, вошел Петр; прищурнлся на то место, где в густых нспареииях плавал свет сальиого огарка, иеясно освещая лыснну нагиувшегося иад бумагой дьяка н бледные лнца вскочнвших в нспуге колоднков, прнложил пальцы к иоздрям, шумио высморкался, вытер иос полою мокрого полушубка н, иагиувшись, шагиул в кабинет председателя.

— Ну, ну, сндн, — проворчал царь в сторону Толстого н, сев перед камнином, протянул к огню красные, в жилах, руки и огромные подошвы сапог. — Паршивый народ, не умеет простой штуки — стропила связать, дурачье, — продолжал ои, явно желая похвастаться. — Шафнров инженера выписал нз Рнгн, хвастун н глупец к тому же. Я на крышу влез н показал ему, как вяжут стропила. Запнщал инженерик: «Дас нст уимеглнх, герр гот». А я сгреб его под парнком за внскн: это, говорю, меглнх, это тебе меглих?..

Ухмыляясь, он выиул короткую нзгрызанную трубочку, пальцами схватнл уголек из очага, покидал его на ладоии и суиул в трубку. Толстой сказал:

— Ваше велнчество, дело пономаря Гультяева, что в прошедшем месяце у Тронцы на колокольне кнкнмору вндел н говорил: «Питербурху быть пусту», разобрано, свндетелн все допрошеиы, остается вашему велнчеству резолюцию положить.

— Зиаю, помию, — ответнл Петр, пуская клуб дыма. — Гультяева, глупых чтобы слов не болтал, бить кнутом и иа каторгу на год.

— Слушаю, — нагнувшись над бумагамн, проговорил Толстой. — А свидетелн?

— Свидетели? — Петр широко зевнул,

согревшись у огня. — Выдай нм пачпорта, отошлн по жительству под расписку.

В это время стукнулн в дверь. Толстой строго посмотрел через очки и сказал, поджав губы:

— Войти.

Появился давешний крепколнцый офицер; выкатнв грудь, держа руку у шпаги, другую у мокрой треуголкн; отрапортовал, что по государеву слову и делу арестовано им девяносто восемь человек мужеска и женска пола, приведено за частокол, прошу-де дальнейших распоряжеиий.

Толстой, прищурясь, пожевал ртом: большой лоб его, с необыкновенными бровями — черными и косматыми, покрылся морщниамн.

— На кого же ты слово государево говоришь? На кого именно? — спросил он. — На всех девяносто восемь человек говоришь, так ли я понимаю?

Рука офицера задрожала у шляпы, он молчал, стоя статуей. Царь, вытянув ногн, глядел круглыми глазамн в огонь, время от времени туда сплевывая. На цыпочках вошел приказный дьяк, поклонился царскому креслу н сейчас же, присев у своего столнка, записал, водя кривым носом над бумагой. Толстой, выйдя на средину комнаты, с наслаждением нюхнул из золотой табакерки, склоннл к плечу хнтрое, леннвое лицо, оглядывая оторопелого офицера, и сказал в нос:

— Большое дело ты затеял: девяносто восемь человек обвиняешь, а со свндетелямн и вся тысяча наберется. Добрый полк. Сколько же я кож бычьих на кнуты изведу? Сколько бумаги исписать придется? И, боже мой, вот задал работу! Чего же ты молчишь, друг мой, али испужался?

И при этом с улыбкой покоснлся на царя и захихикал, отряхнвая тонкнми пальцамн с кафтана табак. Офнцер срывающнмся, взволнованным голосом пробормотал:

— Ваше превосходнтельство, в бараке втором, васильевском, поносные слова на государя говорены, и говорил их вор и бродяга Варлаам с товарищи...

И, не кончнв, офицер дрогнул н попятнлся: с такою силой отшвырнул Петр тяжелое кресло от огня н, поднявшнсь во весь рост, засопел, багровый н нскажеиный, сыпля горящнй пепел нз трубки:

— Ну, веди его сюда...

Изменился в лице и Толстой, точно весь высох в минуту, заговорил тороплнво:

— Веди его, ведн одного пока, да не сюда, а прямо в застенок. Товарищей препроводить в казарму, держать под караулом крепко... Головой отвечаешь! — пронзнтельио крикнул он, подскакивая к офнцеру, который, сделав полный оборот, быстро вышел.

Петр расстегнул медный крючок полушубка на шее и сказал, криво усмехаясь:

— Говорил я вам, ваше превосходнтельство, — Варлаам в Питербурхе. Вы не верили.

— Ваше величество...

— Молчи! Дурак! Смотри, Толстой, как бы и твоя голова не слетела.

Петр с силой толкиул железную дверь и, иагибаясь, пошел по узкому проходу в правежную. Толстой же постоял мннуту в неподвижиостн, затем, поднеся холодную, сухоиькую ладонь ко лбу, потер его н, уже тороплнво захватив под мышку бумагн н семеия, вышел вслед за государем.

Так началось огромное н страшное дело о проповеднике антихрнста, занявшее много месяцев. И много людей сложнло головы на нем, и молва об этом деле далеко прокатнлась по Россни.

Варлаам уже сорок мннут внсел иа дыбе. Вывернутые в лопатках, связанные над головою рукн его были подтянуты к перекладнне ремнем; голова опущена, спутанные прядн волос закрывалн все лнцо, мешалнсь с длнниой бородой; обнаженное, с выдающнмися ребрами, вытянутое н грязное тело его было в пятнах копотн, н сбоку стекал сгусток кровн: Варлааму только что далн трндцать пять ударов кнутом, а спереди попалилн веннками. Грязные ногн его, с поджатыми судорожио пальцамн, былн охвачены хомутом н прнвязаны к бревну, на котором, вытягнвая все его тело, стоял дюжнй мужнк в коротком тулупчнке — палач.

Напротив, у стола, при двух свечах, озаряющих кнрпнчные своды, сндели: Петр, развалясь н закннув голову, с надутой жнлами шеей, посреднне — Толстой и направо от иего — огромный, похожий красным лнцом иа льва, угрюмый человек — Ушаков; он был без парнка, в лнсьей шапке и бархатиой, с косматым воротннком, шубе.

— Не снять лн его, кабы ие кончился? — проговорнл Толстой, просматрнвая только что запнсанное показанне. Ушаков, глядя неподвижно на внсящего и свнстя заложеиным от табаку и простуды горлом, сказал:

— Дать водки, очухается.

Толстой поднял глаза на царя. Петр кнвнул. Палач шепотом сказал в темноту за столы:

— Вась, Вась, поправее, в уголышке там скляика.

Из темноты вышел круглолицый, с женственным ртом, кудрявый пареиь, бережио иеся четырехграииую скляику с водкой. Вдвоем онн запрокннулн голову висящему, покопошились и отошли. Варлаам застонал негромко, почмокал, затем закрутнл головой... И на Петра опять, как н давеча, уставнлнсь черные глаза его, блестевшие сквозь пряди волос. Толстой вслух стал чнтать запнсь дознания. Вдруг Варлаам проговорнл слабым, ио ясным голосом:

— Бейте н мучайте меия, за господа иашего Инсуса Хрнста готов отвечать перед мучителямн...

— Ну, ну, — цыкнул было Ушаков, ио Петр схватил его за руку и перегиулся иа столе, вслушиваясь.

— Отвечаю за весь народ православный. Царь, н лютей тебя царн были, не убоюсь лютости! — с передышками, как чнтая трудную

книгу, продолжал Варлаам. — Тело мое возьмешь, а я уйду от тебя, царь. На лапах на четырех заставишь ходить, в рот мне удила вложишь, и язык мой отнимешь, и землю мою не моей землей назовешь, а я уйду от тебя. Высоко сидишь, и корона твоя как солнце, и не прельстишь. Я знаю тебя. Век твой недолгий. Корону твою сорву, и вся прелесть твоя объявится дымом смрадным.

Петр проговорил, разлепив губы:

— Товарищей, товарищей назови.

— Нет у меня товарищей, ни подсобников, токмо вся Расея товарищи мои.

Страшно перекосило рот у царя, запрыгала щека, и голову пригнуло; с шумным дыханием, стиснув зубы, он сдерживал и поборол судорогу. Ушаков и Толстой не шевелились в креслах. Палач всей силой навалился на бревно, и Варлаам закинул голову. Слышно было, как трещали свечи. Петр поднялся наконец, подошел к висящему и долго стоял перед ним, точно в раздумье.

— Варлаам! — проговорил он, и все вздрогнули. Парень с женским ртом, вытянув шею, глядел из-за столба нежными голубыми глазами на царя.

— Варлаам! — повторил Петр.

Висящий не шевелился. Царь положил ладонь ему на грудь у сердца.

— Снять, — сказал он, — вернуть руки. На завтра приготовить спицы.

У светлейшего в только что отделанной приемной зале, с еще волглыми стенами, высокими, невиданными окнами, при свете двухсот свечей, танцевали гросфатер. Четыре музыканта — скрипка, флейта, фанфары и контрбас — дудели и пилили, обливаясь потом.

Боярыни и боярышни, хотя и в немецких, но по-русскому тяжелых — до пуда весом — платьях, без украшений, — драгоценности в то время были запрещены, — но нарумяненные, как яблоки, и с густо насурьмленными в одну линию черными бровями, неловко держась за своих кавалеров, скакали и высоко подпрыгивали по вощеному полу, в общем кругу танцующих.

Посредине круга стоял герой мод и кутежей — Франц Лефорт, дебошан французский. Бритое, тонкое лицо его с пьяными глазами было обрамлено огромным рыжим париком; букли его доходили почти до пояса. Золотой кафтан горой поднимался на бедрах. Помахивая рукой, с падающими из-за обшлага кружевами, он напевал в такт, топал красным башмачком.

Мимо него проносились, подпрыгивая, и перепуганный, потный прапорщик гвардии, с дворянскими мясами, натуго перетянутыми суконным сюртуком, и долговязый, презрительный остзеец, с рыбьим взором, впалой грудью и в огромных ботфортах, и пьяный с утра, наглый государев денщик, и боярин древнего рода, не знающий хорошо, где он: в пьяном кружале, в аду, или только дурной это сон...

Струи дыма ползли в залу из низкой комнаты, где за длинными столами играли в шахматы, курили трубки, пили вино и хлопали друг друга по дюжим спинам птенцы Петровы.

И повсюду меж танцующими и пьяными похаживал с козлиной бородкой сухонький человек, одетый в дьяконский парчовый стихарь и с картонной золотой митрой на лысой голове — князь Шаховской, «человек ума немалого и читатель книг, но самый злой сосуд и пьяный», второй архидьякон всепьянейшего собора и царский шут.

Веселье было великое. Музыка, и взрывы смеха, и топот ног по вощеному полу. В залу вошел Петр. Он был головою выше всех. Коротким кивком отвечая на низкие поклоны, прямо прошел к столам, сел с краю и на парчовую скатерть положил стиснутые кулаки. Лицо его было бледно и презрительно, черные волосы прилипли ко лбу.

Косясь на царя, гости продолжали веселиться, чтобы не нажить беды. Один Шаховской смело подошел к нему со спины и, выпятив губу, проговорил гнусаво:

— Ну как, брат Пахом-Пихай, что пить-то будем?

Вздрогнул Петр, оскалясь обернулся и с кривой усмешкой сказал:

— Тройной перцовой, ваше святейшество.

Не шутка — варево адское была тройная перцовая. Человека валила в пятнадцать минут, будь он хоть каменный, и его святейшество сразу понял, что не для шутки потребовал Петр этого зелья, а со зла. И, поняв, немедля определил и свое поведение: подобрал высоко стихарь, на затылок сдвинул митру и побежал по гостям, крича в лицо каждому:

— Слюни распустил, венгерское попиваешь? Сам за себя, противник-черт, боишься. Сыч, сыч, насупился, о чем думаешь, а я не знаю. А может, ты Хмельницким гнушаешься, в собор к нам ходить не хочешь, от питья морду воротишь? А может, у тебя противные мысли?

И, отскочив, тыкал распухшим в суставах, старческим пальцем в побледневшее от таких намеков лицо придворного, и смеялся визгливо, и бежал к другим, приседая, кривляясь и нет-нет да закидывая глазок в сторону государя.

Перед царем поставили жбан, полный бурого зелья. Светлейший, с припухшим ртом, но улыбающийся сладко, надушенный, в кружевах, в шелковом парике, обсыпанном золотыми блестками, наливал тройную перцовую в чарки изрядной вместимости и посылал гостям, спешившим, хоть притворно да поскорее, освинеть во хмелю на потеху государю.

Петр, щурясь сквозь табачный дым, загребал пальцами с блюда то, что ему подкладывали, громко жевал, суя в рот большие куски хлеба, и в промежутки глотал водку, с трудом насыщаясь и с бóльшим еще трудом хмелея. Есть он мог много, — всегда, было бы что под рукой.

Гости ожидали, когда царь, откушав, начнет шутить, что бывало иной раз покрепче перцовой. Но красное, с толстыми, круглыми щеками лицо его не прояснялось. Он уже отсу-

нул блюдо и, положив локти на стол, грыз янтарный чубук, — по-прежнему выпуклые глаза царя были точно стеклянные, невидящие. И страх стал одолевать гостей: уж не прискакал ли курьер из Варшавы с недобрыми вестями? Или в Москве опять неспокойно? Или кто-нибудь здесь из сидящих провинился?

Выпув изо рта чубук, Петр сплюнул под стол и проговорил, морщась от подперевшей отрыжки:

— Ну-ка, архидьякон, подь сюда.

Князь Шаховской, надувшись индюком, отставляя посох, приблизился.

— Во имя отца моего Бахуса и Венерки, шленды, девки греческой, вопиющий ко мне насытится, и зовущий меня упьется, — загнусил он, закрывая голые, желтоватые глаза.

— Я с тобою не шучу, — перебил Петр, и внезапно вздулась жила у него поперек лба; остекленевшими глазами он оглядел гостей, чуть подольше задержавшись на столе, где сидели прусские офицеры. — Я тебя в шуты не нанимал, сам просился.

Он фыркнул носом и стал совать палец в трубку.

— Что-то чересчур стараешься! Перестарался, перестарался. Вот что! Боюсь, про нас с тобой говорить станут лишнее. Скажут, пожалуй — царский шут...

Он не докончил, как часто бывало, свою мысль и стиснул зубы, скрипнул ими, сдерживая гримасу.

— Боюсь твоим стараньем, да, да... стараньем черезмерным, как бы на меня твой колпак не надели бы, часом... С рогами... Собираются... Знаю... Ведь говорят, говорят, слышал небось... Рогатый колпак небось пригожее мне, чем корона...

И опять повернул голову направо, налево, пронзительно всматриваясь. Его несвязные, пьяные слова, темный их смысл усугубили страх между гостями. Похоже было на то, что царь опять напал на какой-то заговор, и каждый испуганно огляиулся, отодвинулся от приятеля. Меньше других смутились светлейший, привыкший ко всячинке, да Шаховской. Его притворно пьяные, теперь умные, щелками, глаза напряженно следили за каждым из порывистых движений царя. Он понимал, какие тайные мысли жгли государя, и, внезапно пододвинувшись, сказал с растяжкой, по-мужицки:

— Брось, Пахом, вот осерчал из-за какой дряни. На, возьми, не жалко, — и с громким, слезливым вздохом снял с себя митру и подал царю.

Петр усмехнулся дико и вдруг с коротким, как кашель, хохотом надвинул на голову картонный колпак.

— Архидьякон, — закричал он, — князю земли кланяйся, поклонись, аминь.

Взял за бороду Шаховского у самого подбородка, нагнул три раза к себе, запрокинул его лицо, схватил со стола жбан с водкой и стал лить ее князю в разинутый рот.

Шаховской, булькая, пил. Оторвался, собачьими, страдающими глазами взглянул на государя и снова прильнул. Наконец коленки его начали дрожать часто, мелко, руки в широких рукавах поднялись, бессильно шевеля пальцами; тройная перцовая лилась мимо рта по стихарю.

— Будя, — прошептал он и зашатался. Видно было, что и царю сильно ударил хмель. Бросив Шаховского, он вышел в залу и крикнул музыкантам:

— Чаще, чаще! — подхватил боярыню какую-то, обнял ее спину, притиснул полную, голую грудь к осыпанному пеплом кафтану и принялся отбивать дробь тяжелыми ботфортами, кружиться и сигать по всей зале, увлекая и кружа едва поспевающую за ним, взмокшую боярыню — княгиню Троекурову.

Светлейший тем временем быстро пораскинул умом и, два раза, для совета, добежав до княгинюшки, приготовил все, что на потребу Купидону, и ждал только минутки. Когда Петр угомонился, прислонясь к колонне и вытираясь рукавом, Меншиков подбежал на цыпочках и шепнул ему что-то. Слышали, как Петр воскликнул с пьяным весельем:

— Ну, ну, идем, — и, широко шагая и махая руками, проследовал впереди светлейшего во внутренние покои.

Светлейший, в одном камзоле, придерживая руку у горла и кланяясь, провожал государя на крыльце, благодарил за милость.

— Иди, иди к гостям, без тебя уеду, — закашлявшись от ветра, проворчал Петр и обсунул на полушубке ременный пояс. Ночь была темная, секло косой изморозью. Перед крыльцом, над замерзшими колеями грязи, покачивались фонари в руках конюхов. Вдалеке, с фонарем же, проходили человек семь в тулупах — ночной караул, тускло поблескивая торчащими во все стороны алебардами.

Светлейшего пришлось силой втолкнуть в дверь, дабы притворным своим ласканьем не надоедал чрезмерно; за окнами все еще играла музыка; свистел ветер в обглоданной сосне близ дома; роптала и билась о сваи ледяная, невидимая сейчас Нева; только желтели на ней и качались корабельные фонари; фыркали, смутно серея поблизости, выездные и верховые лошади; а Петр все еще стоял на крыльце, надвинув до бровей шапку.

Сытый, и пьяный, и утешенный всем человеческим, царь точно прислушивался, как из этой сытости снова не вовремя, когда спать просто надо, поднимается жадная, лихая душа, неуспокоенная, голодная.

Никаким вином не оглушить ее, ни едой, ни весельем, ни бабьей сыростью. Ни покоя, ни отдыха. И не от этой ли бессонной тревоги зиму и лето скачет Петр в телегах и дилижанах, верхом и в рогожных кибитках, с Азова в Архангельск, с Демидовских чугунолитейных заводов под Выборг, в Берлин, на Олонецкие целебные воды? И строит, приказывает, судит, казнит, водит полки и видит: коротки дни, мало одной жизни...

— Лошадь! — сказал Петр.

Конюха с фонарями шарахнулись. Подъехала давешняя двуколка с рябым, скрюченным

от холода солдатом... Петр грузно влез в сиденье. Застоявшийся вороной жеребец, сменивший давешнего старичка каракового, перебирая ногами, начал было приседать, подкидывать передом.

— Шалишь! — крикнул Петр, рванул вожжами и стегнул жеребца, махнувшего раза три в оглоблях и затем размашистой, легкой рысью понесшего валкую двуколку в темноту. На дороге испуганно посторонился ночной караул и далеко вдогонку крикнул: «Смирно». А потом солдатики шепотом рассказывали в шинке:

«Вот было страха ночью! Идем мы, значит, всемером, а он на вороной лошадищи как дунет мимо нас вихрем, лошадища огромная, а сам сидит как копна. Разве человеку мыслимо в таком виде ездить: уж больно велик, темен».

У Тайной канцелярии Петр бросил вожжи, скользя и спотыкаясь, подошел к воротам, цыкнул на караульных: «Глаза протри, не видишь кто...» — и, перебежав дворик, сильно хлопнул наружной дверью.

Варлаама привели и оставили с глазу на глаз с государем. На углу стола плавал в плошке огонек. Шипели, с трудом разгораясь, дрова в очаге. Петр, в шубе и шапке, сидел глубоко в кресле, облокотясь о поручни, подперев обеими руками голову, словно вдруг и смертельно уставший. Варлаам, выставив бороду, глядел на царя.

— Кто тебе велел слова про меня говорить? — спросил Петр негромко, почти спокойно.

Варлаам вздохнул, переступил босыми ногами. Царь протянул ему раскрытую ладонь:

— На, возьми руку, пощупай, — человек, не дьявол.

Варлаам пододвинулся, но ладони не коснулся.

— Рук не могу поднять, свернуты, — сказал он.

— Много вас, Варлаам? Скажи, пытать сейчас не стану, скажи так.

— Много.

Петр опять помолчал.

— Старинные книги читаете, двуперстным крестом спастись хотите? Что же в книгах у вас написано? Скажи.

Варлаам еще пододвинулся. Запекшийся рот его под спутанными усами раскрылся несколько раз, как у рыбы. Он смолчал. Петр повторил:

— Говори, что же ты.

И Варлаам, кашлянув, как перед чтением, и прикрыв воспаленными веками глаза, начал говорить о том, что в книге Кирилла сказано, что «во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего — антихрист», и что на генеральном дворе у спасителя не нарисована рука благословляющая, и у образа пресвятыя богородицы младенца не написано, и что попам-де служить на пяти просфорах больше не велено, и что скорописные новые требники, где пропущено «и духа святого», те попы рвут и топчут ногами, и в мирянах великая смута и прелесть, и что у графа Головкина у сына красная щека, да у Федора Чемоданова, у сына ж его, пятно черное на щеке, и на том пятне волосы, и что такие люди, сказано, будут во время антихристово.

Петр, казалось, не слушал, подперев кулаками щеку. Когда Варлаам кончил и замолк, он повторил несколько раз в раздумье:

— Не пойму, не пойму. Лихая беда действительно. Эка — наплели... Тьма непролазная.

И долго глядел на разгоревшиеся поленья. Затем поднялся и стоял, огромный и добрый, перед Варлаамом, который вдруг зашептал, точно смеясь всем сморщенным, обтянутым лицом своим:

— Эх ты, батюшка мой...

Тогда царь стремительно нагнулся к нему, взял за уши и, словно поцеловать желая, обдал жарким табачным и винным дыханием, глубоко заглянул в глаза, проворчал что-то, отвернулся, глубоко надвинул шапку, кашлянул:

— Ну, Варлаам, видно, мы не договорились до хорошего. Завтра мучить приду. Прощай.

— Прощай, батюшка!

Варлаам потянулся, как к родному, как к отцу обретенному, как к обреченному на еще большие муки брату своему, но Петр, уже не оборачиваясь, пошел к двери, почти заслонив ее всю широкой спиной.

За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, он подумал, что день кончен — трудовой, трудный, хмельной. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свинцовой тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех.

1917

ГРАФ КАЛИОСТРО

I

В Смоленском уезде, среди холмистых полей, покрытых полосами хлебов и березовыми лесками, на высоком берегу реки стояла усадьба Белый ключ, старинная вотчина князей Тулуповых. Дедовский деревянный дом, расположенный в овражке, был заколочен и запущен. Новый дом с колоннами, в греческом стиле, обращен на речку и на заречные поля. Задний фасад его уходил двумя крыльями в парк, где были и озерца, и островки, и фонтаны.

Кроме того, в различных уголках парка можно было наткнуться на каменную женщину со стрелой, или на урну с надписью на цоколе: «Присядь под нею и подумай — сколь быстротечно время», или на печальные руины, оплетенные плющом. Дом и парк были окончены постройкою лет пять тому назад, когда владелица Белого ключа, вдова и бригадирша, княгиня Прасковья Павловна Тулупова, внезапно скончалась в расцвете лет. Именье по наследству перешло к ее троюродному братцу, Алексею Алексеевичу Федяшеву, служившему в то время в Петербурге.

Алексей Алексеевич оставил военную служ-

бу и поселился, тихо и уединенно, в Белом ключе вместе со своей теткой, тоже Федяшевой. Нрава он был тихого и мечтательного и еще очень молод, — ему исполнилось девятнадцать лет. Военную службу он оставил с радостью, так как от шума дворцовых приемов, полковых попоек, от смеха красавиц на балах, от запаха пудры и шороха платьев у него болел висок и бывало колотье в сердце.

С тихой радостью Алексей Алексеевич предался уединению среди полей и лесов. Иногда он выезжал верхом смотреть на полевые работы, иногда сиживал с удочкой на берегу реки под дуплистой ветлой, иногда в праздник отдавал распоряжение водить деревенским девушкам хороводы в парке вокруг озера и сам смотрел из окна на живописную эту картину. В зимние вечера он усердно предавался чтению. В это время Федосья Ивановна раскладывала пасьянс; ветер завывал на высоких чердаках дома; по коридору, скрипя половицами, проходил старичок-истопник и мешал печи.

Так жили они мирно и без волнений. Но скоро Федосья Ивановна стала замечать, что с Алексисом, — так она звала Алексея Алексеевича, — творится не совсем ладное. Стал он задумчив, рассеянный и с лица бледен. Федосья Ивановна намекнула было ему, что:

— Не пора ли тебе, мой друг, собраться с мыслями, да и жениться, не век же в самом деле на меня, старого гриба, смотреть, так ведь может с тобой что-нибудь скверное сделаться...

Куда тут! Алексис даже ногой топнул:

— Довольно, тетушка... Нет у меня охоты и не будет погрязнуть в скуке житейской: весь день носить халат да играть в тресет с гостями... На ком же прикажете мне жениться, вот бы хотел послушать?

— У Шахматова-князя пять дочерей, — сказала тетушка, — все девы отменные. Да у князя у Патрикеева четырнадцать дочерей... Да у Свиньиных — Сашенька, Машенька, Варенька...

— Ах, тетушка, тетушка, отменными качествами обладают перечисленные вами девицы, но лишь подумать,— вот душа моя запылала страстью, мы соединяемся, и что же: особа, которой перчатка или подвязка должна приводить меня в трепет, особа эта бегает с ключами в амбар, хлопочет в кладовых, а то закажет лапшу и при мне ее будет кушать...

— Зачем же она непременно лапшу при тебе будет есть, Алексис? Да и хотя бы лапшу, — что в ней плохого?..

— Лишь нечеловеческая страсть могла бы сокрушить мою печаль, тетушка... Но женщины, способной на это, нет на земле...

Сказав это, Алексей Алексеевич взглянул длинным и томным взором на стену, где висел большой, во весь рост, портрет красавицы, Прасковьи Павловны Тулуповой. Затем, со вздохом запахнув китайского рисунка шелковый халат, набил табаком трубку, сел в кресло у окна и принялся курить, пуская струйки дыма.

Но, видимо, он о чем-то проговорился, и тетушка что-то поняла, потому что, с удивлением поглядывая на племянника, она проговорила:

— Если ты человек, — люби человека, а не мечту какую-то бессонную, прости господи...

Алексей Алексеевич не ответил. За окном, куда он смотрел со скукой, на дворе, поросшем кудрявой травкой, стоял рыжий теленок и сосал у другого теленка ухо. Двор полого спускался к речке, на берегу ее в лопухах сидели гуси, белые, как комья снега; один поднялся, взмахнул крыльями и опять сел. Было знойно и тихо в этот полуденный час. За рекой над полосами хлебов колебались и дрожали прозрачные волны жара. По дороге, выбегающей из березового леска, ехал верхом мужик; вот он спустился к броду, — лошадь зашла по брюхо в речку и стала пить; потом он, распугав гусей, болтая локтями и пятками, поскакал в гору и крикнул что-то дворовой девке, тащившей охапку соломы, засмеялся, но, заметив в окошке барина, спрыгнул с лошади и снял шапку. Это был нарочный, посылаемый раз в неделю на большой тракт за почтой. Он привез Федосье Ивановне письмо, а барину — пачку книг.

Федосья Ивановна ушла за очками. Алексей Алексеевич принялся просматривать книги. Внимание его привлекла, в двадцать восьмом выпуске «Экономического магазина», статья о причинах ипохондрии. «Первый несчастный источник ипохондрии есть жестокое и продолжительное любострастие и такие страсти, которые содержат дух в непрерывном печальном положении; человек, обеспокоенный такими пристрастиями, коим выхода он не чает, ищет уединения, погружается отчасу в глубочайшую печаль, покуда наконец нервы желудка и кишек его не придут в изнеможение...»

Прочтя эти строки, Алексей Алексеевич закрыл книгу. Итак, его ожидает ипохондрия. страсти, сжигающей его душу, нет выхода.

II

Полгода тому назад Алексей Алексеевич, заканчивая отделку некоторых комнат, посетил в поисках за вещами старый дом. Как сейчас он вспоминает эту минуту. Солнце садилось в морозный закат. По холодеющим полям уже закурилась поземка. Древняя ворона, каркая, снялась с убранной инеем березы и осыпала снегом Алексея Алексеевича, идущего в лисьем тулупчике по дорожке, только что расчищенной в снегу вдоль берега.

На речке, присев у проруби, деревенская девушка черпала воду; подняла ведра на коромысло и пошла, оглядываясь на барина, круглолицая и чернобровая. На деревне между сугробами зажигался кое-где свет по замерзшим окошечкам; слышался скрип ворот да ясные в морозном вечере голоса. Унылая и мирная картина.

Алексей Алексеевич, взойдя на крыльцо старого дома, велел отбить дверь и вошел в комнаты. Здесь все было покрыто пылью, вет-

хо и полуразрушено. Казачок, идущий впереди, освещал фонарем то позолоту на стене, то сваленные в углу обломки мебели. Большая крыса перебежала комнату. Все ценное, очевидно, было унесено из дома. Алексей Алексеевич уже хотел вернуться, но заглянул в низкое пустое зальце и на стене увидел висевший косо, большой, во весь рост, портрет молодой женщины. Казачок поднял фонарь. Полотно было подернуто пылью, но краски свежи, и Алексей Алексеевич разглядел дивной красоты лицо, гладко причесанные пудреные волосы, высокие дуги бровей, маленький и страстный рот с приподнятыми уголками и светлое платье, открывавшее до половины девственную грудь. Рука, спокойно лежащая ниже груди, держала указательным и большим пальцем розу.

Алексей Алексеевич догадался, что это портрет покойной княгини Прасковьи Павловны Тулуповой, его троюродной сестры, которую он видал только будучи ребенком. Портрет сейчас же был унесен в дом и повешен в библиотеке.

Много дней Алексей Алексеевич видел перед собой этот портрет. Читал ли книгу, — он очень любил описание путешествий по диким странам, — или делал заметки в тетради, куря трубку, или просто бродил в бисерных туфлях по навощенному паркету, Алексей Алексеевич подолгу останавливал взгляд на дивном портрете. Он понемногу наградил это изображение всеми прекрасными качествами доброты, ума и страстности. Он про себя стал называть Прасковью Павловну подругой одиноких часов и вдохновительницей своих мечтаний.

Однажды он увидел ее во сне такою же, как на портрете, — неподвижной и надменной, лишь роза в ее руке была живой, и он тянулся, чтобы вынуть цветок из пальцев, и не мог. Алексей Алексеевич проснулся с тревожно бьющимся сердцем и горячей головой. С этой ночи он не мог без волнения смотреть на портрет. Образ Прасковьи Павловны овладел его воображением.

III

Федосья Ивановна вернулась в комнату с письмом в руке, с очками на носу и, усевшись напротив Алексея Алексеевича, сказала:

— Павел Петрович мне пишет...

— Какой Павел Петрович, тетушка?

— Да ты что, Алексис, батюшка мой, — Павел Петрович Федяшев, секунд-майор... Так он пишет разные разности, а вот — для тебя: «...Много у нас в Петербурге наделал шуму известный граф Феникс, или, как его называют, — Калиостро. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на одиннадцать каратов и, кроме того, изничтожил внутри его пузырек воздуха; Костичу, игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день выиграл свыше ста тысяч; камер-фрейлине Головиной вывел из медальона тень ее покойного мужа, и он с ней говорил и брал ее за руку, после чего бедная старушка совсем с ума стронулась... Словом, всех чудес не перечесть... Императрица даже склонилась, чтобы призвать его во дворец, но тут случилось препотешное приключение: князь Потемкин воспылал свирепой страстью к жене графа Феникса, родом чешке, — сам я ее не видел, но рассказывают — красотка. Потемкин передавал графу много денег, и ковров, и вещиц; увидав же, что деньгами от него не откупишься, замыслил красавицу похитить у себя на балу. Но в этот же день граф Феникс вместе с женой скрылся из Петербурга в неизвестном направлении, и полиция их понапрасну по сей день ищет...»

Алексей Алексеевич прослушал письмо с большим вниманием и перечел его сам. Легкий румянец выступил у него на скулах.

— Все эти чудеса — проявление непонятной магнетической силы, — сказал он. — Если бы мне встретиться с этим человеком... О, если бы только встретиться... — Он заходил по комнате, издавая восклицания. — Я бы нашел слова умолить его... Пусть бы он произвел на мне этот опыт... Пусть воплотил всю мечту мою... Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развеется, как туман. Не пожалею о ней...

Федосья Ивановна со страхом круглыми выцветшими глазами глядела на племянника. И действительно, было чего испугаться: Алексей Алексеевич бросился в кресло и с длинной улыбкой глядел в окно на подошедших двух девок с лукошком грибов, не видя ни грибов, ни девок, ни поля, по которому, по меже между хлебов, закрутился высокий столб пыли и побрел, вертясь и пугая птиц на придорожной березе.

IV

Наутро Алексей Алексеевич проснулся с сильной головной болью. Небо было знойно, несмотря на ранний час. Листы висели неподвижно на деревьях, — все застыло, и цвет зелени отдавал металлическим отблеском, как на могильном венке. Молчали куры; на скате к реке, неподвижно и не жуя, лежала, точно раздувшись, красная корова. Присмирели даже воробьи. Цвет неба на северо-востоке, у земли, был темный, глухой и жестокий.

В столовой появился с докладом приказчик. Алексей Алексеевич оставил его беседовать с Федосьей Ивановной, сам же, морщась от ломотья в висках, пошел в библиотеку и раскрыл книгу, но скоро заскучал над нею, взялся было за перо, но, кроме росчерков своего имени, написать ничего не мог.

Тогда он стал глядеть на портрет Прасковьи Павловны, но и портрет, как и все вокруг, казался жестоким и зловещим. На лице ее сидели три мухи. Алексей Алексеевич почувствовал, что зарыдает, если еще продолжится это состояние необыкновенной отчетливости и грубости всего окружающего. Душа его изнывала от тоски.

Вдруг в доме бухнула оконная рама, посыпались стекла и раздались испуганные голоса.

Алексей Алексеевич подошел к окну. Огромная и густая, как ночное небо, туча низко, над самыми полями, ползла на усадьбу. Вода в реке посинела, стала мрачной. Замотались, смялись и легли камыши. Сильный вихрь подхватил гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистой ветлы воронье гнездо, раскидал ветви, погнал по двору кур, распушивших хвосты, закачал деревянный забор, задрал юбку на голову бабе и со всей силой налетел на дом, ворвался в окна, завыл в трубах. В туче появился свет и пробежал извилистыми, ослепляющими корнями от неба до земли. Раскололось, затрещало небо, рухнуло громовыми ударами. Задрожал дом. Печально зазвенела в ответ часовая пружина в часах на камине.

Алексей Алексеевич стоял у окна, ветер рвал его длинные волосы и развевал полы халата. Вбежавшая тетушка схватила его за руку и оттащила от окна и что-то закричала, но второй, более ужасный удар грома заглушил ее слова. Через минуту упали тяжелые капли дождя, и дождь полил серой завесой, застучал и запенился о стекла закрытого окна. Стало совсем темно.

— Алексис, — тетушка все еще тяжело дышала, набравшись страха, — говорю тебе: гости к нам приехали.

— Гости? Кто такие?

— Сама не знаю. Карета у них поломалась, и грозы боятся, просятся переночевать.

— Просить, конечно.

— Да уж я распорядилась. Они мокрое снимают. А ты сам-то пошел бы оделся.

Алексей Алексеевич спохватился и пошел из библиотеки, но в дверь в это время вскочила Фимка, комнатная девка, простоволосая, в облипшем сарафане:

— Матушка, барыня, приезжие-то, провалиться мне, — один из них черный, как дьявол.

V

Дождь лил весь остаток дня, и пришлось рано зажечь свечи. Настала тишина. Растворили окна и двери в сад, а там в темноте падал несильный, теплый и отвесный дождь, тихо шумя о листья.

Алексей Алексеевич, в шелковом кафтане, в камзоле, тканном по палевому полю незабудками, при шпаге, завитой и напудренный, стоял в дверях. Мокрая трава на лужайке, в тех местах, где падал свет, казалась седой. Пахло сыростью и цветами.

Алексей Алексеевич глядел на освещенные окна правого крыла дома, полукругом уходящего за липы. Там, в окнах, на спущенных белых занавесах появлялись тени: то мужская, в огромном парике, то женская — изящная, то высокая тень в тюрбане — слуги.

Это и были приезжие. Они давно уже и переоделись, и отдохнули, и теперь, видимо, прибирались к ужину. Алексей Алексеевич с нетерпением следил за движением теней на занавесе. От запаха ночного дождя, цветов и воска горящих свечей кружилась голова.

Вот опять появилась длинная тень слуги, поклонилась и исчезла, и в доме послышались ровные шаги. Алексей Алексеевич отступил от двери в комнату. Вошел большого роста, совершенно черный человек с глазами, как яичные белки. Он был в длинном малиновом кафтане, перепоясанном шалью, и другая шаль была обмотана у него вокруг головы. Почтительно, но достойно поклонившись, он сказал по-французски, ломано:

— Господин приветствует вас, сударь, и просит передать, что с отменным удовольствием принимает приглашение отужинать с вами.

Алексей Алексеевич улыбнулся и спросил, близко подойдя к нему:

— Скажи-ка мне, пожалуйста, как имя и звание твоему барину?

Слуга со вздохом наклонил голову:

— Не знаю.

— То есть как — не знаешь?

— Его имя скрыто от меня.

— Э, братец, да ты, я вижу, — плут. Ну, а тебя, по крайней мере, как зовут?

— Маргадон.

— Ты что же — эфиоп?

— Я был рожден в Нубии, — ответил Маргадон, спокойно, сверху вниз глядя на Алексея Алексеевича, — при фараоне Аменхозирисе взят в плен и продан моему господину.

Алексей Алексеевич отступил от него, сдвинул брови:

— Что ты мне рассказываешь?.. Сколько же тебе лет?

— Более трех тысяч...

— А вот я скажу твоему барину, чтобы тебя высекли покрепче, — воскликнул Алексей Алексеевич, вспыхнув гневным румянцем. — Пошел вон!

Маргадон поклонился так же почтительно и вышел. Алексей Алексеевич хрустнул пальцами, приводя себя в душевное равновесие, затем подумал и рассмеялся.

Казачок в это время распахнул обе половинки резных дверей, и в комнату вошли под руку кавалер и дама. Начались поклоны и представление.

Кавалер был средних лет, плотный мужчина. Багрово-красное лицо его с крючковатым носом было погружено в кружева. Огромный, с локонами, парик, какие носили в начале столетия, был неряшливо напудрен. Синий жесткого шелка кафтан расшит золотыми мордами и цветами. Поверх надета зеленая шуба на голубых песцах. Золотом же были вышиты черные чулки. На пряжках бархатных башмаков сверкали бриллианты, и на каждом пальце коротких волосатых рук переливалось по два, по три драгоценных перстня.

Хриповатым баском приезжий проговорил приветствие, затем, отойдя на шаг от дамы, представил ей Алексея Алексеевича.

— Графиня, — наш хозяин. Сударь, — моя жена.

После этого он занялся табакеркой, нюхая, сморкаясь и задирая голову. Алексей Алексеевич выразил графине сожаление по поводу дурной погоды и живейшую радость по поводу их неожиданного знакомства. Он предложил ей руку и повел к столу.

Графиня отвечала односложно и казалась утомленной и печальной. Но все же она была необыкновенно хороша собой. Светлые волосы ее были причесаны гладко и просто. Лицо ее, скорее лицо ребенка, чем женщины, казалось прозрачным, — так была нежна и чиста кожа; ресницы скромно опущены над синими глазами, изящный рот немного приоткрыт, — должно быть, она с наслаждением вдыхала свежесть, идущую из сада.

У стола, уставленного холодными и горячими закусками, гостей встретила Федосья Ивановна. По-французски она изъяснялась плохо, приезжие совсем не говорили по-русски, поэтому занимать их пришлось одному Алексею Алексеевичу. Выяснилось, что они едут из Петербурга в Варшаву на долгих и в дороге уже вторую неделю.

— Прошу великодушно простить меня, — сказал Алексей Алексеевич, — знакомясь, я не совсем расслышал ваше имя.

— Граф Феникс, — отвечал приезжий, жадно белыми крепкими зубами вонзаясь в курячью ногу.

Алексей Алексеевич быстро поставил задрожавший в руке стакан и побелел, стал белее салфетки.

VI

— Так вы и есть знаменитый Калиостро, о чудесах ваших говорит весь свет? — спросил Алексей Алексеевич.

Феникс поднял косматые, с проседью, брови, налил вина в стакан и опрокинул его в горло, не глотая.

— Да, я Калиостро, — сказал он, с удовольствием причмокнув большими губами, — весь мир говорит о моих чудесах. Но происходит это от невежества. Чудес нет. Есть лишь знание стихий природы, а именно: огня, воды, земли и воздуха; субстанций природы, то есть — твердого, жидкого, мягкого и летучего; сил природы: притяжения, отталкивания, движения и покоя; элементов природы, коих тридцать шесть, и, наконец, энергий природы: электрической, магнетической, световой и чувственной. Все сие подчинено трем началам: знанию, логике и воле, кои заключены вот здесь, — при этом он ударил себя по лбу. Затем положил салфетку и, вынув из камзольного кармана золотую зубочистку, принялся решительно ковырять в зубах.

Алексей Алексеевич глядел на него, как кролик. Ужин кончился, и гости перешли в библиотеку, где, прогоняя вечернюю сырость, пылали в очаге дрова. Федосья Ивановна, ни слова не понявшая из разговора, осталась хлопотать в столовой.

Калиостро сел в сафьяновое кресло и, нюхая табак, говорил о том, какую пользу оказывает человеку хорошее пищеварение. Графиня опустилась на стульчик близ огня и глядела на пламя, задумавшись. Ее руки, скрещенные на коленях, тонули в голубоватом шелку платья.

— Мой друг, доктор философии, умерший в Нюренберге, в тысячу четыреста... вот проклятая память, — пробормотал Калиостро, стуча пальцами по табакерке, — мой друг доктор Бомбаст Теофраст Парацельзиус не раз говаривал мне: жуй, жуй, жуй, — сие есть первая заповедь мудрого: жуй...

Алексей Алексеевич дико взглянул на графа, но тотчас, как это бывает во сне, немыслимое и действительность сами собой совместились, слились в его представлении, лишь слегка закружилась голова, но это сейчас же прошло.

— Я также не раз слыхал, ваше сиятельство, — проговорил Алексей Алексеевич, — что хорошее пищеварение вселяет веселые мысли, а дурное повергает в скорбь и даже вызывает ипохондрию. Но есть и другие причины...

— Несомненно, — сказал Калиостро, опуская брови.

— Осмелюсь взять хотя бы в пример себя... Расстройство моих чувств началось вот от этого портрета...

Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бровями глаза.

Тогда Алексей Алексеевич рассказал историю портрета, написанного во Франции (об этом он узнал от тетушки), и то, как нашел его в старом дому, и, наконец, все свои чувства и несбыточные желания, какие привели его к ипохондрии.

Во время рассказа он взглядывал несколько раз на графиню. Она внимательно слушала. Наконец Алексей Алексеевич, поднявшись с кресла и указывая на портрет, воскликнул:

— Еще сегодня я говорил Федосье Ивановне: ах, если бы мне встретить графа Феникса, я бы умолил его воплотить мою мечту, оживить портрет, а там, — хотя бы это стоило мне жизни...

При этих словах в ясных синих глазах графини появился ужас, она быстро опустила голову и опять стала смотреть на огонь.

— Материализация чувственных идей, — проговорил Калиостро, зевая и прикрыв рот рукой, сверкающей перстнями, — одна из труднейших и опаснейших задач нашей науки... Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность к жизни... Однако я попросил бы у хозяина пораньше нас отпустить спать.

VII

Алексей Алексеевич не закрывал глаз всю ночь. На рассвете он накинул халат, спустился к речке и бросился в невидимую за туманом воду, она была как парная, но в глубине — студена. После купанья, одетый и завитой, он выпил горячего молока с медом и вышел в сад, — мысли его были возбуждены, и голова горела.

Утро настало влажное и тихое. По траве бегали озабоченные дрозды. Свистала иволга, точно в дудку с водой. Над озерцом с полуспущенными фонтанами, в голубоватой мгле, в высоких и пышных деревьях нежно рыдал дикий голубь.

Дорожки были влажные и вымытые, и на одной из них Алексей Алексеевич заметил сле-

ды женских ног. Он пошел по их направлению, и — на поляне, там, где из голубоватой мглы проступали очертания круглой беседки и по сторонам ее — огромных осокорей, он увидел графиню. Она стояла на мостике и, опустив руки, слушала, как в роще куковала кукушка.

Когда Алексей Алексеевич подошел ближе, — у него забилось сердце: по лицу молодой женщины текли слезы, обнаженные плечи ее вздрагивали. Вдруг, обернувшись на хруст шагов Алексея Алексеевича, она вскрикнула негромко и побежала, придерживая обеими руками пышную юбку. Но, добежав до озерца, остановилась и обернулась. Ее лицо было залито румянцем, в испуганных синих глазах стояли слезы. Она быстро вытерла их платочком и улыбнулась виновато.

— Я испугал вас, простите, — воскликнул Алексей Алексеевич.

— Нет, нет, — она спрятала на груди платочек и сделала реверанс; Алексей Алексеевич поцеловал ей руку почтительно. — Утро так хорошо, кукушка так славно кричала: мне стало грустно, а вы меня не испугали. — Она пошла рядом с Алексеем Алексеевичем по берегу озерца. — Разве вам не бывает грустно, когда вы видите, как хороша природа? Знаете, — я думала о вашем вчерашнем рассказе. Жить в таком изобилии, одному, молодому... И все-таки почему, почему нет счастья?..

Она запнулась и поглядела ему в глаза. Алексей Алексеевич ответил первое, что вошло в голову, — о грубости жизни и невозможности счастья. При этом он широко улыбнулся, улыбка так и осталась на его губах.

Продолжая прогулку и разговаривая, он видел перед собою только синие глаза — они словно были насыщены утренней прелестью; в ушах его раздавался голос молодой женщины и отдаленный немолчный крик кукушки.

Графиня рассказывала, что родилась в деревне, близ Праги, что она круглая сирота, что зовут ее Августа, но настоящее имя ее Мария, что она вот уже три года путешествует с мужем по свету и столько видела, — другому бы хватило на всю жизнь, — и что сейчас в этой утренней мгле все прошлое пронеслось перед нею, и она расплакалась.

— Я вышла замуж ребенком, и сердце мое за эти годы созрело, — сказала она и опять ласково и пристально взглянула на Алексея Алексеевича. — Я вас не знаю, но почему-то верю вам так, будто знаю давно. Вы не осудите меня за болтовню?..

Он взял ее руку и, нагнувшись, поцеловал несколько раз, и, когда целовал в последний, ее рука перевернулась ладонью к его губам, легко сжала их и выскользнула.

— Неужели вы не могли найти жены и подруги, не полюбили женщину, а предпочли мечту бездушную какую-то? — проговорила Мария задрожавшим от волнения голосом. — Вы неопытны и наивны... Вы не знаете — какой ужас ваша мечта...

Она подошла к каменной скамье и села, Алексей Алексеевич опустился рядом с нею.

— Почему же ужас, — спросил он, — что грешного, если я мечтаю о том, чего в жизни нет?

— Тем более... В такое утро — нельзя, нельзя мечтать о том, чего быть не может, — повторила она, и глаза ее снова налились слезами.

Алексей Алексеевич придвинулся ближе и взял ее за руку:

— Я чувствую — вы несчастны...

Она молча поспешно закивала головой. Она была взволнована и трогательна, как маленькая девочка. Алексей Алексеевич ощущал, как она всеми силами души стремится привлечь на себя его мысли и чувства. Стало горячо сердцу, — словно ветер, наклоняющий травы и листья, прошла по нему нежность к этой женщине.

— Кто заставляет вас страдать? — спросил он шепотом.

И Мария ответила торопясь, точно в страхе потерять минуту этого разговора:

— Я боюсь... я ненавижу моего мужа... Он — чудовище, каких не видал еще свет... Он мучает меня... О, если бы вы знали... Во всем свете нет близкого мне человека... Многие добивались моей любви, — что мне в том... Но ни один участливо не спросил — хорошо ли мне жить... Мы с вами не успели встретиться — и расстаемся, но я навеки буду помнить эту минуту, как вы спросили. — У нее задрожали губы, видимо, она делала большое усилие, преодолевая застенчивость, и вдруг залилась румянцем. — Едва я увидала вас, мне сердце сказало: доверься...

— Ради бога... этого нельзя вынести... Я убью его! — воскликнул Алексей Алексеевич, стискивая рукоять шпаги.

И сейчас же за спиной сидящих громко кто-то чихнул. Мария воскликнула слабо, как птица. Алексей Алексеевич вскочил и между стволов лип увидел Калиостро. Он был в той же зеленой шубе и в большой шляпе с белыми, падающими на плечи и спину страусовыми перьями. Держа в руке табакерку, он страшно морщился, собираясь еще раз чихнуть. Лицо его при дневном свете казалось лиловым, — так было полнокровно и смугло.

Алексей Алексеевич, держа руку на рукояти шпаги, глядел в упор на этого дивного человека. Тогда Калиостро, раздумав чихать, протянул табакерку:

— Угощайтесь.

Алексей Алексеевич невольно отнял было руку от шпаги, но сейчас же вновь схватился за рукоять.

— А не хотите нюхать, так и не надо,—сказал Калиостро. — Графиня, я вас искал по всему саду, мой чемодан уложен, но ваших вещей я не касался. — И он обратился к Алексею Алексеевичу: — Итак, если наш экипаж починен, — мы едем.

Калиостро, округлив локоть, подставил его Марии; она покорно, не поднимая головы, взяла мужа под руку, и они удалились по дорожке между густых трав к дому.

Алексей Алексеевич закрыл лицо руками и опустился на скамью.

VIII

Так ои просидел долгое время в оцепенеиин, ие слыша ни свиста птнц, нн плеска пущенных садовником фонтанов. Он глядел под иоги иа песок, где ползали козявкн. Это были те самые плоские красные козявкн, у которых иа спине, у каждой, иарнсована рожица. Одни ползали, сцепнвшнсь, — рожнца к рожнце, — другне то вползали в трещину на плотио убитой дорожке, то вылезали оттуда безо всякой видимой надобиостн.

Алексей Алексеевнч думал о том, что очарование сегодняшнего утра разбило его жнзнь. Ему ие веруиться более к уютиым и безнадежиым мечтам об ндеальиой любвн: снние глаза Марии, два синих луча, проникли ему в сердце и разбуднли его. Но что ему в том: Мария уезжает, оин ие встретятся никогда. И сон и явь его разбиты, — какнх очароваииій ждать еще от жнзин?

И вдруг ои вспоминл, как Калностро протягивал ему табакерку и усмехался крнво, н им овладело бешеиство. Алексей Алексеевич вскочил и, еще ие зиая, что ои сделает, ио сделает что-то решительное, иадвииул шляпу иа глаза и зашагал к дому.

У дверей его встретнла Федосья Иваиовиа.

— Алекснс, — воскликиула оиа взволноваинo, — сейчас был кузиец н сказал, мошеииик, что раиьше как через два дня графскнй экипаж не почиинт.

IX

Известие, что гости остаются, смешало все мыслн Алексея Алексеевича, у иего начался озноб н дрожаине рук. Он вошел с тетушкой в дом н прнсел на канапе. Федосья Ивановиа, не поннмая хода его мыслей, спроснла — не послать лн в таком случае в соседнее село за кузнецамн?

— Нн под какнм вндом, — крикнул он, — ни за какнмн кузнецамн посылать не смейте! — И вдруг усмехиулся: — Нет, Федосья Ивановна, пусть гостн поживут у нас два дня... А вот, тетушка, вы, чай, и не разобралн, кто таков наш гость.

— Фенин какой-то.

— В том-то н дело, что не Фенин, а граф Феннкс, — сам Калиостро.

Федосья Ивановна шнроко раскрыла глаза н всплесиула пухлыми рукамн. Но Федосья Ивановна была русская женщнна, н поэтому нзвестие, что в доме нх — зиаменнтый колдун, поразнло ее с иной стороны: тетушка вдруг плюнула.

— Басурман, нехрнсть, простн госнодн, — сказала она с омерзеннем, — всю посуду теперь святой водой мыть прндется и комиаты святнть заново... Вот, не было заботы... Оиа тоже волшебннца?

— Да, тетушка. Графння — волшебннца.

— Так ведь им, проклятым, чай, пища другая совсем нужиа... Ах, Алекснс... Ведь онн, может, нашего н не едят, а ты не догадался... Поди спросн, — чего онн желают к завтраку...

Алексей Алексеевнч рассмеялся н пошел в библнотеку. Там, закурнв трубку, он иачал расхаживать н вдруг так стнсиул конец чубука зубамн, что янтарь хрустнул.

«Вызвать графа на дуэль, убнть и бежать с Марней за граннцу, — подумал ои н швырнул трубку на подоконник. — Но повод к дуэлн?.. Э, ие все ли равио...»

Алексей Алексеевнч вытащнл шпагу из иожен и начал осматрнвать лезвне. «Но можно ли драться с гостем?» В это время в глубнне комнаты, там, где была арка с задернутым малниовым заиавесом, скрнпнула половнца. Алексей Алексеевнч быстро поднял голову, но сейчас же забыл про скрнп, — мысли вихрем летелн у иего в голове. «Нет, прндется подождать, когда они отъедут, догнать их за речкой и там уж завязать ссору». Он остановнлся у окиа и, слушая, как стучнт сердце, проследил взглядом весь путь, пройденный им давеча с Марней, от беседки, вдоль озера, и до скамьи. «О мнлая», — прошептал ои.

Настал час завтрака. Алексей Алексеевич ожидал в столовой прихода гостей. Когда послышалнсь их шаги, у него потемнело в глазах. Вошла Марня с опущениымн ресннцами, сделала тетушке глубокнй реверанс и села к столу. Лнцо ее было бледно и прнпудрено, точио весь огонь души ее погас. Калиостро, развертывая салфетку, молча покоснлся иа Алексея Алексеевнча н сидел весь завтрак надувшись и иепрнятио, громко жуя. Федосья Иваиовна шепотом отдавала распоряження Фнмке н сама не ела.

Напрасио Алексей Алексеевнч горячнми взглядамн старался вызвать краску, хотя бы едва заметиое двнжеине на лнце Марнн: оиа была как восковая, а взгляды его каждый раз встречалнсь с ответнымн взглядами мужа, вннмательнымн и твердымн. И Алексей Алексеевич со свойственной ему внезапиостью впал в отчаянне.

Завтрак кончился. Марня, не поднимая глаз, удалилась во флигель. Калностро, пропустив вперед себя Алексея Алексеевнча, выразнл желание выкурить трубку в бнблнотеке.

Развалившнсь во вчерашием кресле, он некоторое время сопел чубуком, поглядывал изпод косматых бровей на Алексея Алексеевича, томившегося у окна, н вдруг громко н повелительио сказал:

— Я обдумал и решнл, — сегодня вечером я исполню ваше желанне: я пронзведу совершенную и полиую материалнзацню портрета госпожн Тулуповой.

Алексей Алексеевич дико взглянул на него н облизнул пересохшие губы. Калиостро подиялся с кресла и, вынув нз кармана оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, прнщелкнвая языком и посапывая.

Через час иачались приготовлення. Маргадон сиял портрет с гвоздя, тщательно обтер с иего пыль тряпкой, поставнл у стеиы, разостлал перед ннм ковер. В комиате были прибраны и выиесеиы все лншние вещн, иа окнах опущеиы занавесы. Алексею Алексеевичу было прнказано раздеться, лечь в постель н до сумерек лежать, ие принимая ии пнщи, ни пнтья.

Алексей Алексеевнч повниовался всему, че-

го от него требовали. Лежа в полутемной спальне, он чувствовал только, как голова его окована свинцовыми обручами. В пять часов Калиостро принес ему стакан бурой настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, хотя пойло было гнусное. В семь у него было облегчение желудка. В восемь, одетый в просторное и легкое платье, он вошел вместе с Калиостро в библиотеку, где перед портретом, ярко озаряя его, горели в канделябрах восковые свечи.

X

— Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание должно происходить без зевоты, всхлипов, кашля, одышки и чихания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит.

Так говорил Калиостро, усаживая Алексея Алексеевича в низкое и покойное кресло перед портретом. По красному лицу его с прыгающими бровями, из-под буклей парика, текли капли пота. Двигаясь и не переставая говорить, он знаками отдавал приказания Маргадону. Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в медную чашку и поставил ее перед Алексеем Алексеевичем на низенький столик, затем вынул из футляра и отнес в глубину комнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным грифом, принес большую тонкую и, видимо, очень прочную сеть и, растянув ее в руках, сел на пол близ двери.

В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около кресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг.

— Повторяю, — говорил он, — вы должны напрячь все воображение и представить эту особу, — он ткнул мелом в сторону портрета, — без покровов, то есть нагую... От силы вашего воображения будут зависеть все подробности ее сложения... Я помню, — в тысяча пятьсот девятнадцатом году, в Париже, герцог де Гиз просил меня материализировать мадам де Севиньяк, умершую от желудка... Я не успел предупредить, герцог был слишком нетерпелив, и мадам де Севиньяк оказалась под платьем как бы набитым соломою мешком... Я потерял восемь тысяч ливров, и мне стоило большого труда загнать это разъяренное чучело обратно в портрет. Итак, вообразив со всею тщательностью сложение желаемой вами особы, вы представьте ее затем в одежде, но в этом случае поступайте не горячась, ибо, как это было в тысяча двести пятьдесят первом году, когда я вызывал, по просьбе вдовы покойного, дух французского короля Людовика Лысого, он появился одетый лишь на передней половине тела, задняя же половина была неодетая и возбуждала удивление... Маргадон,— позвал Калиостро, выпрямившись и облизывая испачканные мелом пальцы, — поди и позови графиню.

Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии двенадцать знаков зодиака, двадцать два знака каббалы, ключ и врата, четыре стихии, три начала, семь сфер. Окончив чертить, он вошел в круг.

— Вы будете иметь совершенный образец моего искусства, — сказал он важно, — способность речи, пищеварение, все отправления органов и чувствительность будут у нее такие же, как и у человека, рожденного от женщины.

Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим, как труп, в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время раздались легкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, что вошла Мария, и застонал, делая последнее усилие освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами на глаза.

— Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям... Я начинаю, — повелительно проговорил Калиостро, взял со столика длинный стальной стилет, вошел в круг и начертил великий знак Макропозопуса. Замкнувшись, он сильным движением поднял руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами и висящим носом окаменело.

За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки струн.

— Я замкнут. Я крепко защищен всеми знаками. Я силен. Я приказываю, — нараспев, медленно и все усиливая голос, заговорил Калиостро. — О духи воздуха, Сильфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слово Эша... Делайте ваше дело...

Алексей Алексеевич глядел на озаренное свечами надменное лицо Прасковьи Павловны, гордо повернутое на высокой шее. В минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, все томления бессонных ночей, и лицо ее, еще так недавно желанное, показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно-желтым, как болезнь. Но, чувствуя, что все же нужно повиноваться, он перевел глаза ниже, на обнаженные плечи Прасковьи Павловны и, сделав над собой усилие, стал воображать ее, как было сказано. Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзили его.

Когда было произнесено слово Эша, огонь свечей заколебался, по комнате прошел затхлый ветер. Алексей Алексеевич впился пальцами в ручки кресла. Калиостро продолжал, усиливая голос:

— Духи земли, Гномусы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слог Эл. Делайте ваше дело.

Он поднял стилет и опустил его, и будто от подземного толчка весь дом задрожал, зазвенела хрустальная люстра, захлопали в доме двери, и из книжного шкапа, из распахнувшейся дверцы, упала на пол книга. Калиостро продолжал:

— Духи вод, Нимфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как звук Ра... Придите и делайте ваше дело...

При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдаленный шум будто набегающего на песок прибоя и, не отрывая глаз от Прасковьи Павловны, с ужасом заметил, как все формы лица ее начали становиться зыбкими, неуловимыми...

— Духи огня, Саламандры, — громовым

уже голосом говорил Калиостро, — могущественные и своевольные, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как буква Иод. Духи огня, Саламандры, призываю и заклинаю вас знаком Соломона подчиниться и делать свое дело... — Он поднял обе руки и вытянулся на цыпочках в величайшем напряжении. — Делайте ваше дело согласно законам натуры, не отступая от формы, не глумясь и не выходя из моего повиновения.

И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей покраснели, и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошли ослепительные лучи. Вспыхнули травы в медном горшке. Голос Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея Алексеевича.

Но она не успела окончить песни, — Алексей Алексеевич вскрикнул дико: голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отделилась от полотна портрета и разлепила губы.

— Дайте мне руку, — проговорила она тонким, холодным и злым голосом.

В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол мандолина, как порывисто вздохнула Мария, как засопел Калиостро.

— Дайте же мне руку, я освобожусь, — повторила голова Прасковьи Павловны.

— Руку ей, руку дайте! — воскликнул Калиостро.

Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету. Из него быстро высунулась маленькая, голая до локтя рука Прасковьи Павловны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и спрыгнула на ковер.

Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертясь и оправляя волосы, заговорила:

— Удивляюсь... Спала я, что ли?.. Что за цвет лица... И платье все помято... И фасон чудной, — жмет в груди... Ах, что-то я не могу припомнить... Забыла... — Она поднесла пальцы к глазам. — Забыла, все забыла...

Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошлась, и взгляд ее темных, матовых глаз остановился на Алексее Алексеевиче. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть.

— Вы так странно на меня смотрите, — я страшусь, — проговорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной двери. — Нам нужно объясниться.

XI

Когда они вышли, Калиостро положил руки под шубою на поясницу и рассмеялся.

— Отменный получился кадавр, — проговорил он, трясясь всем телом. Затем повернулся на каблуках и уже без смеха стал глядеть на Марию. — Плачете? — Она поспешно отерла слезы, поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову. — Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть над мертвой и живой природой, не так ли? — Мария, не поднимая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа, лицо ее было искажено пережитым страхом и омерзением. — А юноша ваш прекрасный предпочел утешаться с мерзким кадавром, не с вами...

Мария ответила тихо и твердо:

— Вы ответите на Страшном суде за чародейство.

Тогда Калиостро побагровел, вытащил руки из-под шубы и совсем прикрылся бровями. Но Мария стояла неподвижно перед ним, и он сказал с чрезвычайной вкрадчивостью:

— Три года, сударыня, не прибегая ни к какому искусству, я терпеливо жду вашей любви. Вы же ежечасно, как волк, смотрите в лес. Нехорошо, если придет конец моему терпению.

— Над любовью моей вы все равно не властны, — поспешно ответила Мария, — не заставите вас полюбить.

— Нет, заставлю. — На это Мария вдруг усмехнулась, и его глаза сейчас же налились кровью. — Я вас в пузырек посажу, сударыня, в кармане буду носить.

— Все равно, — повторила она, — власти над любовью нет у вас. Жива буду — другому отдам, не вам.

— На этот раз вы замолчите, — пробормотал Калиостро, схватывая со столика стилет, но Маргадон, стоявший до этого неподвижно за его спиной, подскочил к нему и с необыкновенным проворством поймал его за руку. Калиостро, зарычав, левой рукой ударил Маргадона в лицо, — арап зажмурился, — он отшвырнул стилет, шумно выпыхнул воздух и вышел из комнаты.

XII

Алексей Алексеевич и то, что было подобно женщине и что он называл Прасковьей Павловной, шли по дорожке через поляну к прудам. Воздух был влажен. Над садом поднялась луна. Ее седой свет озарял всю широкую поляну. Отсвечивала кое-где паутина, уже протянутая пауками в густо-синей траве. Белеющими пятнами обозначались цветы, блестела обильная роса. Вдали над прудами поднимались испарения серебристым сиянием.

Алексей Алексеевич шел молча, сжав рот и глядя под ноги. Зато Прасковья Павловна, глядя на висящий над пышными грудами рощ светлый шар луны, говорила не переставая...

— Ах, луна, луна! Алексис, вы бесчувственны к этим чарам.

Холодный ее голосок сыпал словами, как стекляшечками, и невыносимым звуком все время посвистывал шелк ее платья. От этих стеклянных слов и шелкового свиста Алексей Алексеевич стискивал челюсти. Сердце его лежало в груди тяжелым ледяным комом. Он не дивился тому, что рука об руку с ним идет то, что час назад было лишь в его воображении. Болтающее жеманное существо, в широком платье с узким лифом, бледное от лунно-

го света, с большими тенями в глазных впадинах, казалось ему столь же бесплотным, как его прежняя мечта. И напрасно он повторял с упрямством: «Насладись же, насладись ею, ощути...» — он не мог преодолеть в себе отвращения.

Дойдя до пруда, до скамьи, где утром он говорил с Марией, Алексей Алексеевич предложил Прасковье Павловне присесть. Она, распушив платье, сейчас же села.

— Алексис, — прошептала она, улыбаясь всем ртом лунному шару, — Алексис, вы сидите с дамой бесчувственно. Надо же знать — сколь приятна женщине дерзость.

Алексей Алексеевич ответил сквозь зубы:

— Если бы знали, сколько я мечтал о вас, не стали бы делать этих упреков.

— Упреки? — Она рассмеялась, словно рассыпалась стеклышечками. — Упреки... Но вы все только руки жмете, и то слабо. Хотя бы обняли меня.

Алексей Алексеевич поднял голову, всмотрелся, и сердце его дрогнуло. Правою рукой он обнял Прасковью Павловну за плечи, левою взял ее руки. Глубоко открытая ее грудь, с чуть проступающими ключицами, ровно и покойно дышала. Он близко придвинулся к ее лицу, стараясь уловить его прелесть.

— Мечта моя, — сказал он с тоскою. Она слегка отстранилась, усмехаясь, покачала головой и взглянула в глаза ему — поблескивающими лунными точками, прозрачными глазами. — Я, как во сне, с вами, Прасковья, — наклоняюсь, чтобы напиться, и вода уходит.

— Обнимите покрепче, — сказала она.

Тогда он сжал ее со всей силой и поцеловал в прохладные губы, и они ответили на поцелуй с такой неожиданной и торопливой жадностью, что он сейчас же откинулся: омерзением, гадливостью, страхом стиснуло ему горло.

После некоторого молчания она проговорила, сладко потягиваясь:

— Мне сыро, есть хочу.

Тогда он быстро поднялся и зашагал к дому, когда же услышал за собой шелест платья, прибавил шагу, даже побежал, но Прасковья Павловна сейчас же догнала его и повисла на руке.

— Алексис, у вас претяжелый характер.

— Слушайте, — крикнул он, останавливаясь, — не лучше ли нам расстаться!..

— Нет, совсем не лучше, — она перегнулась и заглянула ему в лицо, — мне с вами приятно.

— Но вы омерзительны мне, поймите! — Он дернул руку и побежал, и она, не выпуская руки, полетела за ним по тропинке.

— Не верю, не верю, ведь сами сказали, что я мечта ваша...

— Все-таки вы отвяжитесь от меня!

— Нет, мой друг, до смерти не отвяжусь...

Они об руку влетели в дом. Алексей Алексеевич бросился в кресло, она же, обмахиваясь веером, стала перед ним и глядела весело.

— Много, много, мой милый, придется над вами потрудиться, чтобы обуздать ваш характер... Вы себялюбец. — Она сложила веер и присела на ручку кресла к Алексею Алексеевичу. — Дружок, мне ужасно чего-то все хочется, не то есть, не то пить... А то будто вода бежит по моему телу...

Алексей Алексеевич сорвался с кресла и, подойдя к двери, потянул за большую бисерную кисть звонка.

— Вам принесут еду, питье, все, что хотите, — успокойтесь.

Далеко в доме брякнул колокольчик, и послышались мягкие шаги Федосьи Ивановны.

XIII

Алексей Алексеевич, загораживая собою полуоткрытую дверь, сказал тетушке, чтобы она распорядилась подать в библиотеку какой-нибудь еды. Федосья Ивановна внимательно и странно взглянула на Алексея Алексеевича, молча отстранила его от двери, вошла в комнату и сейчас же увидела тощую, — как она потом рассказывала, — черноватую женщину, даже и не женщину, а моль дохлую, — стоит, вертит веером и смотрит пронзительно.

Тетушка немедленно же разинула рот и «села на ноги».

— Федоси, — писклявым голосом сказала ей та, черноватая, — не узнаешь меня, моя милая?..

Тетушка еще сильнее села, уперлась ногами и глядела на пустую раму от портрета. Когда же Прасковья Павловна приблизилась на шаг, тетушка подняла руку с крестным знаменьем...

— Ну, чего страшиться, Федосья Ивановна, все это очень просто, — с досадою сказал Алексей Алексеевич, — эта дама — плод чародейства графа Феникса; идите и распорядитесь насчет еды...

Морщась, как от изжоги, он подошел к двери в сад, оперся локтем о притолоку и стал глядеть на поляну, залитую лунным светом. Он слышал затем, как тетушка забормотала молитву, сорвалась с места и утиной рысью выбежала из комнаты, как злобно захихикала вслед ей Прасковья Павловна, как в доме началась испуганная беготня и шепот. Но он не оборачивался и с тоскливой мукой глядел на освещенные окна флигеля.

В комнате зазвенела посуда, — это Фимка накрывала столик, расставляла судки и тарелки и, втягивая голову в плечи, с ужасом все время косилась через плечо.

Прасковья Павловна села к столу и сказала Фимке:

— Раба, что в этом судке?

— Сморчки, матушка барыня.

— Положи.

Фимка подала грибы и стала за стулом, закрыв передником рот. Прасковья Павловна откушала и велела положить себе лапши.

— Дурно служишь, — сказала она, принимая тарелку. — Хоть ты и девка деревенская, а служить должна жеманно.

— Буду стараться, матушка барыня.

— Приседай, говоря с госпожою! — Пра-

сковья Павловна впилась в нее темными глазами и вдруг стукнула ложкой по столу. — Раба, присядь!.. Ногу правую подворачивай... На стороны, на спину не вались... Подол держи... Улыбайся... Слащавее...

Алексей Алексеевич с отвращением глядел на эту сцену.

— Оставьте девку в покое, — наконец сказал он. — Фимка, убирайся.

Прасковья Павловна, держа в руке ложку, с удивлением оглянулась на него, дернула плечиком:

— Алексис, мой друг, не вы, я здесь госпожа. Эту же девку велю высечь, чтобы вразумительнее понимала науку...

Кровь бешенства хлынула в глаза Алексею Алексеевичу, но он сдержался и вышел в сад.

XIV

Алексей Алексеевич, засунув глубоко руки в карманы камзола, шел по поляне, — росой замочило ему чулки до колен, в голове рождались бешеные мысли. Бежать? Утопиться? Убить ее? Убить графа? Убиться самому?.. Но мысли, вспыхнув, пресекались, — он чувствовал, что погиб; проклятое существо впилось в него, как паук, и, кто знает, какой еще страшной властью обладает оно?

— Сам, сам накликал, — бормотал он, — вызвал из небытия мечту, плод бессонной ночи... Гнусным чародейством построили ей тело. Горячечное воображение не придумает подобной пакости...

Алексей Алексеевич остановился и отер холодный пот со лба... «А вдруг это только сон? Ущипну себя и проснусь в чистой постели свежим утром... Увижу лужок, гусей, простую девку с граблями...»

В тоске он замотал головой, поднял глаза. Луна высоко стояла над садом, и мглистые облачка скрадывали ее свет. С речки доносилось унылое уханье лягушек...

В это время в тишине сада раздался резкий и тонкий голос Прасковьи Павловны, она звала: «Алексис!» Не отвечая, он только топнул ногой; идти на зов — нельзя, бежать было постыдно. Он увидал приближающиеся к нему три фигуры: Маргадона, Калиостро и Прасковьи Павловны. Она подошла первой и крикнула злобно:

— Все знаю, голубчик! Я-то думала — вид рассеянный и дерзкие слова — от любовной причуды. А у вас другая на уме. Слышите, другой около себя не потерплю!..

— Ай-ай-ай! — проговорил Калиостро, приближаясь. — Я-то старался до седьмого пота, а вы, сударь, нос от нее воротите.

— Любовник перекидчивый,— взвизгнула Прасковья Павловна, — на цепь вас велю посадить в подполье.

— Нет, сударыня, на цепь его сажать не годится, — ответил Калиостро, — а вы, сударь, не упрямьтесь, домой нужно идти, — барыня спать хочет, и одной ей ложиться в кровать прискорбно.

Давешнее оцепенение снова овладело Алексеем Алексеевичем, он вздохнул и поплелся к дому, увлекаемый под руку Прасковьей Павловной. Но уже у самых дверей он обернулся и увидел в окне флигеля на занавесе женскую тень. Он рванулся и закричал: «Мария!» Но сзади его подхватил Маргадон, втолкнул в комнату и запер стеклянную дверь.

Алексей Алексеевич вскрикнул потому, что словно пелена спала у него с глаз: он понял, в чем спасение. Оставшись с Прасковьей Павловной наедине, он закурил трубку, сел на книжную лесенку и сделал вид, будто слушает. Прасковья Павловна грозилась сгноить его на цепи, кричала, что весь дом против нее и завтра же она выкинет на двор рухлядишку Федосьи Ивановны, выдерет Фимке волосы, перепорет всю дворню, наведет свои порядки...

Алексей Алексеевич ждал, когда она устанет кричать, но у нее злости не убавлялось. Он слушал ее и не слышал, — сердце его часто билось. Он решил действовать. Выколотил трубку и — встал, потянулся.

— Все это мелочи, — проговорил он, зевая, — идемте спать.

Прасковья Павловна сейчас же оборвала поток слов и изумленно, радостно усмехнулась запекшимися губами. Алексей Алексеевич взял со стола зажженный канделябр и отогнул в арке занавес, пропуская вперед себя Прасковью Павловну. Когда же она прошла, он поднес горящие свечи к занавесу, и алый бархат его мгновенно был охвачен огнем.

— Пожар! — не своим голосом закричал Алексей Алексеевич, швыряя канделябр, и побежал по длинной галерее, загибающей к флигелю, где были гости.

Один только раз он приостановился, обернулся и видел, как Прасковья Павловна, вскрикивая, срывала худыми руками пылающий занавес. Когда в дали галереи послышались голоса и топот ног, Алексей Алексеевич прыгнул к окну и прижался к его глубокой нише.

XV

Мимо него пробежали с испуганными восклицаниями Маргадон в развевающемся халате и Калиостро в ночном колпаке, в пестрой длинной рубахе и без панталон. Они скрылись за поворотом, откуда валил дым. Тогда Алексей Алексеевич бросился к флигелю, куда вела одна дверь со стороны галереи, другая открывалась прямо в сад. Там-то он и увидел Марию стоящею на пороге. Она была в белой шали, накинутой поверх платья, и в чепчике. Алексей Алексеевич распахнул окно, выскочил из галереи в сад и подбежал к молодой женщине.

— Мария, — проговорил он, складывая руки на груди, — скажите одно только слово... Подождите... Если — нет, я погиб... Если — да, я жив, жив вечно... Скажите — любите вы меня?

У нее вырвался легкий короткий крик, она подняла руки, обвила ими шею Алексея Алексеевича и с откинутой головой, с льющимися

слезами, глядя сквозь слёзы в глаза ему, проговорнла взволноваиио:

— Люблю вас.

И когда оиа сказала эти слова, с иего спалн чары: сердце растопнлось, горячие волиы крови зашумели по жилам, радостио вдохнул он воздух ночн и благоухаиие юного тела Марнн, взял в ладоии ее заплакаииое лнцо и поцеловал в глаза.

— Марня, бегнте этой аллеей до пруда, ждите меия в беседке. Не забудьте — когда вы перейдете мостик, дерните за цепь, и ои поднимется... Там вы будете в безопасиостн...

Марня кивиула головой в зиак того, что все поияла, и, прндерживая платье, быстро пошла по указаииому направлеиию, обериулась, усмехнулась радостио и скрылась в густой тени аллеи.

Тогда Алексей Алексеевич вытащил нз ножеи шпагу н кииулся в дом через балконные двери.

Сбив с иог Фнмку, решительио отстраинв Федосью Иваиовиу, повнсшую было иа его руке, растолкав перепугаииую челядь, он вбежал в библиотеку. Комиата была полна дыма. Пять свечей второго канделябра едва-едва коптяще-красиыми язычкамн освещали разбросаииые по всему полу книги из повалнвшегося шкапа, Маргадоиа, который топтал тлеющий ковер, и Калиостро, присевшего у кресла, и в кресле скорченное, с темиыми ребрами, существо, едва прикрытое лохмотьямн обгоревшего платья. При виде Алексея Алексеевнча оио зашипело, сорвалось с кресла и устремилось ему иавстречу. Но он, вскрикиув, вытяиул перед собой шпагу, и оио, с воплем отчаяиня и злобы, отшатиулось от устремлеиного иа иего лезвия, кииулось в глубь комнаты н исчезло за книжиымн шкапамн.

В то же время Калиостро, загородившнсь креслом, делал Маргадону знакн. Эфноп оставнл топтать ковер н стал сбоку прнближаться к Алексею Алексеевнчу, вытягивая иож нз-за пояса. Но тот, предупреждая прыжок, сам выбросился вперед с вытянутой рукою, и лезвие шпаги до половнны воизнлось Маргадону в плечо. Эфиоп крякиул и, хватая воздух, повалнлся навзиичь. Тогда Калиостро швырнул в Алексея Алексеевнча креслом н, загораживаясь предметами н бросая их, вертелся по комнате с иеобыкновенным для его лет н тучностн проворством. Алексей Алексеевнч гоиялся за инм, стараясь ударить шпагой. Но Калностро удалось выскользиуть в галерею, откуда ои выпрыгиул через первое же открытое окно в сад и большими прыжкамн, задирая голые иогн, побежал к прудам.

Алексей Алексеевич иастнг его лишь у мостнка, ведущего к беседке, где между колонн смутио белело платье Марин. Калиостро, зарычав, кииулся через мостик, не вндя, что средняя часть его подията, — взмахиул руками и с тяжелым плеском, как куль, упал в воду. Раздался слабый крнк Марни. Зангрвла лунная зыбь по поверхности пруда, и иизко иад травой, с длииным свистом, полетела испуганная птичка. И сиова стало тихо: ии звука нн на пруду, ни в темиых древесных чащах.

Алексей Алексеевнч, всматрнваясь, взошел иа мостнк и наклоннлся у края разъятой его частн. И вдруг у самой сван, у воды, увндел глаза, — оин медлеиио мигиули. Он различил поднятое лнцо, щетнннстый череп н торчащне уши Калностро.

— Наверх вы все равио не подниметесь,— сказал ему Алексей Алексеевич, — свая склнзкая, и я предупреждаю: если вы только опять начиете свои фокусы, я вас заколю, — вы иегодяй. — Он фыркнул иосом. — Сидите лучше смирно, вас сейчас вытащат. — Ои приложнл ладоии ко рту н закрнчал: — Эй, люди, сюда! — И скоро вдали раздались голоса людей, и иачали подбегать мальчишки, дворовые мужнки, девки, кто с вилами, кто с косой, кто просто с дубииой, — все былн спросоиок н встрепаниые.

Алексей Алексеевич приказал принести веревок, связать Калностро н вытащить нз воды. Трое рослых мужнков, сияв портки и крестясь, полезли в воду. Под мостнком, между сваями, началась возия.

— Алексей Алексеевич, ои, пропасти на иего иет, царапается, — кричали оттуда.

— За щеки его хватай, тяин из воды, — крнчалн с мостнка.

Наконец Калностро скрутнлн веревками и вытащили иа берег. Ои более ие сопротивлялся и, в облнпшей рубашке, опустив голову и постукнвая от холода зубами, пошел в толпе дворовых к дому.

Алексей Алексеевнч, оставшись один, стал звать Марию, сиачала тнхо, потом все громче, испугаииее. Оиа ие отвечала. Ои обежал пруд, вскочнл в утлую лодочку и, упираясь шестом, переехал иа островок. Мария лежала в беседке на деревяином полу. Алексей Алексеевнч обхватнл ее, прнподиял, прислоннл к себе ее бессильио клонившуюся голову и, целуя ее лнцо, едва не плакал от жалости н любви к ней. Накоиец он почувствовал, как ее тело стало легче, подиялась и опустилась ее грудь н светловолосая голова ее легла удобиее иа его плече. Не раскрывая глаз, Мария проговорила едва слышио:

— Не покндайте меия.

XVI

Пожар удалось потушнть. Выгорела лншь библиотечиая комиата, — водою и огнем в ией попорчеио было миого кииг н вещей, — н дотла сгорело полотио иа портрете Прасковьи Павловны.

На рассвете к крыльцу подалн телегу, в иее иа свежее сеио положнлн вещн гостей н посадили Маргадоиа, — ои был совсем плох: весь серый, земляиого цвета, с отвисшнм ртом н с головою, закутаииой в два теплых платка. Народ, стоявшнй у крыльца и вокруг телеги, стал жалеть старнка, — все-такн человек подиевольиый, слуга, пропадает не по своей охоте. Скотннца дала ему иа дорогу каленое яичко. Зато, когда вывели все еще связаиного Калиостро, в иахлобучеииом кое-как

парике и в шляпе с растрепаииыми перьями, в иакииутой поверх иочиой рубашки песцовой шубе, мальчишки засвистали, бабы иачали плеваться, а подслеповатый мужик, Спиридои, без шапки, распоясаииый и босиком, всю иочь больше всех суетившийся иа глазах у бариии, подскочил к Калиостро и развериулся, чтобы дать ему в ухо, ио его оттащили. Калиостро сам влез в телегу, иасупленный, с иависшими бровями. Мордатый пареиь, славившийся в деревие силой и отчаяиностью, весело прыгиул иа иахлестки, замотал веревочиыми вожжами, сивая кобылеика влезла в хомут, и телега троиулась под свист и улюлюкаиье двории.

— Федька, — закричал Алексей Алексеевич с крыльца, — повезешь их прямо в Смолеиск и там сдай городиичему.

— Будьте покойиы, Алексей Алексеевич,— уже издали ответил Федька, — доставим в полиом порядке, ие впервой.

XVII

После обморока в беседке Мария едва могла дойти до дому. Ее уложили во флигеле, в спальие, предиазиачеииой для особо имеиитых гостей. Над кроватью полуоткииули балдахии, иа окиах спустили шторы, и Мария забылась сиом. Так оиа проспала до полудия. Федосья Ивановиа, часто подходившая к дверям, услышала ее бормотаиье, вошла в спальню и увидела, что Мария лежит с закрытыми глазами, ярко-румяиая и ие переставая говорит про себя тихим голосом. У нее иачалась горячка и держала ее между жизиью и смертью более месяца.

Алексей Алексеевич едва ие сошел с ума от беспокойства и в тот же деиь сам поскакал в Смолеиск за лекарем. На обратиом пути ои узиал от лекаря, что к смолеискому городиичему привозили иа телеге двух каких-то иностраицев, городиичий их сиачала арестовал, а затем с большим почетом отправил по Варшавскому шляху. Осмотрев Марию, лекарь сказал, что одио из двух: либо горячка возьмет свое, либо человек возьмет свое.

Алексей Алексеевич целые дии теперь проводил у постели Марии, спал в кресле у окиа, почти иичего ие ел, измеиился, сильио исхудал, — его лицо возмужало, стали влажиыми глаза; в каштановых волосах появилась белая прядь.

Одиажды, ближе к вечеру, ои дремал и ие дремал, сидя в кресле. Сквозь персиковые занавесы солице протяиуло длиииые лучи с таицующими пылиивками; билась соииая муха о стекло; Алексей Алексеевич, разлепляя веки, поглядывал на пылиики в луче, иа муху. Камииные часы спокойио отстукивали миииуты жизии. И вот сквозь дремоту Алексей Алексеевич иачал ощущать какую-то перемену во всем, заворочался, обериулся к кровати и увидел раскрытые сииие глаза Марии. Оиа смотрела иа иего и смешио морщилась от изумлеиия и усилия припомиить что-то. Ои опустился иа колеии у кровати. Мария проговорила:

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь и кто вы такой? — Алексей Алексеевич, ие в силах от волиеиия говорить, осторожио взял ее руку и прижался к ией губами. — Я давио смотрю, как вы дремлете, — продолжала Мария, — у вас такое грустиое лицо, как у родиого, — она опять сморщилась, ио сейчас же бросила вспомииать. — Вот если бы вы открыли окио, было бы хорошо...

Алексей Алексеевич раздвииул шторы, раскрыл окиа, и вместе с теплым и душистым воздухом сада в спальию влетел веселый шум птичьего свиста и пеиия. У Марии появился румяиец. Улыбаясь, оиа слушала, и вот издалека три раза прокуковала запоздалая глупая кукушка. Глаза Марии иалились слезами, Алексей Алексеевич иаклоиился к ией, оиа прошептала:

— Спасибо вам за все...

Вскоре оиа усиула крепко и иадолго. Началось ее выздоровлеиие, и с этого дия Алексей Алексеевич ие проводил уже более иочей в ее спальие.

Вместе с выздоровлением Марии иастало то, что поиимала только одиа Федосья Ивановна: ии мииуты Алексей Алексеевич и Мария не могли пробыть друг без друга, а когда сходились, молчали: Мария думала, Алексей Алексеевич хмурился, кусал губы, стоял или сидел в совершеииo неудобиых для человека положеииях.

Когда одиажды тетушка заговорила с иим:

— Как же ты все-таки, Алексис, прости меия за иескромиость, думаешь поступить с Машеиькой? К мужу ее отправишь или еще как? — ои пришел в ярость:

— Мария ие жеиа своему мужу. Ее дом здесь. А если она меия видеть ие желает, я могу уехать, пойду в армию, подставлю грудь пулям.

Ночи ои проводил скверио: его мучили кошмары, иаваливались на грудь, давили горло. Ои вставал поутру разбитый и до пробуждеиия Марии бродил мрачиый и злой по дому, ио, едва только раздавался ее голос, ои сразу успокаивался, шел к иеи и глядел иа иее запавшими сухими глазами.

Настал август. Над садом, мерцая в прудах, высыпали бесчислеииые звезды, облачиым светом белел Млечиый Путь. Из сада пахло сырыми листьями. Улетели птицы.

В одиу из таких иочей Алексей Алексеевич и Мария сидели в ее спальие у камииа, где, перебегая из конца в коиец огоиьками, догорало полеио. И вот, в полутьме, в глубиие комиаты, из-за полога выдвииулась теиь. Алексей Алексеевич, вздрогиув, всмотрелся. Подияла голову и Мария. Теиь медлеиио исчезла. Прошла минута тишииы. Мария бросилась к Алексею Алексеевичу, обхватила его, прижалась и повторяла отчаяииым голосом:

— Я ие отдам тебя... Я не отдам тебя...

В эту мииуту все разделявшее их, все измышлеииое и сложиое — разлетелось, как дым от ветра. Остались только губы, прижатые к губам, глаза, глядящие в глаза: быть может, быстротечиое, быть может, грустное, — кто измерил его? — счастье живой любви.

1921

ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

(Из рукописной книги князя Туренева)

На седьмом десятке жизни случилась со мной великая беда: руки, ноги опухли, образ божий — лицо сделалось безобразное, как бабы говорят — решетом не покроешь. Одолели смертные мысли, взял страх, — волосы поднялись дыбом. Ночью слез я с лежанки, пал под образа и положил зарок — потрудиться, чем бог меня вразумит.

Как вешним водам сойти, — послал я нарочного в Москву, к знакомцу, к дьяку Щелкалову, с подарками: два десятка гусей копченых, полбочонка меду да боченок яблок моченых, кислых, чтобы выдал мне из дворцовой кладовой тетрадь в сто листов бумаги доброй и чернил — чем писать.

И вот ныне, во исполнение зарока, припоминаю все, что видели грешные мои глаза в прошедшие лютые годы. Из припомненного выбираю достойное удивления: неисповедим путь человеческий. А как стал припоминать, вначале-то, — господи боже. Плюнул, положил тетрадь за образ заступницы: дрянь люди, хуже зверя лесного. Злодейству их нет сытости. Тьфу...

Но отойдя и поразмыслив, положил я все же начать труд грешный и начинаю неторопливым рассказом о необыкновенном житии блаженного Нифонта. Его еще и по сию пору помнят в нашем краю.

. . . .

В миру Нифонта звали Наумом. Отец его, Иван Афанасьевич, урожденец села Поливанова, при церкви был в попах и в давних летах умер. Наума взял к себе материнин дядя его, дьякон Гремячев; у дьякона Наум научился грамоте, и читал Псалтырь, и был в дьячках, и через небольшое время посвящен в городе Коломне, при церкви Николая-чудотворца, в попы. Там-то я его и увидел в первый раз.

Стоял у нас в Коломне наш, князей Туреневых, осадный двор, куда бежали мы из деревень и садились в осаду, когда с Дикого поля шел крымский хан, с большими людьми. А дороги хану не было другой, как между Донцом и Ворсклой, — либо на Серпухов, либо на Коломну. Здесь по берегу Оки сторожи стояли, а в городах — береговые полки. Ока так и звалась тогда — Непрелазной стеной.

Старики говорили, — велик при царе Иване был город Коломна, а я его помню, — уж запустел: в последний раз крымский хан перелезал Оку через Быстрый брод, — с тех пор лет двадцать о крымцах не было слышно, и стали вольные людишки разбегаться из города, — кто на промыслы, кто в Москву, кто в степь — воровать. Остались в Коломне церковные да монастырские служители, да на осадных дворах — дворники, да на посаде среди пуста — заколоченных лавок, бурьяна на огородах — жило стрельцов с полсотни, сторожа Гуляй-города да казенные ямщики.

В пустом городе — скука. Одни галки да голуби ворошатся на гнилой кровле, на деревянной городской стене.

Был в те времена великий голод по всей земле. Три лета земля не родила. Скот весь съели. Пашню не пахали и не сеяли. Бродили люди по лесам, по дорогам: кто в Сибирь тянул, кто на север, где рыбы много, кто бежал за рубеж на литовские, на днепровские украины. В Москве царь Борис даром раздавал хлеб, и такое множество народа брело в Москву, — дикие звери белым днем драли на дорогах отсталых, тех, кто с голоду ложился.

Разбойников завелось больше, чем жителей. Сельский дом наш сожгли бродячие люди, и мы с матушкой от великого страха жили в Коломне за стеной.

Помню, мы с матушкой сидим на дворе, на крыльце на солнцепеке. Около стоит толстая, как бочка, попадья, босая, в лисьей рваной шубе, и говорит:

— Наступает кончение веку, матушка княгиня: иду я сейчас через мост, а на мосту безместные попы сидят, восемь попов, и все они драные, нечесаные, и бранятся матерно, а иные борются и на кулачки дерутся. Я их срамить. А один мне поп, Наум, нашего приходу, говорит: «Царь Борис, слышь, дьяволу душу продал, знается с колдунами и службы не стоит, и быть нам под Борисом нельзя, — мы все, попы, уйдем в Дикую степь к казакам, к атаману Ворону-Носу. Вы еще нас попомните».

Матушка испугалась, увела меня в светлицу. А вечером поп Наум подошел к нашим воротам и стал бить в них рукой, покуда его не впустили.

Наум сел на лавку в избе, где мы ужинали, сам худой, борода спутанная, глаза беловатые, дикие, из подрясника полбока выдрано, — тело видно. И стал он говорить дерзко:

— Теперь по ночам звезда с хвостом всходит. В Серпухове на торгу все слышали — скачут кони, а ни коней, ни верховых не видно, одни подковы видны да пыль. Я теперь поп безместный, протопоп мне по шее дал: «Николай-чудотворец, — говорит, — и без тебя обойдется». Дайте мне нагольный полушубок да шапку баранью, — я уйду в степь — воровать. А не дадите мне шапку да полушубок — наложу на вас епитимью, — я еще не расстриженный, — или еще чего-нибудь сделаю. Все равно теперь пропадать. Мы, русские люди, все проклятые. У нас дна нет.

Сейчас же дали полушубок, и шапку, и пирогов на дорогу. Наум всех нас благословил: «В остатний, — говорит, — раз». Глаза кулаком вытер крепко и ушел — бухнул дверью. И слышим — засвистел в темноте, на улице, из слободы ему безместные попы откликнулись. Матушка заплакала, — так стало нам всем страшно.

Прошло с тех пор более году. Голод, слава богу, кончился, но в народе покою не было. В Коломне, бывало, соберется торг на площади у пустого гостиного двора, и пойдут разговоры: никому не до торга. Собьются в круг и слушают рассказы про то, как знающие бабы вынимают человеческий след, и след тот сушат в печи, и толкут, и бросают на ветер, и про то, как вышли из Волыни колдуны, разбрелись по русской земле, — напускают пор-

чи, засушье, гнилой ветер, наводят марево на хлеба, а выйти тем колдунам велел польский король, и про то, как по деревням шатаются лихие люди — скоморохи и домрачеи, — бренчат, скачут, крутятся, на дудках дудят, а придут на деревню — раскинут рогожную палатку, поставят в ней «Египетские врата» и заманивают народ глядеть: пятерых за копейку. Ну, как не пойти, не поглядеть! А посмотришь в «Египетские врата», засосет, затянет — закружится голова, и летит человек через те врата в место без дна, в пропасть, где ни земли, ни солнца, ни звезд — бездна. Так все село и выведут лихие люди.

Московские наезжие купчишки кричали на торгу воровские слова про царя Бориса. На Петров день стольник Мясев, наш воевода, велел одного купчишку схватить, его схватили, и били на площади кнутом, и пол-языка ему резали. Рухлядишку его, что была на возу, велено всем народом грабить, а самого выбить из города.

Но народ не унимался. И вот пошли слухи про царевича Димитрия, что не зарезан он в Угличе, а скрыт был князьями Черкасскими, и увезен в Литву, и ныне, войдя в возраст, собирает войско в Самборе — идти воевать отцов престол и опоганенную православную веру.

Помню — Великим постом вышел я за ворота послушать, как звонят у Николая-чудотворца, — звонили хорошо, уныво. Денек, — тоже помню, — был серый. За рекой галки летали: подымались под небо и тучей падали вниз, на черные избы, — птиц этих было видимо-невидимо. Думаю: «К чему бы столько птиц над слободой?»

В это время проходит мимо нашего двора странный человек, в сермяге, в лохмотьях, а сам гладкий, румяный. Идет, руками болтает, — прямо к площади, где толчется народ на навозе у возов. Остановился этот человек, засмеялся и стал указывать на птиц.

— Глядите, — кричит, — воронья-то, воронья... Не простые птицы — вороны... Народ православный! — Шапку с себя, войлочный колпак, содрал, — народ православный!.. Кто в бога верует, читайте истинного царя нашего грамоту!..

Кинулся этот человек к столбу, у которого у нас на торгу воров казнили, и на гвоздь нацепил грамоту — в полполотенца, внизу на ней печать, и другая печать — на шнуре. Народ побросал воза, лотки, зашумел, сбился кучей к столбу, и дьячок Константинов стал читать:

— «Во имя отца и сына и святого духа. Не погиб я воровским промыслом злодея Годунова, ангел божий отвел руку убийцы, зарезали иного отрока, не меня. Ныне я собрал несчетные полки... После Петрова дня выйду из Поляков на русскую землю воевать отцов престол... А вам, всем православным, крепко стоять за истинную веру и за Бориса не стоять, а кто захочет — бегите к казакам на Дон».

Тут все сразу увидели, что прелестная грамота была от царевича Димитрия. В народе закричали: «Постоим, не выдадим!» — и шапки кверху начали кидать. И шапки летят, и вороны летают — жуть.

В то же время приезжает на площадь воевода, стольник Мясев. Стегнул плетью по жеребцу, прелестную грамоту со столба рукой сорвал и велит стрельцам народ разгонять. Началась великая теснота. Стрельцы ударили на крикунов, стали рвать одежу, а народ знай лезет к воеводиному коню. «Говори, — кричат, — правду: кто истинный царь — Годунов или Димитрий?.. Животы хотим положить за истинного царя».

Дьяка Грязного стащили за ногу с верха, и били безвинно топтунками, и волокли по навозу, — хотели топить в полынье под мостом. Воевода воровства не унял, — ни с чем уехал на свой двор, велел затворить ворота.

Так шумел народ на торгу до сумерек. А ночью занялась слобода, загорелась сразу с двух концов. Забил набат. Говорили потом — колокола сами звонили на колокольнях.

Весь город проснулся, вышел на стены. Видели — снег был красный, как кровь. Птицы-вороны — тучей поднялись над пожарищем, над великим огнем. И еще видели в небе, над дымом, над тучей птиц, простоволосую женщину: волосы у нее торчали дыбом, а на руке держала она мертвого младенца.

В ту же ночь стрельцы разбили воеводины ворота и бегали по двору, ругались матерно, искали воеводу убить и, не найдя, сорвали замок в подклети, выкатили бочку вина, и пили сами, и поили земских людей: много их в ту ночь пришло в Коломну из деревень.

Всему этому воровству был зачинщик и голова пришлый человек, подкинувший на торгу прелестную грамоту. На другой день коломенские спохватились, что этот человек был всем ведомый Наум, безместный поп. А его и след простыл, ушел и увел с собой холостых стрельцов, пропойного дьячка Константинова и немало слободских ребят. Ушли они на телегах, взяли с собой наряд — единорог — и двухфунтовую пушку, пушечного зелья и рухлядишки, что успели награбить.

Еще минуло более году. Всех бед и не запомнишь. Царь Борис умер: сел ужинать, и лопнула у него утроба, изо рта потекла грязь. Воевода Басманов со всем войском передался на сторону царевича Димитрия. В Москве на Болоте царевичевы тайные послы, Плещеев и Пушкин, читали перед народом грамоту, — сулили великие милости. Народ взял тех послов, увел на Красную площадь, и там они читали грамоту во второй раз, и боярин-князь Василий Иванович Шуйский кричал с Лобного места, что убит в Угличе поповский сын. Народ закричал: «Сыты мы Годуновыми!» Ударили в набат. Кинулись в Кремль, побили кольями стрельцов у Красного крыльца, ворвались в палаты, схватили царя Федора с царицей и поволокли через крыльца и переходы в старый годуновский дом. Скинули царя.

Всю ночь горели костры в Кремле и на Красной площади. Грабили лавки на Варварке, и на Ильинке, на Маросейке. На плавучем мосту через Москва-реку резали купчишек, кидали в воду. Из боярских дворов, из-за во-

рот, стреляли из пищалей. Много было разбито кабаков, выпито вина. И такие последние людишки скакали меж кострами, трясли отрепьями, скалили зубы, — московский народ только крестился, плевался, дивился много: ну, и нечисть!

На другой день приехали от царевича князья Голицын и Масальский с товарищами, и убили они царя Федора и царицу-мать, и народ выкрикнул царем Димитрия.

Мы с матушкой тогда все еще жили в Коломне. Приезжие из Москвы говорили, будто в Москве — смутно, и в народе шатость: сулили большие милости, а до сих пор милостей не видать. Царь Димитрий своих людей сторонится и знается больше с поляками. В мыльню не ходит каждый день, а в храм входит рысью, обедню стоит не бережно. Ноги у него короткие, правая рука короче левой руки, а нос длинный, и на нем большая бородавка, волосы носит торчком, бороду недавно только запустил, да и та у него растет скудно. В самое Крещенье, на Москва-реке, на льду, построили потешную крепость и посадили туда стрельцов. У той башни сделана морда с пастью и с клыками и выкрашена красками. Башню стали пихать с тылу, она пошла, из пасти палили из пушки и из пищалей. А когда докатили ее до ледяной крепости, царь Димитрий выскочил из башни и закричал не по-русски: «Виват!»

Народ московский глядел на эту потеху с обоих берегов, и на многих в тот день нашло сомнение: кого царем посадили? Не Гришка ли то Отрепьев, беглый холоп князей Ромодановских, глумится над Русской землей?

В мае месяце матушка моя собралась ехать в Москву. Ее надоумили протопоп от Николая-чудотворца и толстая попадья — бить государю челом на деревнишке, — просить землишки, черных людишек и животов и просить — сколько даст.

Собрали мы десять подвод — птицы, солонины, засолов, капусты квашеной, пирогов, полотна беленого. Мая двенадцатого числа отстояли молебен и тронулись. Матушка всю дорогу плакала, молилась, чтобы нам живыми доехать.

Въехали мы в Москву в обед четырнадцатого мая и стали в слободе на Никольском подворье, у Арбатских ворот. Пообедали. Матушка легла почивать, а я вышел на двор, где стояли воза. Сел на крылечко и гляжу. Въезжают на двор три казака, передний, — смотрю, — Наум, я сразу его узнал, в черном добром кафтане, о сабле, и сам красный, злой, пьяный, — едва сидит в седле.

— Эй, дьявол! — кричит Наум. — Хозяин, пива...

Баулин, коломенского кожевника Афанасия кум, нашего подворья хозяин, гладкий, лысый посадский, вышел на крыльцо, улыбается.

— Можно, казачки, — отвечает, — можно, любезные, пиво у меня студеное, сытное, кому и пить, как не вам.

И сейчас же рябая девка с бельмом выбегла со жбаном пива, поднесла Науму. Он сдвинул шапку, испил из жбана, отдулся и слез с коня, — сел на бревнышко у крыльца.

— Из Димитриевых али за истинного царя? — спросил он у хозяина со злобой.

Баулин усмехается, поглаживает бороду.

— Мы люди посадские,—отвечает, — мы — как мир. Тот нам царь хорош, кто миру хорош. Наше дело торговое.

— Ах ты сума переметная, сукин ты сын! — говорит ему Наум. — Да разве Димитрий царь: расстрига, польский ставленник, Отрепьев, самый вор последний. Он у Вишневецких в Самборе конюшни мел. Я-то уж знаю, — я сам за него кровь проливал под Новгородом-Северским, когда били мы, казаки, князя Мстиславского, я знамя взял... Я бы самого воеводу Мстиславского взял, да ушел он в степь, — конь под ним был добрый, ах, конь... Князя три раза я бил саблей по железному колпаку, — всего окровавил... Господи, прости, сколько мы русских людей побили... А за что? Чтобы нас в Москве поляки бесчестили и лаяли... Пороху, свинца нам продавать не велят... Придешь в кабак, из-за стола тебя выбивают вон... Ну, погоди...

Наум стащил с себя шапку, бросил ее под ноги и стал топтать.

— Мы знаем, за кем пойдем. Мы за веру постоим... Ни одного поляка живого из Москвы не выпустим!

— Будет тебе, Наум, нехорошо, — сказал ему Баулин, — поди на сеновал, отоспись.

— Нет, я не пьяный... А — пьян, не от твоего вина... Подожди, подожди, — ужотка вам запустим ерша...

Тут Наум схватил шапку, вздел ногу в стремя, конь его кинулся в сторону. Наум поскакал за ним на одной ноге, повалился брюхом в седло. Казаки заржали, и все трое выскочили, как без ума, из ворот, запустили вскачь по слободе к Воробьевым горам, — только пыль да куры полетели в сторону.

На другой день нам запрягли возок, и мы с матушкой поехали в Кремль, в Успенский собор, и стояли обедню; а отстояв, пошли к Шуйскому на двор, — кланяться, просить заступиться перед царем за нас — сирот: не дадут ли землишки.

Боярин-князь Василий Иванович Шуйский вышел к нам на крыльцо, и матушка кланялась ему в пояс, а я — в землю, хотя и невдомек нам было, что уже не князь — плотный, низенький старичок в собольей зеленой шубе — стоит перед нами, а без двух дней царь. Борода у него была редкая, мужицкая, лицо одутловатое, щекой дергает, а глаза — щелками — большого ума, не давал только в них взглянуть.

Сказал нам боярин-князь тонким голосом, со вздохом:

— Заступлюсь перед кем нужно за твое сиротство, матушка княгиня, но обожди, обожди, ох, обожди. Ныне все мы под богом ходим... А мужа твоего, князя Леонтия Туренева, помню хорошо, — при царе Федоре он на три места ниже меня сидел: я, да князь Мстиславский, да князь Голицын, да Тверской князь, Патрикеева рода, а после него место

Туреневу, и ему воеводой место в сторожевом полку, а в большом полку — третьим воеводой. Мальчику-то вели это заучить.

Князь погладил меня по голове и отпустил нас.

На другой день, как солнце встало, пошли было мы с матушкой на Красную площадь, на торг. Куда там — не протолкаться. Народ так и лезет стеной, — боярские дети, стрельцы, персюки, татары — в пестрых халатах, поляки — в голубых, в белых кафтанах, иные с крыльями, а наши — в зеленой, в коричневой, — все в темной одеже.

По бревнам громыхают телеги. Или проскачет боярин в медной греческой шапке с гребешком, — впереди него стремянные расчищают плетьми дорогу, — опять давка.

У кремлевской стены стоят писцы, кричат: «Вот, напишу за копейку!» Попы стоят, дожидаются натощак — кого хоронить или венчать, и показывают калач, кричат: «Смотри, закушу». Кричат сбитенщики, калачники. Дудят на дудках слепцы. Между ног ползают безногие, безносые, за полы хватают. А в палатках понавешано товару, — так и горит. Из-за прилавков купчишки высовываются, кричат: «К нам, к нам, боярин у нас покупал!» Пойдешь к прилавку, — вцепится в тебя купец, в глаза прыгает, а захочешь уйти ни с чем, начинает ругать и бьет тебя куском полотна, чтобы купил. Подалее, на Ильинке, на улице, сидят на лавках люди, на головах у них надеты глиняные горшки, и цыгане стригут им волосы, — Ильинка полна волос, как кошма.

От этого шума напал на матушку великий страх, сделалось трясение в ногах. Вернулись мы на подворье и рано легли спать. Ночью матушка меня будит, шепчет: «Одевайся скорей». На столе горит свеча, лицо у матушки как мукой посыпанное, губы трясутся, шепчет: «Хозяин прибегал, велел схорониться: говорит, чье-то войско на Москву идет, уже в город входят».

И мы слышим — топот множества ног и скрип телег многих, а голосов не слышно, — входят молча. Вдруг застучали в ворота, — отворяй. Матушка меня схватила, спрятались мы на сеновале и до утра слушали, — нет-нет, да и ломятся к нам на двор.

А утром узнали: в Москву вошло восемнадцать тысяч войска с князем Голицыным, и в Кремле уж бунт — стрельцы жалованья просят за три месяца вперед и грозят перекинуться от царя к Голицыну, и Шуйский будто сказался больным, а иные говорят, — видели его ночью у Арбатских ворот на коне.

В самый завтрак к нам на подворье забежал божий человек, голый, в одних драных портках, на шее у него, на цепи, висят замки, подковы и крест чугунный. Матушка взглянула на него, — вся в лице переменилась и положила ложку. А божий человек смеется, морщится, шею вытянул — и начал топтаться, как гусь, забормотал:

— В Угличе-то кого зарезали, а? Знаете?.. Его же, и ныне его зарезали, сам, сам видал,—вот она. — И протягивает тряпочку, всю в крови. — Понюхайте, не жалко, царская кровушка медом пахнет... А когда еще раз, в третий раз, резать-то его станете, опять меня позовите...

Матушка, смотрю, цепляется ногтями по столу и повалилась на скамейку. Спрыснули ее с уголька, она вскинулась.

— Царя убили! — кричит. — А вы тут ложками стучите... Идем, идем скорее, — и тащит меня за руку из-за стола, и мы побежали в город.

В Боровицкие ворота нас не пустили, — в воротах и у моста через Неглинную стояли казацкие воза, кони у коновязей, кипели котлы на кострах, казаки кричали с того берега:

— Поляки причастие из Успенского собора выкинули... Из Чудова монастыря мощи выкинули... Весь народ будут в польскую веру перегонять...

Вдоль Неглинной бежали люди, — крик, давка, визг бабий... Смотрим, — сбились в кучу: бьют кого-то. Выскочил из кучи поляк, отбивается саблей и прыгнул в Неглинную, поплыл. С той стороны казаки бьют по нему из ружей.

Добежали мы до Красной площади, и здесь толпа понесла нас вдоль стены к Василию Блаженному. Все маковки его, алые, зеленые, витые, так и горели на солнце. Звонили колокола тревожно, гудел Иван Великий.

В толпе докатились мы до пригорка, — Лобного места, — кругом него теснился народ, молча, без шапок. На Лобном месте, на дубовой лавке, лежал голый человек с раздутым животом, нога левая перебита, срам прикрыт ветошью, руки сложены на пупе, а лица не видно, — на лицо надета овечья сушеная морда — личина.

— Кто это лежит, кто лежит? — спрашивает матушка.

Ей отвечают многие голоса:

— Царь.

— Русский православный царь лежит.

— Не царь, а расстрига, вор...

— Нет, это не он, ребята, лежит.

— Господи, помилуй!

— Он много тощее, а этот — плотный...

— А он где же?

— Он ушел...

Из толпы к Лобному месту выбивается человек, всходит к мертвому телу, — гляжу: опять это Наум. Рот у него разбит, глаз и щека в крови, волоса — растерзаны.

— Вот вам крест святой,— закричал Наум и перекрестился на румяные главы храма, — этот на лавке лежит: царь Димитрий, расстрига, вор... Мне верьте... Я кровь за него проливал, будь он проклят... Его мало мучили... Надо еще мучить...

В руке Наума откуда-то появилась дудочка деревянная, крашеная, и он вставил дудочку мертвецу в руки... Вставил, всплеснул ладонями, разинул разбитый рот, — хотел, видно, засмеяться, — но пошатнулся, повалился навзничь...

Народ зашумел, закликали бабы дурными голосами. А в это время ударили с кремлевской стены из пушки, зазвонил благовест, от-

ворились ворота, и выехали бояре, — впереди всех Василий Шуйский в золотой шубе, как в ризах царских. Нас затеснили, затоптали, кое уже как пробились мы к Москва-реке. На той стороне по Замоскворечью шла стрельба, — казаки и посадские резали поляков, разбивали их осадные дворы.

Так мы с матушкой ни с чем вернулись в Коломну. Плохое началось житье. Тяглые и черные людишки с нашей вотчины почти все разбежались — иных сманивали казаки, иные от поборов, от кормовых, от государева тягла разбредались розно — куда глаза глядят.

Когда узнали, что в Москве выкрикнули царем Василия Ивановича Шуйского, народ говорил: «То дело Шуйских да Голицыных, а нам на Василия наплевать, какой он царь, мы ему крест не целовали, а мы крест целовали Димитрию, он тогда из Москвы ушел в женском платье, и надо опять его ждать к Покрову дню».

Так и вышло. Осенью князь Шаховской, сосланный Шуйским на воеводство в Путивль, поднял город за царя Димитрия, а воевода Телятевский поднял Чернигов. Встали холопы. Вышли из лесов шиши. Двинулась мордва на Нижний Новгород. Взбунтовался в Астрахани воевода, князь Хворостин. Войска Шуйского разбиты были под Тулой и под Рязанью. Началась смута.

А к Покрову дню и объявился Димитрий живой. Шел он из литовской украины с казаками. За ним из Рязани двинулось ополчение с воеводой Прокопием Ляпуновым, а из Тулы вышел Истома Пашков с ополчением же. Под Москвой они соединились с названным Димитрием и стали обозом в селе Коломенском.

У нас в Коломне один только протопоп не верил в названного Димитрия, кричал:

— Дьявол вас мутит, мужичье недотепанное! Царя Димитрия зарезали. А нынешний Димитрий — вор, я его знаю. Зовут его Болотниковым. Он в холопах был у князя Телятевского, и бежал, и попал в плен к татарам, а татары продали его туркам, и работал у них на галерах. А от турок бежал в Венецию-город, а оттуда пробрался на Русь, будь он проклят... И ныне кидает по городам воровские письма.

Болотникова прелестные письма протопоп показывал на торгу и читал их:

— «Во имя отца и сына и святого духа... Велим мы вам, холопам и тяглым людям, побивать своих бояр, и жен их, и вотчины их и поместья брать на себя. И велим вам, слободским тяглым и черным людям, гостей и всех торговых людей побивать, и животы их грабить, и жен их и дочерей брать за себя. И за это мы вам, всем безыменным людям, хотим давати боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество...»

На святки ночью ворвались в Коломну воры на ста двадцати санях. Матушка услыхала набат, оделась, одела меня, сняла образа, завязала их в скатерть, и мы вышли за ворота. Мороз был лютый, луна высокая, ясная. Мимо, по улице, скакали сани, полные воров. На ворах шубы, на иных ризы. Хлещут по лошадям, ноги задирают, орут — все пьяные... У Николая-чудотворца часто-часто страшно били в большой колокол. Воры доскакали до площади и сбились у воеводина двора, — стучат в ворота, ломают ставни. Мы с матушкой вернулись в избу.

В избе даже нашей было слышно, как начал кричать человек на площади. Ах, душегубы... Толстая попадья нам потом рассказывала, — сама видела, как вытащили воры воеводу из избы на снег, однорядку, рубаху содрали и ножами резали у него из спины ремни, — допытывались, где казна зарыта.

Ворота мы так и не заперли, — все равно воры выломают. Матушка поставила на стол образ заступницы, зажгла перед ней свечечку. Мы сидим на лавке, дожидаемся смерти. Вдруг заскрипел снег, — идут!

— Прощай, сыночек, голубчик, прости меня Христа ради, — сказала матушка, перекрестила и прижала меня к себе.

В дверь ударили ногой, в избу вошли воры. Впереди — Наум. Шапки не снял, не помолился и говорит застуженным голосом:

— Ну, поели нашего хлеба досыта, — ступайте...

— Наум, — спрашивает матушка со слезами, — ты ли это?

— Звали Наумом... Ныне я вам голова... Бери щенка своего, уходи куда глаза глядят... Счастье твое, что я здесь.

Так мы с матушкой захватили узел с благословленными иконами и вышли из своего дома на трескучий мороз.

На площади горел, как свеча, двор воеводы. Куда идти? Снег по колено. Господь надоумил нас постучаться к протопопу. Долго нас не впускали, потом, глядим, — над воротами высовывается растрепанная голова. Это был сам протопоп, — узнал нас и впустил.

С той поры жили мы у протопопа в черной подклети. От горя, от дыма горького, от черствого хлеба столько слез пролили, — на всю жизнь хватило.

К весне стало нам легче. Болотникова у деревни Котлов разбил наголову Скопин-Шуйский. Вор бежал в Тулу и сел в осаду вместе с самозваным царевичем Петрушей. Много таких царевичей тогда объявлялось по всей земле: был и Ерошка-царевич, и царевич Гаврилка, и царевич Мартынка, — погуляли, потешились в свое время.

Шуйский осадил Тулу, затопил город. В Москве вздохнули, стали подвозить хлеб, рассылать по городам голов и целовальников — править государеву казну. Но огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поедатель душ наших, воздвиг на нас нового вора. Кто был тот вор, — никто не знал, знали только, что сидел одно время в остроге, в Пропойске, за разбой. Однако в Стародубе на воскресном торгу его признали за царевича, помогли деньгами, пристали к нему поляки и казаки, двинулся он на Москву, при Волхове разбил царское войско и стал обозом в селе Тушине, окопался земляным валом, загородился частоколом.

Поначалу вор хотел с боем овладеть Москвой, — подбивали его к тому поляки. Дра-

лись они с москвичами на реке Химке у деревни Иваньково, дрались иа Яузе, иа Ходыиском поле, захватнлн у москвнчей Гуляйгород, а Москвы взять ие смогли. Тогда тушииские стали грабить кругом деревни. Лисовский осадил Тронцу. Сапега разбнл Иваиа Шуйского и открыл дорогу иа север — грабить севериые города.

В Москве опять начался голод, а в Тушиие — раздолье. И стали простые людишки из Москвы к вору перелетать. А за простыми потянулись служилые и дворяие — просить у вора деревнишек. Клаиялись ему и Салтыков, и Рубец-Масальский, и Хворостии, и Плещеев, и Вельяминов. Вор жаловал — иным вотчииы, иным окольиичество, а иным и боярство.

Протопоп опять стал подбивать матушку ехать в Тушиио, клаияться вору иа деревиишке:

— Вот всю землю раздаст, остаиешься ты с дитем, как обкошеииый куст.

А ехать было страшио. Как тогда, весиой, Болотиикова разбили, — Наум с товарищами убежал из Коломны и теперь шалил в окрестиостях, хвалился, что скоро будет с Волги атамаи Баловень, — тогда оии сделают пустоту.

Так мы и прождали до осеии. А осеиью вор поругался с поляками, зажег Тушиио, и бежал в Калугу, и там стал иабирать иовое ополчеиие. А поляки и русские, что остались в Тушине, послали бояриив Салтыкова с товарищами к польскому королю — просить королевича Владислава иа Московское царство. А царь Шуйский послал брата, Димитрия, с большим войском под Смолеиск — бить поляков, и то русское войско поляки разбили под Клушииом и пошли иа Москву помогать тушииским полякам. А вор из Калуги тоже пошел иа Москву и стал в селе Коломенском. Такая подиялась смута — разобрать иичего было нельзя.

На Фомииой иеделе в Коломиу прилетел польский полковник с гусарами, дворы, что остались целы, выграбил, миого иарода порубил, посек и порохом взорвал городскую стену. Мы в погребе отсиделись. Протопоп сгорел на сеновале. Толстую попадью гусары увели с собой. Остались мы с матушкой без кола, без двора, взяли по мешку и пошли куда глаза глядят, — Христовым имеием.

Помию, — поутру вышли мы из лесочка и увидели: виизу, под горой, вьется лазоревая река, и иа реке, иа зелеиых холмах, стоят храмы, белые и златоглавые, три стеиы идут кругом города, за стеиами — сады н улицы, изба к избе, высокие, бревеичатые. Матушка глядит иа Москву, молчит, и слезы у иее полились.

К полудию мы подошли к Серпуховским воротам. На лугу, у ворот, у Земляного вала толпился иарод, казаки, стрельцы, а посреди них иа возу стоял смуглый, как цыгаи, человек в черной одиорядке, могучий в плечах, большого роста, глаза запавшие, лицо гордое, с кудрявой бородкой, иа шее жилы надуты. На весь иарод человек этот кричал сиповатым голосом:

— Под Клушииом лучшие русские люди побиты. Долго еще иам терпеть?.. У царя Шуйского иет счастья. Шуйского надо ссадить. Нам царь иужеи молодой, — простой царь. Чтоб ои лучших людей слушал, чтобы нам тому царю верить и за тем царем за веру православную, за русскую землю души иаши положить. Храмы иаши поруганы. Поляки животы наши последиие грабят, жеи наших себе берут. Опустела русская земля...

— Ссадить, ссадить Шуйского! — загудел иарод.

Матушка спрашивает у одного посадского, — кто таков человек — кричит на возу?

— Да ты разве ие видишь, — отвечает, — Прокопий Ляпуиов.

В тот же деиь, — мы узиали, — иарод ссадил Шуйского. Ссадилн, н пошла резия. Черные людн хотели вора иа царство, Ляпуновы со стрельцами и торговые людн — Мнханла Романова, бояре — королевнча Владислава. А вор из села Коломенского подскакивал уже к самой Москве.

Чаялн все тогда, — скоро смута кончится. А оиа только еще разгоралась. Опять иачался голод. Пахать, сеять — н думать было иечего. От розии, от нищеты иарод вкоиец отупел, — рукой махнули: хоть черта царем.

Матушка в то время занемогла, и нас прнютили в Замоскворечье добрые людн. Мы видели, как вошел в Москву гетмаи Жолкевский с поляками, как поляки стали русский народ разорять и грабить, стала Москва короля польского вотчиной. Погибала русская земля. Одни бояре терпелн срам, а иарод затанлся, закамеиел лютой иенавистью, ждал срока. Виделн мы, как подошло нз Нижиего н северных городов мужицкое ополчение с князем Пожарским, — осадилн Москву. Слободы все погорели, от Замоскворечья осталнсь пожарища да пустоши. Стали мы жить в погребах, по ямам, обросли коростой. Теперь рукамн разводишь, — как иа семя-то осталось русского иарода.

Но, видимо, иаступал предел муки человеческой. Помощи ждать было неоткуда. Не в кого верить, не иа что иадеяться. Ожесточились сердца. И русскне люди взяли иакоиец Москву и вошли в опогаиеиный Кремль. Я сам видел, как со стеиы скидывали в Москву-реку бочки с человечьей солониной. А когда в храмы вошли — только рукой махнули, заплакалн. Смута коичнлась. Но радости было мало: кругом, куда ни поезжай, — ни сел, ни городов — пустыия, погост.

И еще помию я, как в осеииюю ростепель, в ветреный, серый деиек, вышел иарод за московские заставы в поле и стоял без шапок. Дул ветер, летели мокрые птицы. По черной, топкой дороге ехал возок. Тянули его две пары разиопегих лошадок в веревочной сбруе, с подвязанными хвостамн. За возком ехали бояре, гости и выборные лучшие люди. В окошечко из возка на косматый, драиый, угрюмый иарод глядел худенький отрок с опухшими глазками. Боязио было приинимать веиец Михаилу Романову, тяжко, уныло.

Вдруг к возку кииулся человек в рубище,—

упал в грязь на коленн и грудь себе ногтями рвет... Вижу,— опять это Наум. Возок проехал, и Наум побежал за возком, не отставал от него до самого Кремля. Бежал, выл, — юродствовал.

С Романовыми были мы в дальнем свойстве, матушка била молодому царю челом на деревнишке, и царь пожаловал нам сельцо Архаигельское, что близ Каргополя. А ехать туда было, как иа вериую смерть: по всему севериому краю бродил разбойничий атаман Баловень с черкасами, литовскими и русскими ворами, иикому ие давал пощады: поймает человека, иабьет ему порохом рот и уши и поджигает. Лишь года через три загнали тех воров к Олонцу и всех нстребили иа заоиежских погостах, самого Баловия привезли в Москву, повесили за ребро.

Так до времени и жили мы с матушкой в Кремле, при царском дворе, в баньке.

В день архистратнга Михаила, после обедни, позвали меня к царскому столу, — в то время было мне лет семиадцать, и я сидел с детьми дворянскими у дверей, там, где стол заворачивал глаголем.

Царь — худощавый отрок — вышел к нам в ризах и в бармах, сел к столу, снял венец, по обе руки его сели Салтыковы. Царь кушал мало, все больше на руку облокачивался. Волосы у него были светлые, тонкие, реденькие, иад губой пушок, лицо усталое. Борис Салтыков наклоиялся и шептал ему, царь поднимал лазоревые глаза и улыбался, — и то одному боярину, то другому посылал чашу.

Зато бояре ели сытно, — иаголодались, захудели: иной был в иагольиую шубу одет, иные просто в сермяге. Ели час и другой, и царь совсем заскучал. Тогда Салтыков приказал позвать скоморохов и дудошников.

Привели скоморохов. Оии робеют, жмутся в дверях близ нашего стола. И я смотрю, — один, в бабьем сарафане, с лукошком на голове, вместо кики, — Наум: сытый, и борода расчесаиа, а глаза мутные, сиулые. У меня сердце захолонуло. Салтыков кричит:

— Что же вы, дураки, входите, не бойтесь, государь вас пожалует — кого петлей, кого кнутом, кого столбом с перекладииой...

Бояре засмеялись. Царь закивал головой. Тогда Наум выскочил вперед, ударил себя по ляжкам и начал приговаривать, гнусить:

— Вот я и здесь. Зовут зовуткой, величают уткой. Нынче девок иикто замуж не берет, развелось их как тараканов, а мужиков мало, все побиты. Только я невеста богатая. Хочешь — бери, хочешь — не надо. За мной приданого: восемь дворов крестьянских, промеж Лебедяии, на старой Казани, да восемь дворов бобыльих, в них полтора человека с четвертью, четверо в бегах да двое в бедах. А хоромного строения — два столба вбито в землю, третьим прикрыто. Да с тех дворов сходится на всякий год иасыпного хлеба восемь амбаров без задних стен да четыре пуда каменного масла. Да в тех дворах сделана конюшня, а в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем иет. Да с тех же дворов сходится на всякий год запасу — по сорока шестов собачьих хвостов да по сорока кадушек солеиых лягушек...

Дальше ничего иельзя было разобрать, так загромыхали бояре, — тряслись иа лавках.

Вдруг одии дворянин встает и говорит злобно:

— Государь, прикажи взять этого человека под стражу. В прошлый год ои меня иа Серпуховской дороге мучил, и грабил, и бил даже до смерти... Он — шиш, воровской атаман.

Царь встал, сложил руки, оглядывается иа Салтыковых.

— Ну, хорошо, хорошо, — говорит, — мы его возьмем... Я сам дело разберу. — И ои опять засмеялся. — Ведь дурак правду сказал, бояре, четыре журавля стоялых в нашем государстве — всего богатству...

Наума взяли под стражу, и на другой день царь велел его сослать в Преображеискую пустынь. Там Наум постригся и принял имя Нифонта. Прошли с той поры многие годы.

Я женился, родил семерых детей и похороиил матушку. Жнли мы большой семьей в орловской вотчиие. Царь Михаил умер. Началнсь опять войны: воевали и со счастьем и без счастья. Отстраивали Москву, укрепляли стены, строили кремлевские башни и палаты, заводили иовые порядкн. Москва богатела, ио в государстве не было покою: холопы, тяглые люди, вотчинные мужики опять стали бежать на Дон и на Волгу, — искали воли. Царь искал крепости, бояре и служилые люди — богатства и чести, а иарод — своей воли. И ныне, говорят, на низовьях Волги опять иеспокойно,— шалит казачий атаман Разин. А может быть, и так — зря — болтают.

Вот уже сколько лет богомольцы и странные люди, заходя по пути, говорили нам:

— Сходите, Христа ради, в Преображеискую пустынь, поклонитесь блаженному Нифоиту.

Мы говорили богомольцам:

— Того Нифонта мы знавали и хотим его видеть,— расскажите иам про его подвиги.

Прохожие рассказывали:

— Был ои великий душегуб и злодей. В пустыни принял великий постриг, и лег в гроб, и не принимал пищи и питья, чтобы скорее умереть — преставиться. Лежал в келье, в гробу, долго. Раз ночью вся пустынь всполошнлась: слышат — Нифонт кричит дурным голосом. Зашли к иему и увидели: Нифонт сидит в гробу, и хулит Христа и божью матерь, и ругается черно, и скрипит зубами. В великом страхе убежала от него братия. Ударили в колокол. Собрались в храм и молились всю иочь. А Нифонт ходил круг церкви и тряс дверь, — не мог ее выломать, кидался к окиам, к решеткам и кричал простые слова. А к утру затих.

В полдень его иашли в роще, в болоте: Нифонт лежал иавзничь, голый, и комары и слепни покрыли его и язвили. Игумен хотел с иим говорить, но Нифонт вскочил, и убежал, и лег по другой край болота, и гнусы опять облепили его.

Игумеи велел принести ему хлеба и положить около его головы. И Нифонт хлеба стал

есть малую толику, чтобы не умереть и дольше мучительствовать. Все тело его покрылось язвами и коростой, и гнусы больше не садились на него, и он не мог умереть. Тогда Нифонт пошел к игумену и просил благословить его на работу. Игумен велел ему взять волов и плуг. Нифонт взял волов и вспахал большой клин за рекой. Всю зиму он рубил и возил лес на постройку келий, брался за самую тяжелую работу. Весною взборонил клин и засеял овсом. За весь год не сказал ни слова и по ночам истязал себя. Говорили, будто овес не взойдет на Нифонтовом клину. Но овес взошел и всколосился, — буйный вышел овес. Нифонт собрал его и повеселел. Но уст не раскрыл и не облегчил себе трудов. Молчит он уже двадцать лет. Теперь стал стар и светел. Часто приносят ему богомольцы детей, он берет их на руки, и целует, и гладит, и глядит им в глаза, и детям оттого легче.

Вот что рассказывали нам странные люди о Нифонте. В прошлый Петровский пост я с семьею пошел на богомолье. Посетили мы и Преображенскую пустынь. Место чудесное: пустынь — на речном берегу, в березовом лесу, за высокой белой стеной, — покой и тишина.

Служка монастырский, ходивший с нами, указал нам на Нифонта. Блаженный шел из березовой рощи, был худ, высок и прям, в черной, до земли, рясе, в клобуке с белым крестом. Шел легко. Из-под клобука глядел на нас светлыми, как свет, уже не этой земли жильца, блаженными глазами.

Подойдя к нам, остановился, поклонился низко и прошел, будто травы не касаясь ногами.

1922

ГОБЕЛЕН МАРИИ-АНТУАНЕТТЫ

Прошли гуськом последние посетители дворца-музея — полушубки, чуйки, ватные куртки. Малиновое солнце склоняется за дымы в зимнюю мглу. Северный день недолог. Я еще вижу узоры на стеклах: высокие окна покрыты морозными листьями, как будто воспоминанием о древних лесах, некогда шумевших на земле.

Узоры исчезают в голубоватых, серых сумерках. Вдали хлопает дверь. Отскрипели на тропинке валенки сторожа, и наступает зимняя тишина во дворце и в снежном парке.

Иногда из страшной высоты луна посылает бледный свет в незанавешенное окно, но это бывает редко; бегут, бегут безнадежные туманы над парком, посвистывает метель голыми ветвями. Холодно и пустынно. Я развлекаюсь, перебирая в памяти минувшие годы. Их много. Иные озарены блеском празднеств, иные страшны.

Я не старею и не увядаю, как женщины, проходящие в моих воспоминаниях, как те две повелительницы народов, которым я принадлежала. Я все так же, как полтораста лет тому назад, прекрасна; на мне высокий пудреный парик и пышное платье цвета крови. Я нахожусь в большой гостиной, налево от входа, у окна. В глубине, против света, над камином висит портрет моей хозяйки. Она изображена во весь рост — юная, гордая, слишком, по-солдатски, прямая, — такой она была в первые годы замужества.

Когда лунный свет поблескивает на золоченых креслах, я часто стараюсь вглядеться в ее лицо. Но глаза императрицы упрямо и зло отведены от меня. Она думала, что я — причина всех ее несчастий: она мрачно суеверна, как средневековая женщина.

Во всяком случае президент Лубе сделал бестактность, привезя на броненосце в подарок русской императрице гобелен казненной французской королевы. Меня вынули из цинкового ящика, принесли в эту гостиную, развернули и положили на ковер. Императрица, мало сведущая в искусстве, спросила: «Что это такое?» (Она стояла предо мной, выпрямив, как гувернантка, грудь, стиснув на животе чисто вымытые, холодные пальцы.) Толстенький Лубе, хрустя крахмальной фрачной рубашкой, с живейшей готовностью ответил: «Ваше величество, это редчайший гобелен, изображающий портрет Марии-Антуанетты. Случайно революция пощадила его. Франция приносит к вашим стопам одно из своих национальных сокровищ». Тогда на увядающем лице царицы выступили шелушащиеся пятна, тонкие, как ниточка, губы поджались в волевом движении — скрыть испуг. Но я прочла безумный ужас, на мгновенье мелькнувший в ее голубых круглых, немецких глазах. «Почему она в красном платье?» — спросила царица. На это президент ничего не мог ответить и только снова расшаркался, поскрипывая буржуазными сапожками.

Меня повесили на стене у окна. Не помню, чтобы царица когда-либо останавливала на мне взгляд. Ее раздражало красное платье. В ее вкусе были блеклые, лиловатые, болотные тона. Мария-Антуанетта тоже не могла терпеть ничего яркого — только нежное, успокаивающее. Действительно, история этого красного цвета необычайна. Вот она.

Полтораста лет тому назад в Париже проживала Елизавета Рох, девица необыкновенной красоты. Ее отец работал ткачом на королевской шпалерной фабрике и считался лучшим мастером во Франции. За сутки он мог соткать четверть дюйма, но зато линии рисунка и цвета были так подобраны, что его гобелены соперничали с живыми красками природы и даже превышали их.

Елизавета Рох, работавшая на фабрике с восьми лет, обладала столь же совершенным вкусом. Когда ей минуло девятнадцать, ее перевели в отделение макетов, где она должна была из кусков шелка и шерсти воспроизводить с картины примерный макет, с которого ткался уже самый гобелен.

От природы Елизавета была пылкого нрава, но поведения строгого, потому что, кроме девственной красоты, у нее не было никаких надежд на лучшую жизнь. Изнурительная работа, четырнадцать часов, проводимых за

тряпьем и иглой, убивали в ней все желания, свойственные юности. Впрочем, та же суровость нравов замечалась и во всей Франции, непосильно, в раздирающей нищете трудящейся для того, чтобы король, королева, принцы и весь двор в Версале проводили время в непрерывных празднествах: балеты, фейерверки, балы, блестящие охоты на вытоптанных хлебных полях, по ночам фантастические сражения за карточными столами при свете сотен восковых свечей. Всем этим они заглушали в себе ужас неминуемо близившейся гибели: казна была пуста, страна нищала, дворянство разорялось, парижский народ рычал вслед грохочущим золоченым каретам, буржуа с восторгом распускали дерзкие памфлеты на королеву, на развратную жизнь двора. Богатели одни ловкие предприниматели, ростовщики, фабриканты роскоши.

На шпалерную фабрику поступил из канцелярии королевского кабинета срочный заказ—выткать портрет королевы по оригинальному портрету, приложенному при сем, работы великого Буше.

В то время королева была по уши в хлопотах на деревенской игрушечной ферме, в версальском парке. Королеве приходилось самой доить корову с позолоченными рогами и надушенную пачулей, самой стряпать омлет с шампиньонами, ловить удочкой китайских рыбок на обед, между делом танцевать с дамами на берегу ручья пастушеские танцы. Среди этих забот Буше удалось лишь мимолетом зарисовать королеву, и то — только лицо. Платье он написал от себя, цвета сливок, во вкусе времени. Он не совсем был доволен рисунком.

Этот картон поступил к Елизавете Рох, и она начала копировать с него макет для гобелена. Стояли жаркие дни, работать приходилось, то ползая по полу, то взбегая на лесенку, чтобы взглядывать на работу с высоты; на Елизавете было легонькое платье, открывавшее грудь и до колен ее стройные ноги.

Такой ее увидел директор фабрики, разорившийся дворянин, тучный и неряшливый мужчина — несмотря на года, чрезвычайно чувствительный к женской прелести. Расставив икры в плохо натянутых чулках, он страшно округлил глаза. Пот из-под паричка полз по его бритым щекам. В этот знойный день, когда мухи звенели о пыльные стекла мастерской, он заметил, что девчонка вкусна, как наливное яблоко. Он присел около мольберта и вытащил табакерку, сыпля табак на кружева. Подагрические глаза его выкатывались. Елизавета, думая только о работе, ползала на коленях у его ног, то протягивая руку, чтобы взять ножницы, то низко нагибаясь, чтобы откусить нитку. Директор переживал почти что гурманское наслаждение: прелесть девчонки ударяла ему в раздутые ноздри. Когда она досадливо выпрямилась и закинула голые руки, чтобы сколоть лезущие в лицо пушистые волосы, он внезапно почувствовал нечто вроде «конжексьон», то есть удара, готового разорвать кровеносные сосуды, и, чтобы поскорее освободиться от волнения, тяжело со стула упал на Елизавету, обхватил ее и принялся целовать в лицо, в шею и в грудь.

Она громко вскрикнула, так как в первый раз ее коснулась рука мужчины. Она вскочила, начала бороться и, освободив правую руку, хлестнула директора по щеке. Дальнейшее происходило в молчании, если не считать нескольких тяжелых ударов директорского кулака и слабого стона девушки.

Когда за хлопнувшей дверью затихли шаркающие шаги, в мастерскую вошли женщины. Они увидели Елизавету в изорванном платье, лежавшую без сознания на макете. Платье королевы цвета сливок было залито кровью. У Елизаветы было разбито лицо. Ее унесли. В тот же день контора вышвырнула ее с фабрики.

Происшествие не заслуживало как будто бы внимания, но когда Буше увидал испорченный макет, он пришел в ярость; кончик вздернутого носа его вспыхнул под пудрой, он наговорил кучу дерзостей по адресу распорядителей фабрики, затем взглянул еще раз, прищурился и щелкнул пальцами. Напоминаю: он не был удовлетворен своим картоном, и вот ему пришло на мысль использовать этот цвет пятен крови. Он выбрал подходящий багровый шелк и велел им заменить на макете платье королевы. «Очаровательно», — сказал он и послал макет в ткацкую мастерскую к старому Роху.

Так я появилась на свет. Старик Рох день и ночь ткал меня. Часто горькие слезы ползли по его морщинам: но что́ доподлинно сталось в дальнейшем с Елизаветой — я не знаю. Он начал ткать меня с головы, и долгие месяцы я лежала в его станке перевернутая. Его торопили, и он работал с молчаливым ожесточением.

Наконец я была готова. Буше имел счастье сам поднести меня королеве. При дворе знали мою историю, и он, оправдывая красное платье гобелена, сказал, что это цвет девственницы. Это был каламбур во вкусе времени. Королева воздушно улыбнулась ему.

Гобелен повесили в королевской спальне в Трианоне — одноэтажном маленьком дворце, служившем для любовных развлечений королевской семьи. Несомненно, была доля правды в том, что писали в памфлетах. Королева была легкомысленна. Красота ее увядала. Король не часто посещал ее в спальне. Да и то, появляясь в китайском халате и туфлях, тучный, мягкий, с двойным подбородком, он больше разговаривал не о тонкостях любви, а об удачном выстреле на охоте или о своих достижениях в токарном мастерстве. После его бесплодного ухода королева приказывала подать венецианское зеркало и, лежа, вся в кружевах, все еще соблазнительная при свете свечей, с некоторым изумлением вглядывалась в свое изображение, затем нижняя губа ее — непременная принадлежность Габсбургского дома — начинала выпячиваться, и тут-то веселые дамы, окружавшие ее широкую кровать, придумывали какую-нибудь ночную затею, после которой королева крепко засыпала.

Утро в Версале всегда начиналось праздником. Гремели резные колеса подъезжавших карет, гудели веселые голоса. Дамы, похожие на живые цветы, в пышных юбках, благоухающие амброй и пачулей, толпились в спальне королевы, щебеча по-птичьи, или соблазнительно мелькали сквозь деревья в парке. Журчали, шумели фонтаны, лебеди били крыльями, золоченые лодочки покачивались на поверхности искусственного озера. Там — развалины в греческом вкусе, там — мраморные торсы с игрой солнечных зайчиков уносили пустое воображение в аркадские страны. Женственные кавалеры, отбивавшие духами крепость естественного запаха, походили больше на существ из идеального мира, чем на дворян с заложенными и перезаложенными замками и протянутой за королевским подаянием рукой.

Природа была щедра к этой выдуманной жизни. На лужайках пахло горячим сеном, толклись пестрые бабочки, летние облака отражались в озере, и даже ветерки, казалось, с учтивостью шелестели деревьями. Дни летели за днями, легкомысленные и ослепительные. Королева гнала прочь от себя мрачные мысли; король, вытачивая на станке черепаховые табакерки, думал, что все в конце концов образуется: памфлетистов посадят в Бастилию, казначейство откуда-нибудь раздобудет денег, добрые буржуа снова полюбят своего короля, добрые поселяне перестанут огорчаться из-за налогов, а там, бог даст, удачная война вернет истраченные богатства.

Известно, чем кончилось все это беззаботное веселье в Версале. Свирепая красавица со сросшимися бровями, в красном платье, в красной шляпе с красными перьями, куртизанка Териен де Мерикур верхом на лошади, размахивая кривой саблей, а за ней тысяч тридцать женщин из парижских предместий пришли по версальской дороге, завывая: «Хлеба, хлеба, хлеба...» Король улыбался им с балкона, королева старалась улыбнуться, держа на руках наследника. Их посадили в карету и отвезли в Париж. Никому было уже не до смеха.

Теперь лишь осенний дождь постукивал в высокие, до самого пола, окна Трианона. Парк облетел, и груды листьев, неубранные, гнили на дорожках. Сквозь оголенные ветви бесстыдно белели античные божества. Надвинулись зимние туманы, и только шаги сторожа нарушали безмолвие покинутого дома. На потолке спальни расплывалось мокрое пятно, и капля за каплей падали на паркет.

С первыми весенними днями появились гуляющие; они с любопытством оглядывали причуды королевского парка. Мужчины были в некрасивой темной суконной одежде, без париков, женщины — в скромных косынках и простых юбках из шерстяной материи. Они несли корзинки с провизией и вели за руку детей. Рассаживаясь прямо на траве, они завтракали, оставляя после себя засаленные клочья памфлетов, куда завертывалась еда. Благопристойные буржуазки стыдливо отводили глаза от голых статуй и шумно охали, осматривая сквозь окна пышную кровать королевы. Заслонившись с боков ладонями, сплющив нос о стекло, они злобно глядели мне в лицо, иногда грозя зонтиком...

Миновало лето. Зимняя буря выбила несколько стекол. И снова, в апреле, забегали черные дрозды под кустами. Дорожки парка зарастали лопухами, затягивались ряской бассейны с замолкшими фонтанами. Коровы, бродя на свободе, клали лепешки у подножия статуй. В праздники все больше появлялось народу, но теперь уже не чинные буржуа, а какие-то неведомые молодые люди в длинных, по щиколотку, штанах, с голой грудью и засученными рукавами, и их подружки, румяные и смешливые, кое-как прикрытые ситцевыми платьишками, — веселились как дети, утомясь — засыпали в копнах сена. Целовались и хохотали, ссорились и мирились. С визгом разбрызгивая радуги, кидались с каменных берегов в озеро, и их загорелые тела были не хуже, чем у мраморных богов с отбитыми носами. В сумерки складывали из обломков золоченых лодок, догнивавших за ненадобностью, великолепные костры и, подобно первобытным существам, отплясывали, озаренные пламенем, чертовскую карманьолу.

Но миновало и это лето. Все озабоченнее, суровее становились лица людей, — в их темных глазах я читала страдания голода и дикую решимость. Было срублено на дрова много деревьев в парке. Исчезли обе коровы, — сторожа, должно быть, их съели, — пропал и сам сторож. Однажды у моего окна остановились двое: плечистый юноша с темным пушком на щеках и молодая женщина; оба были босы; он влюбленно держал ее рукой за плечи, едва прикрытые лохмотьями. Она была прекрасна — пышноволосая, стройная, сильная. Она что-то сказала, юноша рванул за скобку, гнилая рама окна-двери затрещала, посыпались стекла. Они вошли, и в нищей красавице я признала Елизавету Рох. Она долго смотрела на меня, поднялась на цыпочки и плюнула мне в лицо. Тотчас же юноша сорвал меня со стены и швырнул на голую постель.

Так я валялась среди запустения, покуда почтенный буржуа, колбасник из Парижа, не подобрал меня как хозяйственную вещицу. Он приехал в Версаль в надежде поживиться какой-нибудь клячей со сломанной ногой. Я была аккуратно сложена и сунута под козлы, хозяин уселся на меня, сзади, прикрытая рогожей, лежала освежеванная лошадь. В таком виде я прибыла в Париж. Мной занавесили разбитое пулями окошко в колбасной лавке. И там, на площади Революции, я еще раз, в последний раз, увидела королеву, но при каких жалких обстоятельствах!..

Полтораста лет прошло с того дня. Было бы утомительно рассказывать о всех превратностях судьбы, кидавшей меня из рук в руки. Когда над ратушей в один мглистый ветреный день плеснуло черное знамя Коммуны, колбасника моего повесили в дверях лавки, нацепив на грудь доску: «Мы требуем твердых цен!» Чья-то закопченная порохом рука со-

рвала меня с окна, и я оказалась в виде плаща на голых плечах рослого детины, потрясавшего копьем с красным колпаком на острие. Весь день в виде пылающего пламени, под свист пуль, я развевалась на его плечах. Когда настала ночь, он пошел к ратуше, озаренной внизу факелами, тогда как острые башенки ее тонули в тумане. Вместе с толпой, размахивающей саблями и пистолетами, мы ввалились в дымный от чада масляных ламп огромный зал. На досках, на ящиках сидели, непрерывно заседая, члены Парижской коммуны с темными от бессонницы лицами. Рабочие и ремесленники из секции требовали у них голов аристократов и буржуа, они рычали: «Разогнать Конвент! Смерть предателям! Вся власть Коммуне! Хлеба и предельных цен!» Мой хозяин пристроился спать тут же в зале, под окном, завернувшись в меня с головой.

Но, видимо, я, созданная лишь для услады глаз, плохо грела его в ту ветреную ночь: он швырнул меня в угол, в кучу мусора. Там я валялась некоторое время. Кто-то, догадавшись, развернул, встряхнул и покрыл мною сосновый стол президиума. С тех пор на мне валялись бумаги, гусиные перья, куски черствого хлеба. Упершись мне в грудь продранными локтями, сидел, весь содрогаясь от бешенства, длиннолицый человек с черными кудрями, прилипшими к выпуклому бледному лбу. Если не изменяет память, его звали Гебер; он был воплощением воли полуголых людей, каждый вечер после работы появлявшихся в ратуше, чтобы кричать о справедливости, о своих требованиях, о своей ненависти, о последней свободе.

Ему, как и всем «неистовым», отрубили голову. В тот день перед угрюмыми людьми из секций говорил маленький человек, с костяным острым носом, чисто одетый, в белом паричке. Вдавив слегка запрокинутый затылок в плечи, касаясь меня кончиками холодных пальцев, он говорил режущим голосом об умеренности и добродетели, он клялся отрубить голову всем, кто ведет безнравственную жизнь, всем, кто помышляет о контрреволюции, и также всем, кому кажется, что он, Робеспьер, недостаточный революционер и патриот. Лавочники в якобинских колпаках приветствовали его. Но, увы, буржуа утомились, хуже редьки им надоели революции, неистовство черни, лохмотья и бумажные деньги.

И вот однажды за стол, который я все еще покрывала, поспешно сели пятеро, опоясанные трехцветными шарфами. Среди них был Робеспьер; он положил перед собой пистолет со взведенным кремнем. Они молчали, не мигая глядели на черные окна, — там, на ночной площади, свирепо гудела толпа. Единственная свеча на столе, тихо колебля пламя, не могла разогнать сумрак огромной пустой залы.

В эту ночь кончалась Революция. Стихало рычание толпы на Гревской площади. Гремели колеса пушек, заскрежетала военная команда. На лестнице ратуши раздались неумолимые шаги национальной гвардии. Они вошли. Зрачки пятерых террористов, неподвижно сидевших у стола, расширились угрозой. Но еще страшнее закричали национальные гвардейцы. Сен-Жюст, юный и женственный, спокойно встал, чтобы самому отдаться в руки. Разбитый параличом Кутон закрыл лицо рукой. Пылкий Леба схватил пистолет и всунул его в руку Робеспьеру, — маленький человек нехотя поднес его к виску. Но гвардеец кинулся, толкнул под локоть. Раздался выстрел, и голова Робеспьера с разбитой нижней челюстью упала мне на грудь. Пальцы его стиснули неисписанные листки бумаги; пытаясь остановить кровь, он размазал ее по лицу.

Дальнейшие мои воспоминания относятся к унылым годам среди пыльного хлама в лавке старьевщика. За меня не давали и ста франков, покуда Наполеон разгонял штыками по всей Европе помещичьи армии. Но он слишком много выпустил крови у добрых буржуа, и они предали его, высчитав, что выгоднее променять меч на бухгалтерскую книгу. Революция описала бешеный круг и на минуту замкнулась: на французский престол вошел Людовик Восемнадцатый, и меня, приведя в порядок, повесили, как священную реликвию, в Тюильрийском дворце. Ах, с какою возвращенной пылкостью танцевали в его заново позолоченных залах знакомые мои версальские дамы, увядшие за двадцать лет эмиграции! Пудра облаками сыпалась с их нарумяненных морщин. Меланхолическое зрелище!

Последующие революции и реставрации я провела спокойно в Луврском музее. Такова история моей жизни вплоть до того часа, когда меня поместили в Александровском дворце, что в Царском Селе, — в гостиной царицы Александры Федоровны, повелевавшей несметными миллионами народов.

После столь разнообразных впечатлений здесь было ужасно скучно. Царь и царица не любили развлекаться на людях, — им и дома было хорошо. Кроме как по делу, у них мало кто бывал: придет любимая фрейлина, поцелует ручку; или позвонит по телефону, попросится приехать один бродяга из бывших конокрадов, духовный мужичок: явится — в поддевке, в лаковых сапогах, — поцелуется со щеки на щеку, сядет и врет, что в голову влезет, щуря продувные зенки, а царь и царица молитвенно глядят ему на масленую бороду, не смеют моргнуть.

Когда захотелось выпить, царь шел в офицерское собрание. Звали полковых трубачей, пили, закусывали, а на следующий день он потихоньку от царицы вздыхал, держась за голову. Правда, он не вытачивал табакерок подобно Людовику французскому, но зато удачно занимался фотографией, или, мурлыкая что-нибудь однообразное, играл сам с собой на бильярде, или почитывал рассказы Аверченко, прыская со смеху. Он любил в час сумерек стоять с папиросой у окна и смотреть, как льет мелкий дождик на елки и кусты, за которыми сидели, боясь обнаружиться, веснушчатые сыщики из охранки, в котелках, надвинутых на уши.

Царица на своей половине вышивала сал-

феточки и думала, думала, сдвинув брови, о многочисленных врагах, о нераскрытых кознях против ее семьи, о неблагодарном, распущенном, скандальном народе, доставшемся ей в удел, о несчастном характере мужа, не умеющего заставить себя уважать и бояться. Иногда, опустив вышивание, она зло постукивала наперстком по ручке кресла, и невидящие глаза ее темнели. За ширмой на столике стояла чудотворная икона с колокольчиком; часто, опустившись перед ней на колени, она молилась, ожидая чуда, когда сам собой зазвонит колокольчик.

Согласитесь сами — не весело летели годы в Александровском дворце. И совсем уже стало мрачно, когда царь и наследник уехали на войну, а царица надела полотняную косынку и серое платье с кровавым крестом на груди. В Версале весело по крайней мере пожили перед смертью — было чем помянуть прошлое, когда палач на помосте гильотины скручивал руки и резал волосы на затылке. А здесь? Будь у меня скулы — свернула бы их со скуки. Стоило этим людям мазаться мирром, чтобы существовать в таком унынии и всеобщей ненависти!

И вот, с некоторого времени я заметила, что царица стала как-то дико на меня коситься. Остановится, стиснув на животе руки, и низенький лоб ее собирается в гневные морщины, будто она силится что-то понять и что-то преодолеть. За переплетами окон сыплет снегом декабрь, на котелках сыщиков, дующих в кулаки под кустами, белеют сугробчики. И царица ходит, ходит, раздувая ноздри от бессильного гнева. Увы, у нее не было власти повесить хотя бы даже председателя Государственной думы. Враги — повсюду, все ощетинилось против нее.

В одну из таких минут она получила известие, которое сломило ее: духовный мужичок, ее единственный друг и руководитель, был найден под мостом в проруби — связанный и с проломанным черепом. Об этом сообщила ей любимая фрейлина, упав в отчаянных слезах на ковер. Царица мертвенно побледнела, пошатнувшись — прислонилась негнущейся спиной к моему багровому платью: «Мы погибли, некому больше предстоять за нас перед богом», — сказала она. В сумерки, одетая в черное, в черном платке, опущенном на лицо, она незаметно пробралась между сыщиками, и я долго видела на снегу ее удаляющуюся фигуру: она шла рыдать над гробом духовного мужичка, тайно привезенного из Петербурга в уединенное место, в деревянную часовенку.

В последний раз я видела царицу глубокой ночью, когда отдаленное зарево светило в замерзшие окна, багровый свет дышал над вершинами елей: где-то что-то горело. В гостиной было темно и тепло, во дворце все спали. Вдруг скрипнула половинка высокой двери, и я увидела царицу; она была в белом халате. «Что это горит, что это горит?» — по-немецки спросила она пустоту и подошла к окнам. Листья мороза на них, то багровые, то черно-синие, лежали фантастическим узором.

Ее лицо было искажено, в глазах мерцал суеверный ужас. И мне и ей привиделось в эту минуту одно и то же воспоминание...

...Десятки тысяч голов шумели и волновались вдоль решетки и террас Тюильри и по всей широкой площади Революции, где над щетиной штыков возвышался помост со взнесенным треугольником лезвия между двумя стойками. Из окна колбасной лавки мне были видны островерхие башни тюрьмы Консьержери. Мимо них двигалась двухколесная тележка. Она завернула на мост и переехала на эту сторону реки. Головы волновались, будто по ним ходил ветер. Повозка, окруженная солдатами и барабанщиками, поплыла в это море голов. Рев толпы покрывал трескотню барабанов. Повозка поравнялась с моим окном, я увидела в ней королеву, сидящую спиной к лошади. Руки ее были связаны назади, отчего спина вытягивалась особенно прямо. Под измятым черным шерстяным платьем не было корсета и обрисовывались старые ее груди, — о них когда-то писали придворные поэты мадригалы, по их форме была сделана янтарная чаша, из которой король пил вино. Желтая шея была обнажена, голова опущена, и презрительно, с гордым омерзением выпячена нижняя губа. Из-под высокого чепца висела прядь волос. «Смерть проклятой австриячке!» — кричали простоволосые старые женщины; по четыре в ряд они шли за тележкой, и все не переставая вязали чулки для армии. Это были «вязальщицы Робеспьера». Я видела, как тележка остановилась. Стало тихо. На помосте произошла короткая суета, метнулся белый чепец. Надрываясь, все громче, страшно затрещали барабаны, и бликом света скользнул вниз по перекладинам треугольник топора. Над толпой в чьей-то вытянутой руке повисла голова королевы.

«Проклятые, сумасшедшие, бесы, бесы!»— хриповато, по-русски, проговорила царица, все еще глядя в зернисто-лапчатое, залитое заревом окно... Затем она начала мелко-мелко креститься и кланяться одной головой, не сгибая шеи... Нижняя губа ее вытянулась и слегка отвисла...

В эту ночь ее дети захворали корью. В эту ночь она в последний раз переступила порог гостиной, где я нахожусь по сей день, налево от окна.

Посетители дворца-музея, в парусиновых туфлях поверх валенок, на минуту останавливаются передо мной, и руководитель говорит:

— А это образец продукта крепостного производства, относящийся к самому началу борьбы между земледельческим капиталом и капиталом торгово-промышленным.

1928

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Толстой А. Н.

Т52 Аэлита: Роман; Повести и рассказы. — М.: Худож. лит., 1984. 94 с.

В книгу произведений А. Н. Толстого (1883—1945) вошли: роман «Аэлита», научно-фантастическая сюжетная основа которого органично сочетается с размышлениями автора о проблемах современной жизни, о больших исторических переменах, происходящих в мире, и повести и рассказы писателя: «День Петра», «Граф Калиостро», «Повесть смутного времени» и др.

Т $\frac{4702010200\text{-}327}{028(01)\text{-}84}$ КБ-8-21-84

ББК 84Р7
Р2

Алексей Николаевич
Толстой

АЭЛИТА

Роман

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор
И. Парина

Художественный редактор
В. Серебряков

Технический редактор
Л. Зайцева

Корректоры
Т. Сидорова, С. Свирндов

ИБ № 4039

Сдано в набор 02.12.83. Подпнсано в печать 16.03.84. Формат 60×84 1/8. Бумага тнп. № 3. Гарннтура лнтературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,2. Усл. кр-отт. 11,67. Уч.-нзд. л. 12,62. Тираж 2.000.000 экз.

2-й зав. 800.001—1.500.000. Изд. № 1-1631. Заказ 4114. Цсна 1 р.
Ордена Трудового Красного Знамени нздательство «Художественая лнтература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Типография изд-ва «Московская правда», ул. 1905 г., 7

В 1984 ГОДУ
В СЕРИИ «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»
ВЫЙДУТ В СВЕТ:

Н. Гоголь. Повести. Ревизор
А. Куприн. Гранатовый браслет. Повести и рассказы
А. Пушкин. Капитанская дочка. Проза
М. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы. Сказки
Л. Толстой. Воскресение. Рассказы
И. Тургенев. Записки охотника
Г. Успенский. Нравы Растеряевой улицы. Рассказы
Л. Леонов. Взятие Великошумска. Повести и пьесы
В. Шукшин. Рассказы
Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Рассказы

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

А. Пушкин. Евгений Онегин
Ш. Руставели. Витязь в тигровой шкуре
Т. Шевченко. Кобзарь
Э. Межелайтис. Стихотворения и поэмы
С. Михалков. Басни
А. Твардовский. Стихотворения. Поэмы

1 р.

А. Н. Толстой

Аэлита • Повести и рассказы